

ISSN 2713-0681

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Институт социально-политических исследований  
ОБЩЕСТВЕННАЯ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

# НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО Science. Culture. Society

№ 2 / 2026

Том 32

Тема выпуска:

Девиантное поведение и социальные институты  
в условиях трансформации российского общества

DOI: [10.19181/nko.2026.32.2](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2)

EDN: [OMXVGF](https://www.edn.ru/0MXVGF)

Сетевой рецензируемый научный журнал  
Издаётся с 1995 г.

(Ранее назывался: «Социальная политика и предпринимательство»;  
«Предпринимательство. Политика. Наука»; «Наука. Политика. Предпринимательство»)

**Выходит 4 раза в год**

Включён в РИНЦ, перечень ВАК (К2), Белый список/ЕГПНИ (Уровень 3, 2025).

Журнал открытого доступа. Доступ к контенту журнала бесплатный.

Плата за публикацию с авторов не взимается.

Москва  
2026

## Главный редактор научного журнала

*Левашов Виктор Константинович*, доктор социологических наук, директор Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН).

## Заместители главного редактора

*Великая Наталия Михайловна*, доктор политических наук, профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН.

*Зубок Юлия Альбертовна*, доктор социологических наук, профессор, ФНИСЦ РАН.

*Иванов Вилен Николаевич*, чл.-корр. РАН, доктор философских наук, профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН.

## Ответственный секретарь

*Гребняк Оксана Валерьевна*, научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН.

## Члены редколлегии

*Атанесян Артур Владимирович*, доктор политических наук, профессор, Ереванский государственный университет (Армения).

*Большаков Владимир Ильич*, доктор философских наук, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

*Буланова Марина Борисовна*, доктор социологических наук, профессор, ИС ФНИСЦ РАН; РГГУ.

*Вакарелу Мариус*, доктор философии, Национальный университет политических наук и государственного управления (Румыния).

*Вдовиченко Лариса Николаевна*, доктор социологических наук, профессор, РГГУ.

*Гуселетов Борис Павлович*, доктор политических наук, ИСПИ ФНИСЦ РАН; Институт Европы РАН.

*Денисова Галина Сергеевна*, доктор социологических наук, профессор, Южный федеральный университет

*Дудина Виктория Ивановна*, доктор социологических наук, Санкт-Петербургский государственный университет

*Евтич Миролjub*, доктор политических наук, профессор, Белградский университет (Сербия).

*Журавлев Анатолий Лактионович*, академик РАН, доктор психологических наук, профессор, Институт психологии РАН; Московский Гуманитарный Университет.

*Забирова Айгуль Тлеубаевна*, доктор социологических наук, профессор, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (Казахстан).

*Иванов Дмитрий Владиславович*, доктор социологических наук, Санкт-Петербургский государственный университет.

*Ильичева Людмила Ефимовна*, доктор политических наук, профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН; РАНХиГС.

*Константинова Лариса Владимировна*, доктор социологических наук, профессор, РЭУ им. Г.В. Плеханова.

*Мартыненко Владимир Владимирович*, доктор политических наук, профессор, ИС ФНИСЦ РАН.

*Назарова Елена Александровна*, доктор социологических наук, профессор, МГИМО; РАНХиГС.

*Овчарова Ольга Геннадиевна*, доктор политических наук, доцент, РГСАИ.

*Орлова Ирина Викторовна*, доктор философских наук, профессор, РАНХиГС.

*Осипов Геннадий Васильевич*, академик РАН, доктор философских наук, профессор, ИС ФНИСЦ РАН; Высшая школа современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова.

*Письменная Елена Евгеньевна*, доктор социологических наук, профессор, ИСД ФНИСЦ РАН; РЭУ им. Г.В. Плеханова.

*Рогачев Сергей Владимирович*, доктор экономических наук, профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН.

*Романович Нелли Александровна*, доктор социологических наук, доцент, Воронежский филиал РАНХиГС.

*Сакка Фламиния*, доктор политических наук, профессор, Университет Тушии (Италия).

*Селезнёв Игорь Александрович*, кандидат социологических наук, доцент, ИСПИ ФНИСЦ РАН.

*Селиверстова Нина Анатольевна*, доктор социологических наук, профессор, ИС ФНИСЦ РАН.

*Сингх Вирендра*, доктор философии, профессор, Аллахабадский университет (Индия).

*Топилин Анатолий Васильевич*, доктор экономических наук, профессор, ИСД ФНИСЦ РАН.

*Тощенко Жан Терентьевич*, член-корр. РАН, доктор философских наук, профессор, Институт социологии ФНИСЦ РАН; РГГУ.

*Шереги Франц Эдмундович*, кандидат философских наук, директор Центра социального прогнозирования и маркетинга.

### **Editor in Chief**

*Victor K. Levashov*, Doctor of Sociology, Director, Institute of Socio-Political Research of FCTAS RAS (ISPR FCTAS RAS).

### **Deputy Chief Editors**

*Nataliya M. Velikaya*, Doctor of Political Science, Professor, ISPR FCTAS RAS.

*Yuliya A. Zubok*, Doctor of Sociology, Professor, FCTAS RAS.

*Vilen N. Ivanov*, Corresponding Member of RAS, Doctor of Philosophy, Professor, ISPR FCTAS RAS.

### **Executive Secretary**

*Oksana V. Grebnyak*, Researcher, ISPR FCTAS RAS.

### **Members of the editorial Board**

*Arthur V. Atanesyan*, Doctor of Political Science, Professor, Yerevan State University (Armenia).

*Vladimir I. Bolshakov*, Doctor of Philosophy, National University of Oil and Gas "Gubkin University".

*Marina B. Bulanova*, Doctor of Sociology, Professor, Institute of Sociology of FCTAS RAS; RSUH.

*Marius Vacarelu*, Ph.D. in administrative sciences, National University of Political Studies and Public Administration (Romania).

*Larissa N. Vdovichenko*, Doctor of Sociology, Professor, Russian State University for the Humanities.

*Boris P. Guseletov*, Doctor of Political Science, ISPR FCTAS RAS; Institute of Europe RAS.

*Galina S. Denisova*, Doctor of Sociology, Professor, Southern Federal University

*Victoria I. Dudina*, Doctor of Sociology, St Petersburg University.

*Miroљub Jevtic*, Ph.D. in Political Science, Full Professor, University of Belgrade (Serbia).

*Anatoly L. Zhuravlev*, Academician, Doctor of Psychology, Professor, Institute of Psychology RAS; Moscow University for the Humanities.

*Aigul T. Zabirowa*, Doctor of Sociology, Professor, Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan (Kazakhstan).

*Dmitrii V. Ivanov*, Doctor of Sociology, St Petersburg University.

*Ludmila E. Ilyicheva*, Doctor of Political Science, Professor, ISPR FCTAS RAS; RANEPА.

*Larisa V. Konstantinova*, Doctor of Sociology, Professor, Plekhanov Russian University of Economics.

*Vladimir V. Martynenko*, Doctor of Political Science, Professor, Institute of Sociology of FCTAS RAS.

*Elena A. Nazarova*, Doctor of Sociology, Professor, MGIMO University; RANEPА.

*Olga G. Ovcharova*, Doctor of Political Science, RSSAA.

*Irina V. Orlova*, Doctor of Philosophy, Professor, RANEPА.

*Gennadii V. Osipov*, Academician, Doctor of Philosophy, Professor, Institute of Sociology of FCTAS RAS; Higher School of Contemporary Social Sciences, MSU.

*Elena E. Pismennaya*, Doctor of Sociology, Professor, Institute of Social Demography of FCTAS RAS; Plekhanov Russian University of Economics.

*Sergey V. Rogachev*, Doctor of Economics, Professor, ISPR FCTAS RAS.

*Nelly A. Romanovich*, Doctor of Sociology, Professor, RANEPА Voronezh branch.

*Flaminia Saccà*, Full Professor of Political Sociology, Tuscia University (Italy).

*Igor A. Seleznev*, Candidate of Sociology, ISPR FCTAS RAS.

*Nina A. Seliverstova*, Doctor of Sociology, Professor, Institute of Sociology of FCTAS RAS.

*Virendra P. Singh*, Ph.D. in Sociology, Professor, University of Allahabad (India).

*Anatoly V. Topilin*, Doctor of Economics, Institute of Social Demography of FCTAS RAS.

*Zhan T. Toshchenko*, Corresponding Member of RAS, Doctor of Philosophy, Professor, Institute of Sociology of FCTAS RAS; RSUH.

*Franc E. Sheregi*, Candidate of Philosophy, Director of the Center for Social Forecast and Marketing.

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

К читателю . . . . .	6
----------------------	---

## СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

<i>Ардельянова Я. А.</i> Институциональные изменения и цифровая трансформация социального контроля девиантного поведения . . . . .	9
<i>Позднякова М. Е., Брюно В. В.</i> Неокриминализация подростковой девиантности: динамика и структурная перестройка . . . . .	23
<i>Ларина Е. В.</i> Пропаганда наркотиков в интернете в России и за рубежом: состояние проблемы и меры противодействия . . . . .	43
<i>Березнев А. В.</i> Зарубежные организационно-управленческие практики предотвращения скулшутинга . . . . .	55
<i>Демидова Е. Е.</i> Социологический анализ пространственного распределения летальной девиантности: убийства и самоубийства в глобальном измерении . . . . .	67
<i>Ангарская И. В.</i> Потребление алкоголя в различных социальных группах русского общества: тенденции и риски . . . . .	86

## СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

<i>Галкин К. А.</i> Практики обращения пожилых людей к комплементарным способам лечения в сельской местности . . . . .	104
<i>Ерошик П. С.</i> Трансформация профессиональной автономии российских врачей в условиях новой реальности . . . . .	122

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА

<i>Ковалёв В. В.</i> Социальные эффекты менеджеристского управления высшим образованием в России. . . . .	140
---	-----

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

<i>Охотский Е. В.</i> Политика перестройки и крах демократических иллюзий неолиберального формата . . . . .	155
---	-----

## OPENING ADDRESS

To the reader . . . . .	6
-------------------------	---

## SOCIOLOGY OF DEVIANT BEHAVIOR

<i>Ardelyanova, Ya. A.</i> Institutional changes and digital transformation of social control of deviant behavior. . . . .	9
<i>Pozdniakova, M. E., Bryuno, V. V.</i> Neocriminalization of juvenile delinquency: dynamics and structural reconfiguration . . . . .	23
<i>Larina, E. V.</i> Drug propaganda on the Internet in Russia and abroad: current state and countermeasures . . . . .	43
<i>Bereznev, A. V.</i> Foreign organizational and managerial practices for preventing school shootings . . . . .	55
<i>Demidova, E. E.</i> Sociological analysis of the spatial distribution of lethal deviance: homicide and suicide in a global perspective. . . . .	67
<i>Angarskaya, I. V.</i> Alcohol consumption in different social groups of Russian society: trends and risks . . . . .	86

## SOCIOLOGY OF MEDICINE AND HEALTHCARE

<i>Galkin, K. A.</i> The practice of turning to complementary methods of treatment by older people in rural areas. . . . .	104
<i>Eroshik, P. S.</i> Transformation of the professional autonomy of Russian doctors in the new reality. . . . .	122

## CURRENT PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE FIELDS OF EDUCATION AND LABOR

<i>Kovalev, V. V.</i> Social effects of managerialism in Russian higher education . . . . .	140
--	-----

## POLITICAL SOCIOLOGY

<i>Okhotsky, E. V.</i> The politics of perestroika and the collapse of the neo-liberal democratic illusions . . . . .	155
---	-----



Редакторская заметка  
EDN [XTFLVC](#)



## К ЧИТАТЕЛЮ

Предлагаем вашему вниманию тематический номер «Девиантное поведение и социальные институты в условиях трансформации российского общества», посвящённый исследованиям девиантного поведения и тем социальным условиям, в которых формируются представления о норме и риске, складывается доверие к институтам и развиваются механизмы общественного регулирования.

Основу выпуска составляют статьи, обращённые к социологии девиантного поведения: подростковой преступности, наркотизации, алкоголизации, летальной девиантности, скулшутингу, цифровым формам вовлечения в девиантные практики и новым механизмам социального контроля. Вместе с ними в номер вошли материалы о медицине, высшем образовании и политико-исторических трансформациях. Они обращены к более широкому проблемному полю и позволяют увидеть, как в разных сферах российского общества меняются отношения между человеком и институтами, профессионалом и системой управления, официальным знанием и повседневным опытом.

Девиантное поведение традиционно относится к числу наиболее чувствительных объектов социологического анализа. Вокруг него сосредоточены общественные тревоги, моральные оценки, правовые запреты, институциональные решения и реальные жизненные стратегии людей. Сегодня эта область становится сложнее для изучения. Традиционные формы девиации трансформируются, часть новых практик возникает и распространяется в цифровой среде, а оценки допустимого поведения в отдельных сферах становятся менее однозначными. В ряде случаев отклоняющееся поведение может восприниматься самими участниками как способ справиться с напряжением, неопределённостью или ограниченностью доступных ресурсов.

Для российского общества эта проблематика особенно актуальна. Опыт масштабных социальных трансформаций, последствия кризисных периодов и неоднородность регионального развития формируют разные условия адаптации к неопределённости. В этих условиях девиантное поведение может выступать проявлением социального напряжения и одним из способов реакции на трудные жизненные обстоятельства. Особое значение приобретают ясные нормативные ориентиры, институты, пользующиеся общественным доверием, и действенные механизмы профилактики.

Центральный девиантологический блок номера открывает статья *Я. А. Ардельяновой*, посвящённая [трансформации социального контроля в условиях цифровизации](#). Автор рассматривает гибридизацию надзорных практик, алгоритмизацию контроля, мониторинг цифровых следов, развитие предиктивной аналитики и социальные последствия расширения технологических режимов наблюдения и управления.

Статья *М. Е. Поздняковой и В. В. Брюно* посвящена [неокриминализации подростковой девиантности](#). На основе статистических данных за 2005–2025 гг. ав-

торы показывают, что снижение зарегистрированных показателей сопровождается структурной перестройкой преступности несовершеннолетних. Меняются формы участия подростков в противоправных практиках, каналы их вовлечения, роль цифровой коммуникации и степень латентности этих процессов.

Цифровое измерение современной наркотической ситуации рассматривается в статье *Е. В. Лариной*, посвящённой [пропаганде наркотиков в интернете в России и за рубежом](#). После многолетнего снижения ряда показателей наркотическая проблематика в России в последние годы вновь приобретает особую остроту, в том числе в связи с использованием цифровых каналов распространения пронаркотического контента. Автор анализирует его присутствие на популярных интернет-платформах, способы романтизации и нормализации наркопотребления, а также меры противодействия подобным практикам.

Острая тема школьной безопасности поднимается в статье *А. В. Березнева*. Автор обращается к [зарубежным организационно-управленческим практикам предотвращения скулуштинга](#). В центре внимания находится опыт США и европейских стран, связанный с поведенческой оценкой угроз, работой мультидисциплинарных команд, межведомственным взаимодействием, отказом от профилирования и развитием доверительной школьной среды. Для России этот материал актуален в связи с резонансными нападениями в образовательных организациях и растущим запросом на комплексную профилактику.

Теоретико-методологическую глубину девиантологическому блоку придаёт статья *Е. Е. Демидовой*, посвящённая [пространственному распределению летальной девиантности](#). Автор рассматривает убийства и самоубийства как предельные формы авитальных девиаций, различающиеся по направленности деструктивного действия, но сопоставимые по тяжести последствий. В статье обосновывается возможность их анализа в единой социологической рамке и рассматриваются территориальные различия в распространении этих форм поведения.

Статья *И. В. Ангарской* посвящена [алкогольным практикам различных социальных групп российского общества](#). На материалах многолетних опросов городского населения трудоспособного возраста и студенческой молодёжи показано, что распространённость употребления алкоголя в целом снижается, однако в отдельных группах сохраняются регулярные и рискованные модели потребления.

Девиантологическая часть выпуска показывает разнообразие современных девиаций, сочетание традиционных и новых форм отклоняющегося поведения, их связь с цифровой средой, институциональными условиями и конкретными группами риска. Представленные материалы выводят на первый план задачу более адресного анализа девиантных практик и разработки профилактических мер, которые учитывали бы меняющиеся каналы вовлечения, социальные контексты и различные ситуации уязвимости.

Изучение девиантного поведения тесно связано с вопросом о том, как действуют социальные институты, как распределяется доверие к профессиональному знанию и как меняются управленческие практики. Поэтому наряду с девиантологическим блоком в номер включены статьи, посвящённые институциональным изменениям и профессиональным сообществам в условиях общественных трансформаций.

В статье *К. А. Галкина* «[Практики обращения пожилых людей к комплементарным способам лечения в сельской местности](#)» анализируется, как предста-

вители старших возрастных групп сочетают биомедицинское лечение с привычными народными и поддерживающими практиками. Автор показывает, что такие способы чаще выполняют дополняющую функцию, помогая снизить тревожность, сохранить чувство определённости и адаптироваться к ограничениям сельской медицинской инфраструктуры.

Статья *П. С. Ерошика* «Трансформация профессиональной автономии российских врачей в условиях новой реальности» обращена к изменению положения врача в системе здравоохранения. В центре внимания — стандартизация медицинской помощи, цифровизация, развитие ИИ-сервисов, государственный и общественный контроль, изменение отношений врача и пациента, а также поиск баланса между регулируемой самостоятельностью специалиста и участием профессионального сообщества в управлении медицинской сферой.

В статье *В. В. Ковалёва* «Социальные эффекты от менеджеристского управления высшим образованием в России» анализируются негативные последствия применения менеджеристских инструментов для трёх основных акторов университетской среды — преподавателей, учёных и администрации. В центре внимания оказываются равнодушие к образовательному процессу, рост имитационных практик, ослабление тематической специализации, разрушение ценности науки и деформация управленческой культуры. Статья показывает, как управление по показателям способно менять профессиональную среду высшей школы и снижать её образовательную и научную значимость.

Завершает номер статья *Е. В. Охотского* «Политика перестройки и крах демократических иллюзий неолиберального формата». Автор обращается к трансформации власти, элит, ценностных ориентиров и общественных ожиданий. В контексте данного выпуска этот материал задаёт исторический фон для обсуждения последствий крупных институциональных преобразований.

Представленные статьи различаются по тематике, методам и авторской интонации. Вместе они позволяют увидеть, как в разных сферах современного российского общества изменяются социальные практики, перестраиваются отношения между человеком и институтами, и формируются ответы на социальные риски, ситуации уязвимости и управленческие вызовы.

Надеемся, что материалы выпуска будут интересны исследователям девиантного поведения, специалистам в области социальной политики, образования, медицины, управления, права, а также всем читателям, которым близок содержательный разговор о норме, риске и ответственности в современном российском обществе.

*Редакторы тематического выпуска,  
М. Е. Позднякова, В. В. Брюно  
(Институт социологии ФНИСЦ РАН)*



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.1](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.1)  
EDN [XFMFMO](https://edn.nko.ru/XFMFMO)  
УДК 316.624



Я. А. Ардельянова<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия

## ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

**Аннотация.** В статье приводятся результаты теоретического осмысления трансформаций социального контроля девиаций, в частности изменений его форм, принципов и механизмов. В методологическом плане работа опиралась на концепцию социального контроля С. Козна и последующие теоретические разработки исследователей цифрового общества. Были рассмотрены ключевые направления эволюции механизмов социального контроля: размывание границ между формальными и неформальными практиками, гибридизация практик социального контроля, а также технологизация и алгоритмизация социального контроля. Особое внимание было уделено технологизации контроля, в частности, были проанализированы методы нейросетевой видеоаналитики (включая распознавание подозрительного поведения), мониторинга цифровых следов в социальных сетях и образовательной среде, а также кластеризации поведенческих профилей сотрудников. Также в статье рассматриваются парадоксальные эффекты современных контрольных практик: «расширение сети» при внедрении альтернативных санкций, концентрация контроля при его пространственной дисперсии, формирование зон безответственности в гибридных практиках контроля. В заключении формулируются перспективы дальнейших эмпирических исследований, направленных на анализ социальных последствий цифрового контроля (новые формы неравенства, трансформация субъективности, эффект наблюдателя) и разработку этических протоколов баланса между безопасностью и приватностью.

**Ключевые слова:** социальный контроль, девиация, дисперсия контроля, расширение сети, цифровой паноптизм, гибридизация, алгоритмизация, предиктивная аналитика, цифровые девиации, мониторинг поведения

**Для цитирования:** Ардельянова Я. А. Институциональные изменения и цифровая трансформация социального контроля девиантного поведения // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 9–22. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.1](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.1). EDN [XFMFMO](https://edn.nko.ru/XFMFMO).

**Введение.** Проблема социального контроля девиаций традиционно занимает центральное место в социологической теории, однако характер её осмысления существенно трансформируется под влиянием институциональных изменений последних десятилетий. Классические представления о социальном контроле как преимущественно государственной деятельности по поддержанию нормативного порядка через систему формальных санкций уступают место более сложным моделям, учитывающим диффузию контрольных функций, их проникновение в повседневность и гибридизацию различных регулятивных логик.

Актуальность исследования новых форм и механизмов социального контроля обусловлена несколькими факторами. Во-первых, происходят фундаментальные институциональные сдвиги, связанные с пересмотром роли государства в управлении девиантностью: деинституционализация и декриминализация в одних сферах сочетаются с усилением репрессивного компонента в других [1; 2]. Во-вторых, технологическое развитие создаёт принципиально новые

возможности для наблюдения, фиксации и коррекции поведения, качественно изменяя саму природу контроля [3; 4]. В-третьих, наблюдается размывание традиционных границ между публичным и приватным, формальным и неформальным, принудительным и добровольным в механизмах регуляции поведения [5; 6].

Кроме того, актуальность исследования обусловлена не только трансформацией самих контрольных механизмов, но и изменением в социологической теории понимания природы девиаций. Происходит переход от базовых моделей (понимание девиации как имманентного свойства поступка) к релятивистским и конструкционистским подходам, а также появляются новые формы девиантного поведения, порождённые цифровой средой (кибербуллинг, троллинг, доксинг, онлайн-экстремизм, цифровые аддикции и др.). Эти новые девиации, в свою очередь, стимулируют ответную эволюцию контрольных практик, что делает их совместное изучение особенно важным.

Статья носит теоретико-концептуальный характер. Цель данной статьи — теоретическая концептуализация новых форм и механизмов социального контроля девиаций, формирующихся в условиях институциональных изменений. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 1) систематизировать теоретические подходы к анализу трансформации социального контроля; 2) выделить основные направления институциональных изменений в данной сфере; 3) описать ключевые механизмы и эффекты современных контрольных практик.

**Теоретико-методологические основания.** Для начала уточним понятийный аппарат исследования. Под *механизмом социального контроля* в данной статье понимается последовательность социальных процессов, включающая: установление нормативных стандартов (что считается девиацией), наблюдение и фиксацию отклонений, оценку и классификацию выявленных случаев, применение санкций (формальных или неформальных, репрессивных или терапевтических) и обратную связь, корректирующую нормативную систему. *Цифровая трансформация социального контроля* определяется как качественное изменение всех перечисленных процессов под воздействием технологий сбора, обработки и анализа больших данных, алгоритмизации принятия решений и автоматизации наблюдения, что ведёт к сдвигу от реагирования к предиктивному управлению рисками. *Девиантное поведение* трактуется в соответствии с классической традицией (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Я. И. Гилинский) как действия или поступки, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям, влекущие применение социальных санкций.

Социологическая рефлексия социального контроля прошла несколько этапов — от понимания его как механизма самосохранения общества (Э. Дюркгейм) и инструмента поддержания нормативного консенсуса (Т. Парсонс) до критических концепций, выявляющих дисциплинарную природу современных обществ. Поворотным моментом стала работа М. Фуко «Надзирать и наказывать» [7], предложившая рассматривать современные наказания не как результат гуманизации, а как формирование новой дисциплинарной власти, ориентированной на нормализацию душ, тел и поведения индивидов.

Развивая идеи М. Фуко, британский социолог С. Коэн в работе «Представления о социальном контроле: преступление, наказание и классификация» [1] предложил систематический анализ трансформаций социального контроля в конце XX века. С. Коэн зафиксировал парадоксальную ситуацию: период,

провозгласивший отказ от тотальных институтов и движение к «альтернативным санкциям» и «общинным программам», на деле ознаменовался не сокращением, а качественным и количественным расширением контрольного аппарата.

Для анализа современных трансформаций социального контроля концептуальная схема С. Коэна сохраняет высокий эвристический потенциал. Ключевыми элементами его подхода выступают следующие понятия:

Дисперсия социального контроля — процесс распространения контрольных функций за пределы специализированных институтов (тюрем, психиатрических лечебниц) в сообщество, что создаёт эффект «контроля без стен». Важно, что этот процесс не означает ослабления контроля; напротив, контроль становится более диффузным, проникая во все сферы повседневной жизни.

Расширение сети (net widening) — ключевой эффект дисперсии, состоящий в том, что альтернативные санкции не заменяют традиционные, а дополняют их, вовлекая в орбиту контроля новые категории населения. Программы, позиционировавшиеся как более гуманные, на практике расширяют контрольное воздействие на тех, кто ранее избегал формальных санкций.

Нормализация — смещение фокуса с наказания за конкретное деяние на превентивную коррекцию образа жизни, установок и стилей поведения. Институты социальной работы, образования и здравоохранения начинают выполнять функции нормализации, ранее свойственные преимущественно пенитенциарной системе.

Медикализация vs криминализация — описание сдвигов в определении девиантности, когда девианты переопределяются как пациенты, нуждающиеся в лечении. Принципиально важным является указание Коэна на то, что подобное переопределение не отменяет принуждения — грань между заботой и принуждением становится размытой.

Дополнительную аналитическую глубину придаёт типология идеальных моделей контроля, выделенных С. Коэном: репрессивная (ориентированная на наказание и изоляцию), медицинская (понимающая девиацию как болезнь), патерналистская (связывающая девиацию с социальным неравенством) и бюрократическая (действующая через классификацию и документацию). В реальной практике эти модели существуют не как исторически сменяющие друг друга стадии, а как одновременно присутствующие логики, образующие гибридные формы.

Отдельно стоит отметить работу Д. Гарленда «Культура контроля. Преступность и социальный порядок в современном обществе» [2], в которой он обосновал тезис о том, что современное общество живёт в «культуре контроля», для которой характерны небезопасность, суровость и недоверие к институтам, и эта культура является выражением глубоких структурных изменений в обществе. Д. Гарленд, опираясь на идеи С. Коэна, показал, как неолиберальные реформы, сокращение социальных расходов и приватизация публичных услуг сопровождаются беспрецедентным расширением системы уголовной юстиции.

Л. Вакан в работе «Наказание бедных: неолиберальное правительство социальной незащищённости» [8] развил этот тезис, проанализировав взаимосвязи между неолиберализмом, бедностью и системой уголовного правосудия. Л. Вакан показал, как в условиях неолиберализма пенитенциарная система заменяет собой государство социального обеспечения. Вместо решения социальных проблем государство начинает управлять их последствиями через репрессии, что приводит к росту числа заключённых и усилению социального неравенства.

Л. Вакан утверждает, что неолиберальное государство одновременно демонтирует системы социального обеспечения и расширяет карательный аппарат.

Эволюция моделей надзора представлена в работе А. А. Сизова «Надзор и структурное насилие: от Паноптикона к алгоритмам» [9]. Автор анализирует эволюцию техник надзора и их взаимосвязи со структурным насилием. Развитие моделей контроля идёт от «архитектуры поведения» (управление множеством через воздействие на индивида) к «экологии действия» (управление конкретными выборами ради статистического эффекта на уровне популяции). Особое внимание уделяется интерфейсам в алгоритмическом управлении, которые интегрируются в единую систему, манипулирующую набором доступных пользователю возможностей.

Индонезийские исследователи С. Рионо, Г. Гунарто и Дж. Хафидц в статье «Направления политики социального контроля над преступностью в цифровую эпоху» [10] рассматривают адаптацию политик контроля к цифровым реалиям. Авторы утверждают, что политики социального контроля преступности будут продолжать развиваться в соответствии с различными сложностями, которые продолжают возникать как следствие жизни в обществе. Ключевой вывод: усилия по реконфигурации политик социального контроля преступности как формальными, так и неформальными агентами будут расти параллельно с массированным использованием различных технологических инструментов.

Турецкий исследователь Н. Атешоглу в главе «Invisible Power in the Digital Sphere: Surveillance and Social Control» [11] ставит принципиальные вопросы о природе цифрового контроля. Исследование направлено на изучение политических и социальных аспектов политик наблюдения, распространяющихся в цифровых пространствах. Автор предлагает теоретическую рамку, проблематизирующую использование инструментов цифрового наблюдения, особенно технологий распознавания лиц: используются ли они в целях безопасности или для контроля общества.

Отчёт рабочей группы британских учёных «Digital Technologies, Power and Control» под руководством Б. Эванса [12] предлагает критический взгляд на конфигурации власти при цифрово-опосредованном взаимодействии. Исходная посылка: индивиды должны сохранять власть, необходимую для личного выбора, но цифровизация создаёт риски «информационной бедности» и социальной эксклюзии для тех, кто не имеет доступа к технологиям.

В исследовании С. В. Назаренко подчёркивается амбивалентная функция социального контроля: обеспечение воспроизводства типичного нормативного поведения людей, благодаря чему сохраняются социально значимые ценности, нормы и социальный порядок [13].

О. В. Гавриленко в работе «Цифровые технологии социального контроля: перспективы и социальные последствия их внедрения» [14] выделяет следующие эффекты трансформирующихся систем контроля: современные технологии наблюдения осуществляют социальный контроль удалённо, сокращается количество необходимых контролёров-людей (например, полицейских), снижается стоимость социального контроля, расширяются границы его проникновения.

### **Основные направления институциональных изменений в сфере социального контроля**

***Размывание границ формального и неформального контроля.*** Классическая социология (от Чикагской школы до Т. Парсонса) проводила достаточно

чёткое различие между формальным контролем, осуществляемым специализированными институтами, и неформальным — механизмами межличностной регуляции в первичных группах. Современные исследования фиксируют размывание этой границы.

С одной стороны, формальные институты всё активнее интегрируют неформальные механизмы в свои практики — от апелляции к общественному мнению как фактору воздействия до создания программ, предполагающих сотрудничество полиции с местными сообществами. С другой стороны, неформальные практики всё чаще приобретают формализованный характер — например, когда школьные правила поведения кодифицируются и приобретают характер квазисудебных процедур.

Как обращал внимание С. Коэн [1], в современных обществах границы социального контроля теряют чёткость. Возникает ситуация, когда индивид может одновременно находиться под воздействием формальных санкций (условное осуждение), квазиформальных (предписания социального работника) и неформальных (общественное порицание) механизмов, причём их взаимодействие создаёт новые контрольные эффекты.

**Гибридизация контрольных практик.** Институциональные сдвиги порождают гибридные формы контроля, сочетающих элементы различных идеальных типов. Наиболее ярким примером выступают проблемно-ориентированные суды — drug courts (суды по делам о наркотиках) и mental health courts (суды, рассматривающие дела лиц с психическими заболеваниями), которые объединяют юридическую процедуру с терапевтическим вмешательством. Это специализированные суды, которые предлагают альтернативы традиционной системе уголовного правосудия. Они направлены на лечение преступников, а не на их наказание.

В этих гибридных институтах классическая репрессивная логика (подсудимый, обвинение, наказание) переплетается с медицинской (диагноз, лечение, выздоровление) и социально-патерналистской (поддержка, реабилитация, ресоциализация). Возникает парадоксальная ситуация «принудительной терапии» или «терапевтического наказания», где лечение выступает одновременно и альтернативой санкции, и самой санкцией.

Аналогичные гибридные формы возникают в исправительных учреждениях, где программы лечения становятся неотъемлемой частью отбывания наказания, или в социальной работе, где помощь обуславливается выполнением контрольных предписаний. Гибридизация становится способом расширения контрольного воздействия — репрессивные меры легитимируются через апелляцию к заботе, а терапевтические интервенции усиливаются принудительным компонентом.

**Технологизация и алгоритмизация контроля.** Особое направление институциональных изменений связано с технологической трансформацией контрольных механизмов. Электронный мониторинг, биометрическая идентификация, прогностическое моделирование рисков, автоматизированные системы принятия решений — все эти технологии качественно меняют природу социального контроля. Фактически контроль смещается от наблюдения за человеком физически к наблюдению за его цифровым следом. Современные исследования фиксируют рост киберпреступности. Так, по данным опроса населения России, проведённого сотрудниками сектора социологии девиантного поведения ИС ФНИСЦ РАН (март–май 2024 г.), многие респонденты считают вероятность стать жертвой кибермошенничества высокой, особенно в отношении незаконного использования

персональных данных и взлома электронной почты. При этом количество опасных киберпреступлений увеличивается с возрастом [15].

С. Коэн [1, с. 170], анализируя ранние формы электронного контроля, отмечал их амбивалентность: с одной стороны, они позволяют избегать тюремного заключения, с другой — существенно расширяют возможности надзора и его продолжительность. Электронный мониторинг выступает классическим примером «контроля без стен»: индивид находится в сообществе, но его перемещения, контакты и поведение становятся объектом непрерывного наблюдения.

Сущность данного вида контроля заключается в сборе и анализе метаданных (телеметрия, история поиска, геолокация, транзакции). Алгоритмы выявляют аномалии (девиации) автоматически. Например, банковский скоринг фиксирует отклоняющееся финансовое поведение, а системы распознавания лиц — нахождение в «запретном» месте.

Современные технологические возможности уходят далеко за пределы того, что мог представить С. Коэн. Big Data и алгоритмы машинного обучения позволяют не только фиксировать, но и прогнозировать девиантное поведение, что создаёт принципиально новую ситуацию «превентивного контроля». Институциональные изменения в этом контексте означают переход от реагирования на совершённые деяния к управлению будущими рисками на основе статистических вероятностей. Контроль становится проактивным и предиктивным. Контроль становится гибким, динамичным, всепроникающим [16]. Общество пытается наказать не за совершенное преступление, а за потенциальную возможность его совершить.

**Видеоаналитика и распознавание девиантного поведения на основе нейросетей.** Наиболее динамично развивающееся направление цифрового контроля связано с применением технологий компьютерного зрения и глубинного обучения для автоматического выявления отклоняющегося поведения в видеопотоках. Эта технология позволяет автоматически анализировать видеопотоки с камер наблюдения, выявлять девиантное поведение и потенциальные угрозы в режиме реального времени.

Системы видеоаналитики на основе нейросетей включают распознавание людей и объектов (например, оружия по силуэту одежды). Также алгоритмы могут распознавать и оценивать выражения лиц и жесты, которые могут указывать на агрессию и нежелательное поведение. Кроме этого, системы фиксируют перемещения людей, оставленные предметы.

Среди отечественных разработок можно выделить систему интеллектуального видеонаблюдения, разработанную учёными Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А.<sup>1</sup> В режиме реального времени «распознаватели» нейросети анализируют видеопоток с камер наблюдения, отмечая различные типы угроз, и мгновенно передают сигнал тревоги на «пункт мониторинга» оператору. Например, они могут определить по силуэту одежды наличие пистолета или ножа, отметить агрессию и излишнюю тревожность на лице посетителя, среагировать на подозрительную сумку.

<sup>1</sup> Учёные СГТУ разработали систему интеллектуального видеонаблюдения: распознавания девиантного поведения и забытых вещей // СГТУ. 15.08.2022. URL: <https://www.sstu.ru/news/uchenye-sgtu-razrabotali-sistemu-intellektualnogo-videonablyudeniya-raspoznavaniya-deviantnogo-poved.html> (дата обращения: 05.04.2026).

В Московском техническом университете связи и информатики также разработали алгоритм обнаружения девиантного поведения, основанный на оценке позы человека и алгоритме OpenPifPaf с открытым исходным кодом. Дополнительно было создано веб-приложение, которое реагирует на девиантное поведение, фиксирует его, записывает событие в базу данных и отображает уведомление<sup>2</sup>.

Специалисты Университета Чунг-Анг (Южная Корея) разработали трёхэтапную архитектуру интеллектуальной системы видеонаблюдения: 1) генерация базовых метаданных через обнаружение и трекинг объектов; 2) распознавание аномального поведения для формирования событийных метаданных; 3) поиск на основе SQL-запросов (Structured Query Language). Модель успешно классифицирует такие действия, как толкание, акты агрессии, падение и нарушение периметра [17].

Принципиально важным этапом в развитии систем контроля является сдвиг от идентификации девиантного поведения к распознаванию подозрительного поведения (*suspicious behavior detection*). Обнаружение подозрительного поведения — это процесс выявления и анализа действий, моделей поведения или взаимодействий, которые отклоняются от нормы и могут сигнализировать о потенциальных рисках или угрозах. Сфера применения таких решений охватывает обширный спектр задач, начиная с обеспечения безопасности на массовых мероприятиях и заканчивая предотвращением финансовых преступлений и кибератак. Данная система включает в себя несколько технологий, например, специальные системы моделируют нормальное поведение, а всё, что не классифицируется как обычное, считается подозрительным. Это может включать анализ аномальных движений, траекторий или поведения толпы. Также для обработки видеопотоков и других данных применяются методы машинного обучения: свёрточные (CNN, 3DCNN) и рекуррентные (RNN) нейронные сети и другие алгоритмы, которые позволяют выявлять аномалии в поведении людей, движениях, взаимодействиях [18].

**Мониторинг цифровых следов в социальных сетях и образовательной среде.** Второе направление цифрового контроля связано с анализом онлайн-активности индивидов, прежде всего несовершеннолетних, отнесённых к группам риска. Профилактический потенциал такого мониторинга включает три ключевых направления: раннее выявление суицидальных рисков, депрессии, пищевых расстройств, вовлечённости в деструктивные группы; понимание социального контекста (кибербуллинг, отношения со сверстниками); осуществление проактивного вмешательства до перехода проблемы в острую фазу [19].

Однако одновременно фиксируется спектр этико-правовых проблем: нарушение приватности (сбор данных без информированного согласия), риск контекстуальных ошибок и стигматизации, подрыв доверия между педагогом и учеником, отсутствие чёткого правового регулирования. Исследователи социального контроля подчёркивают необходимость баланса между заботой о благополучии и уважением к приватности: «технологические возможности должны служить гуманитарным целям — не заменять живое человеческое взаимодействие, а дополнять его» [19].

<sup>2</sup> В МТУСИ разработали алгоритм обнаружения девиантного поведения // МТУСИ. 06.06.2023. URL: [https://mtuci.ru/about\\_the\\_university/news/7658/](https://mtuci.ru/about_the_university/news/7658/) (дата обращения: 05.04.2026).

Принципиально важным событием 2025 года в сфере социального контроля стала разработка экспертами МГППУ и Центра им. В. П. Сербского «Навигатора профилактики социальных рисков детства в цифровой среде»<sup>3</sup>. Это методическое пособие, созданное по поручению Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и прошедшее межведомственное согласование (Минпросвещения, Минздрав, Минобрнауки, МВД, СК), предоставляет специалистам чёткие и структурированные алгоритмы для своевременного выявления признаков девиантного поведения несовершеннолетних в сети Интернет.

Новизна разработки заключается в систематизации и классификации видов девиантного онлайн-поведения, включая ранее не описанный тип — кибервиктимно-девиантное поведение. В структуру Навигатора входят памятки по киберагрессивному, киберделинквентному, киберсамоповреждающему, киберсуицидальному, кибераддиктивному поведению.

Ещё одним направлением технологизации профилактики является использование методов машинного обучения для превентивного выявления девиантных групп подростков. В. Л. Евсеев и А. С. Бураков предлагают систему, основанную на онлайн-профайлинге страниц социальных сетей (прежде всего «ВКонтакте»), где объектами исследования выступают профили обучающихся. Выделяются три категории девиантных групп: потенциальные стрелки (скулшутинг), потенциальные буллеры и потенциальные суициденты.

Для выявления девиации предлагается измерять тревожность и агрессивность по косвенным признакам, репрезентированным на страницах, с последующей кластеризацией методом k-средних для выделения групп риска. Хотя авторы подчёркивают, что предложенный инструментарий предназначен для частичной автоматизации сбора данных, а не для замены профессиональной оценки психолога, сам факт появления таких разработок свидетельствует о переходе от реактивной к предиктивной логике контроля в образовательной среде [19]. Эмпирические исследования российских учёных подтверждают широкое распространение «цифровых девиаций». В частности, опрос жителей Республики Татарстан (N=1864) выявил высокую степень вовлеченности населения в рискованные практики, связанные с анонимностью и агрессивным взаимодействием в сети [20]. При этом отмечен низкий уровень обращаемости за институциональной помощью, что указывает на формирование устойчивых моделей кибервиктимизации (опыта становления жертвой в сети) и требует новых подходов к профилактике.

**Контроль на основе анализа поведенческих паттернов.** Третье направление цифрового контроля формируется в корпоративном секторе, особенно на предприятиях критической информационной инфраструктуры (КИИ). Анализ поведенческих паттернов — это метод контроля, который предполагает изучение устойчивых моделей действий, мыслей или эмоциональных реакций человека в различных ситуациях. Он позволяет выявить повторяющиеся схемы поведения, их причины, последствия и влияние на достижение целей.

<sup>3</sup> Навигатор профилактики социальных рисков детства в цифровой среде. Версия 1.0. Методические материалы и памятки для специалистов по алгоритмам действий, направленных на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы, признаков девиантного поведения онлайн детей и подростков с учётом рисков, выявленных в цифровой среде / Богданович Н. В., Делибалт В. В., Дозорцева Е. Г., Дворянчиков Н. В. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2025 г. 51 с. Текст: электронный. URL: [https://mgppu.ru/about/publications/prevention\\_digital\\_risk](https://mgppu.ru/about/publications/prevention_digital_risk) (дата обращения: 05.04.2026).

В частности, на предприятиях применяется метод повышения достоверности мониторинга девиантного поведения персонала на основе кластерного анализа [21]. Исходная посылка: «безопасность предприятий КИИ зависит не только от технических решений, но и от человеческого фактора», а нарушения, связанные с действиями персонала, представляют «серьёзную угрозу устойчивости функционирования». Предложенный метод целесообразно использовать в системах мониторинга и профилактики девиантного поведения персонала на предприятиях КИИ.

Обобщая рассмотренные виды и формы цифрового социального контроля девиаций, можно выделить следующую классификацию методов (см. табл. 1).

Таблица 1

### Классификация новых методов цифрового контроля девиаций

Метод/ Технология	Объект контроля	Детектируемые девиации	Теоретическая база	Практические реализации
Нейросетевая видеоаналитика	Движения, позы, жесты, траектории движения	Агрессия, падения, пересечение барьеров, подозрительное поведение	Теории машинного обучения, экологическая криминология	Системы распознавания аномалий, SBD
Мониторинг цифровых следов	Посты, репосты, лайки, онлайн-активность	Суицидальные риски, кибербуллинг, деструктивные группы	Психология развития, теории социализации	«Навигатор» МГППУ, алгоритмы для педагогов
Анализ поведенческих профилей	Цифровые профили, многомерные поведенческие признаки	Внутренние угрозы, ненадёжное поведение	Теории управления рисками, организационная психология	Кластерный анализ сотрудников КИИ

Предложенная в таблице классификация новых методов цифрового контроля девиаций позволяет выявлять изменения на уровне сознания объекта контроля. Нейросетевая видеоаналитика вызывает формирование «эффекта наблюдателя» — индивид меняет поведение, осознавая постоянный видеоконтроль; возникает самоцензура двигательных реакций, снижение спонтанности. Мониторинг цифровых следов вызывает интериоризацию «цифрового суперэго» — пользователь начинает фильтровать контент, ориентируясь на предполагаемые критерии безопасности; происходит формирование гиперрефлексии относительно собственного цифрового профиля. Анализ поведенческих профилей приводит к принятию корпоративной нормативности как фоновой; происходит смещение локуса контроля с внешнего на внутренний — сотрудник начинает сам отслеживать собственные «подозрительные» паттерны.

На основе вышеизложенного представляются актуальными дальнейшие исследования в данной области. В частности — анализ социальных последствий. Необходимо изучать, как новые методы контроля перераспределяют власть, создают новые формы неравенства и формируют субъективность в условиях цифрового общества. Зарубежные исследования фиксируют феномен «сдерживания», когда осознание тотальной слежки вынуждает пользователей ограничивать легальную онлайн-активность, поиск информации и свободное самовыражение в сети. Например, лонгитюдное исследование (N=774) показало, что восприятие цифрового наблюдения (dataveillance) напрямую связано с само-

ограничением поведения и чувством бессилия перед системой контроля. Этот эффект дополняет «парадокс расширения сети», когда, формально оставаясь на свободе, индивид оказывается заперт в «цифровом паноптикуме», где его действия становятся элементом системы наблюдения [22].

Также внимание следует уделить разработке этических протоколов, что вызвано необходимостью баланса между безопасностью и приватностью, профилактикой и стигматизацией. Помимо этого, актуальным представляется междисциплинарная интеграция, соединение социологической теории, криминологических концепций и технических разработок для создания более эффективных систем контроля.

**Дисперсия и концентрация контроля: парадоксы расширения сети.** Парадокс современных практик заключается в том, что дисперсия социального контроля происходит параллельно с его концентрацией. Контроль становится более распределённым в пространстве, выходя за стены тюрем и проникая в общество, но одновременно он становится более плотным и интенсивным в отношении целевых групп.

Этот тезис требует пересмотра линейных представлений о либерализации контроля. Как показано в исследованиях, декриминализация одних деяний сопровождается криминализацией других, деинституционализация в сфере психического здоровья — расширением практик принудительного лечения, а альтернативные санкции — усилением надзора за новыми категориями населения.

Исходно описанный С. Коэном [1] эффект «расширения сети» сохраняет аналитическую значимость и в отношении современных контрольных инноваций. Программы восстановительного правосудия, альтернативные меры пресечения, профилактические учёты — все эти меры, позиционируемые как смягчающие, в реальности расширяют контрольное воздействие на тех, кто ранее мог избежать контакта с системой. Цифровые технологии интенсифицируют описанный им эффект «расширения сети». Мониторинг социальных сетей позволяет вовлекать в орбиту контроля тех, кто ранее мог избегать формальных санкций (например, подростков с суицидальными мыслями, ещё не совершивших попыток). Видеоаналитика с детекцией подозрительного поведения расширяет контроль во времени и пространстве от реагирования на событие к превентивному наблюдению за потенциально опасными индивидами. Анализ поведенческих профилей сотрудников в свою очередь расширяет контроль от оценки результатов работы к оценке поведенческих паттернов и прогнозированию рисков.

Стоит отметить, что расширение контроля происходит не только количественно (больше людей под контролем), но и качественно (более интенсивное и длительное воздействие). Современные технологии позволяют осуществлять непрерывный мониторинг там, где ранее контроль был эпизодическим, и сохранять наблюдение там, где ранее оно прекращалось.

Исследования показывают, что гибридные механизмы социального контроля порождают ряд последствий. Во-первых, происходит смещение критериев оценки — успешность определяется не только юридическими параметрами (соблюдение закона), но и терапевтическими (изменение установок, признание проблемы). Во-вторых, размывается ответственность — гибридные институты могут перекладывать решения друг на друга, создавая зоны безответственности. В-третьих, усиливается проникновение контроля в приватную сферу — терапия

требует раскрытия интимных аспектов жизни, которые становятся объектом профессиональной оценки.

Параллельно с развитием прикладных методов формируется теоретическая рефлексия цифровой трансформации социального контроля. Так, Ю. Ю. Комлев проводит концептуализацию происходящих изменений, рассматривая «феноменологию “старой” и “новой” девиантности в условиях цифровизации и сетевизации социума», «дисфункции институтов социализации и трансформацию социального порядка», «стремительное развитие цифрового социального неравенства и контроля» [23]. Ю. Ю. Комлев обосновывает необходимость развития цифровой девиантологии как ответа на вызовы технологической революции и социальные проблемы, которые она порождает. Также им предлагается «более тесная интеграция юридических, социологических и других поведенческих наук и технологических знаний» для решения правоприменительных задач.

**Заключение.** Проведённый теоретический анализ позволяет сформулировать ряд выводов, обобщающих основные результаты исследования.

Трансформации социального контроля не укладываются в простую линейную дихотомию по противопоставлению гуманизации и ужесточения. Как показано в работах С. Коэна [1], Д. Гарленда [2] и Л. Вакана [8], процессы деинституционализации и декриминализации в одних сферах парадоксальным образом сочетаются с расширением репрессивного аппарата в других. Эффект «расширения сети» сохраняет свою аналитическую значимость: альтернативные санкции, программы восстановительного правосудия и профилактические учёты не заменяют традиционные меры, а дополняют их, вовлекая в системы контроля новые категории населения, которые ранее могли избегать контакта с системой. Контроль становится более распределённым в пространстве («контроль без стен»), но одновременно более плотным и интенсивным в отношении целевых групп.

Ключевым направлением выступает гибридизация контрольных практик, стирающая традиционные границы между формальным и неформальным, принудительным и добровольным, репрессивным и терапевтическим. Проблемно-ориентированные суды, программы принудительной терапии в исправительных учреждениях, а также практики социальной работы, где помощь обуславливается выполнением контрольных предписаний, — всё это примеры гибридных институтов, в которых лечение выступает одновременно и альтернативой санкции, и самой санкцией. В результате происходит смещение критериев оценки от юридических к терапевтическим, размывание ответственности между институтами и углубление контроля в приватную сферу.

Технологическое развитие качественно меняет саму природу социального контроля. Переход от реагирования на совершённые действия к управлению будущими рисками на основе Big Data и алгоритмов машинного обучения знаменует формирование предиктивного, проактивного контроля. Анализ конкретных технологических направлений — нейросетевой видеоаналитики (включая распознавание подозрительного поведения), мониторинга цифровых следов в социальных сетях и образовательной среде, кластеризации поведенческих профилей сотрудников предприятий критической информационной инфраструктуры — показывает, что контроль становится непрерывным, тотальным и всё более автоматизированным.

Институциональные изменения в сфере социального контроля порождают новые социальные последствия и этические дилеммы. К ним можно отнести

углубление социального неравенства (поскольку наиболее интенсивному контролю подвергаются «исключённые» группы), риск стигматизации и ложной идентификации девиантов, подрыв доверия между агентами контроля (педагогами, социальными работниками) и субъектами, а также размывание границ приватности в условиях тотальной оцифровки повседневности.

Сравнительный анализ выявляет двойственное отношение общества к цифровому контролю. Так, исследования в Китае показывают, что осознание населением масштабов слежки способно подрывать доверие к государственным институтам, так как знание о репрессивной природе контроля значительно снижает положительные эмоции и поддержку властей [24]. В то же время европейские данные фиксируют прагматичную готовность граждан мириться со сбором данных в обмен на удобство сервисов и безопасность, формируя феномен «усталости от приватности» [22]. Эта амбивалентность диктует необходимость выработки гибких этических протоколов, учитывающих как объективные риски, так и субъективное восприятие контроля.

Вектор будущих исследований охватывает несколько ключевых направлений. Прежде всего, необходимо эмпирическое изучение конкретных механизмов цифрового контроля в различных институциональных контекстах, будь то уголовная юстиция и образование или социальная работа и цифровые платформы. Кроме того, требуется анализ обратной связи, того, как осознание индивидами факта непрерывного мониторинга трансформирует их поведение (эффект наблюдателя), идентичность и стратегии сопротивления. Не менее значима задача междисциплинарной интеграции — соединения социологической теории, криминологических концепций и технических разработок для создания более эффективных и одновременно более гуманных систем контроля. И, наконец, внимания заслуживает разработка нормативных и этических рамок, позволяющих удерживать баланс между безопасностью и приватностью, профилактикой и стигматизацией, принуждением и свободой.

### *Библиографический список / References*

1. Cohen S. *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*. Cambridge: Polity Press; 1985.
2. Garland D. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press; 2001. DOI [10.7208/chicago/9780226190174.001.0001](https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190174.001.0001).
3. Zuboff Sh. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs; 2019.
4. Lyon D. *Surveillance Studies: An Overview*. Cambridge: Polity Press; 2007.
5. Brayne S., Lageson S., Levy K. Surveillance Deputies: When Ordinary People Survey for the State. *Law & Society Review*. 2023;57(4):462–488. DOI [10.1111/lasr.12681](https://doi.org/10.1111/lasr.12681). EDN [CIDQVF](https://www.edn.ru/CIDQVF).
6. Rigakos G. S. *The New Parapolice: Risk Markets and Commodified Social Control*. Toronto: University of Toronto Press; 2002. DOI [10.3138/9781442681873](https://doi.org/10.3138/9781442681873).
7. Foucault M. *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Paris: Gallimard; 1975. (In French).
8. Wacquant L. *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*. Durham, NC: Duke University Press; 2009. DOI [10.1215/9780822392255](https://doi.org/10.1215/9780822392255).
9. Сизов А. А. Надзор и структурное насилие: от Паноптикона к алгоритмам // Социология власти. 2025. Т. 37, № 3. С. 36–60. EDN [HIDJKV](https://www.edn.ru/HIDJKV).  
Sizov A. A. Surveillance and Structural Violence: From Panopticon to Algorithms. *Sociology of Power*. 2025;37(3):36–60. (In Russ.).
10. Riono S., Gunarto G., Hafidz J. Policy Directions for Social Control of Crime in The Digital Era. *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*. 2025;(4):647. DOI [10.30659/picldpw.v4i0.50169](https://doi.org/10.30659/picldpw.v4i0.50169). EDN [MDPPBG](https://www.edn.ru/MDPPBG).

11. Ateşoğlu N. Invisible Power in the Digital Sphere: Surveillance and Social Control. In: Çelik N., Ateşoğlu N., Güner Ş. S. Sociological Dimensions of Platformization: Power, Culture, and Identity in the Digital Age. Hershey, PA: IGI Global Scientific Publishing; 2026. P. 287–300. DOI [10.4018/979-8-3373-4267-2.ch011](https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4267-2.ch011).
12. Evans B., Frumkin L., Coopamootoo K. [et al.] Digital Technologies, Power and Control. Sprite+; 2022. DOI [10.13140/RG.2.2.20037.67047](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20037.67047).
13. Назаренко С. В. Ресурсы социально-профессиональной социализации и социального контроля девиаций в цифровом мире // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2019. № 6. С. 19–33. DOI [10.26653/2076-4685-2019-6-02](https://doi.org/10.26653/2076-4685-2019-6-02). EDN [KNHSKU](https://edn.knhsku.ru).  
Nazarenko S. V. Resources of Social and Professional Socialization and Social Control of Deviations in the Digital World. *Scientific Review. Series 2. Human Sciences*. 2019;(6):19–33. (In Russ.). DOI [10.26653/2076-4685-2019-6-02](https://doi.org/10.26653/2076-4685-2019-6-02).
14. Гавриленко О. В. Цифровые технологии социального контроля: перспективы и социальные последствия их внедрения // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2022. Т. 28, № 1. С. 145–163. DOI [10.24290/1029-3736-2022-28-1-145-163](https://doi.org/10.24290/1029-3736-2022-28-1-145-163). EDN [MTMMNS](https://edn.mtmms.ru).  
Gavrilenko O. V. Digital Technologies of Social Control: Prospects and Social Consequences of their Implementation. *Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 2022;28(1):145–163. (In Russ.). DOI [10.24290/1029-3736-2022-28-1-145-163](https://doi.org/10.24290/1029-3736-2022-28-1-145-163).
15. Позднякова М. Е., Бруно В. В. Развитие информационно-сетевой среды и девиантное поведение: киберпреступность как новая социальная угроза // Вестник Института социологии. 2024. Т. 15, № 4. С. 235–254. DOI [10.19181/vis.2024.15.4.12](https://doi.org/10.19181/vis.2024.15.4.12). EDN [HOJENA](https://edn.hojena.ru).  
Pozdnyakova M. E., Bruno V. V. Development of the Information and Network Environment and Deviant Behaviour: Cybercrime as a New Social Threat. *Vestnik instituta sotziologii*. 2024;15(4):235–254. (In Russ.). DOI [10.19181/vis.2024.15.4.12](https://doi.org/10.19181/vis.2024.15.4.12).
16. Платонова С. И. Большие данные и организация социального контроля в цифровом обществе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2022. № 4. С. 81–91. DOI [10.18384/2310-7227-2022-4-81-91](https://doi.org/10.18384/2310-7227-2022-4-81-91). EDN [UWPPHX](https://edn.uwpphx.ru).  
Platonova S. I. Big Data and the Organization of Social Control in the Digital Society. *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy*. 2022;(4):81–91. (In Russ.). DOI [10.18384/2310-7227-2022-4-81-91](https://doi.org/10.18384/2310-7227-2022-4-81-91).
17. Kim H., Shin J., Park S. [et al.] Intelligent Video Surveillance System with Abnormal Behavior Recognition and Metadata Retrieval. *IEIE Transactions on Smart Processing & Computing*, 2024;13(6):541–552. DOI [10.5573/ieiespc.2024.13.6.541](https://doi.org/10.5573/ieiespc.2024.13.6.541). EDN [JAUJUM](https://edn.jaujum.ru).
18. Joshi A., Jagdale N., Gandhi R. [et al.] Smart Surveillance System for Detection of Suspicious Behaviour Using Machine Learning. In: Pandian A., Ntalianis K., Palanisamy R. (eds) Intelligent Computing, Information and Control Systems. ICICCS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1039. Cham: Springer; 2020. DOI [10.1007/978-3-030-30465-2\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-030-30465-2_27).
19. Джамалов Д. К. Мониторинг социальных сетей учащихся группы риска: этические границы и профилактический потенциал // Молодой ученый. 2026. № 5(608). С. 111–114. EDN [GWMOIQ](https://edn.gwmoiq.ru).  
Dzhamalov D. K. Monitoring of Social Networks of At-Risk Students: Ethical Boundaries and Preventive Potential. *Molodoy uchenyy*. 2026;(5):111–114. (In Russ.).
20. Бакулина Р. А. Социальные практики цифровой девиации и факторы кибервиктимизации. Казанский социально-гуманитарный вестник. 2025. № 4(71). С. 4–10. DOI [10.26907/2079-5912.2025.4.4-10](https://doi.org/10.26907/2079-5912.2025.4.4-10). EDN [AVHWPN](https://edn.avhwpn.ru).  
Bakulina R. A. Digital Deviant Practices and Factors Contributing to Cybervictimization. *The Kazan Socially-Humanitarian Bulletin*. 2025;(4):4–10. (In Russ.). DOI [10.26907/2079-5912.2025.4.4-10](https://doi.org/10.26907/2079-5912.2025.4.4-10).
21. Евсеев В. Л., Бураков А. С., Марченко А. В. Повышение точности определения девиантных групп при подборе и мониторинге персонала предприятий критической информационной инфраструктуры // Безопасность информационных технологий. 2025. Т. 32, № 3. С. 121–131. DOI [10.26583/bit.2025.3.10](https://doi.org/10.26583/bit.2025.3.10). EDN [FHJKYQ](https://edn.fhjkyq.ru).  
Evseev V. L., Burakov A. S., Marchenko A. V. Improving the Accuracy of Determining Deviant Groups in the Selection and Monitoring of the Critical Information Infrastructure Enterprises Staff. *IT Security (Russia)*. 2025;32(3):121–131. (In Russ.). DOI [10.26583/bit.2025.3.10](https://doi.org/10.26583/bit.2025.3.10).

22. Meier Ya., Masur Ph. K. Escaping the Digital Panopticon? Longitudinal Effects of Dataveillance Salience Shocks on Privacy Attitudes and Inhibited Behaviors. *Human Communication Research*. 2025;52(2):121–132. DOI [10.1093/hcr/hqaf025](https://doi.org/10.1093/hcr/hqaf025). EDN BGN GMT.
23. Комлев Ю. Ю. Девиантность и социальный контроль в цифровом мире. Избранные статьи. Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2024. 420 с. ISBN 978-5-6049707-4-4.
24. Komlev Yu. Yu. Deviance and Social Control in the Digital World. Selected articles. Kazan: Kazanskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii; 2024. (In Russ.). ISBN 978-5-6049707-4-4.
24. Guo D., Kostka G. Knowing Is Disturbing: Emotions and Public Attitudes toward Digital Control under Autocracy. *Perspectives on Politics*. Published online 2025:1–22. DOI [10.1017/S1537592725103551](https://doi.org/10.1017/S1537592725103551).

Поступила: 10.04.2026. Доработана: 16.05.2026. Принята: 25.05.2026.

**Сведения об авторе:**

**Ардельянова Яна Андреевна**, кандидат социологических наук,  
старший научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия.  
[ard yana@yandex.ru](mailto:ard yana@yandex.ru)

Author ID РИНЦ: [701425](https://elibrary.ru/author_id/701425); ORCID: [0000-0002-8881-6121](https://orcid.org/0000-0002-8881-6121)

**Ya. A. Ardelyanova<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institute of Sociology of FCTAS RAS. Moscow, Russia

## INSTITUTIONAL CHANGES AND DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIAL CONTROL OF DEVIANT BEHAVIOR

**Abstract.** The article presents the results of a theoretical understanding of the transformations of social control of deviations, in particular, changes in its forms, principles and mechanisms. Methodologically, the work was based on S. Cohen's concept of social control and subsequent theoretical developments by researchers of the digital society. The key directions of the evolution of social control mechanisms were considered: blurring the boundaries between formal and informal practices, hybridization of social control practices, as well as technologization and algorithmization of social control. Particular attention was paid to the technologization of control, in particular, the methods of neural network video analytics (including the recognition of suspicious behavior), monitoring digital footprints in social networks and the educational environment, as well as clustering behavioral profiles of employees were analyzed. The discussion examines the paradoxical effects of modern control practices: the "expansion of the network" with the introduction of alternative sanctions, the concentration of control with its spatial dispersion, the formation of zones of irresponsibility in hybrid institutions. In conclusion, the prospects for further empirical research aimed at analyzing the social consequences of digital control (new forms of inequality, transformation of subjectivity, the observer effect) and the development of ethical protocols for balancing security and privacy are formulated.

**Keywords:** social control, deviation, control dispersion, network expansion, digital panopticism, hybridization, algorithmization, predictive analytics, digital deviance, behavior monitoring

**For citation:** Ardelyanova Ya. A. Institutional changes and digital transformation of social control of deviant behavior. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):9–22. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.1>

Received: 10.04.2026. Corrected: 16.05.2026. Accepted: 25.05.2026.

**Author information:**

**Yana A. Ardelyanova**, Candidate of Sociology, Senior Researcher,  
Institute of Sociology of FCTAS RAS. Moscow, Russia. [ard yana@yandex.ru](mailto:ard yana@yandex.ru)  
ORCID: [0000-0002-8881-6121](https://orcid.org/0000-0002-8881-6121)



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.2](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.2)  
EDN [XJBGSW](https://edn.ras.ru/XJBGSW)  
УДК 316.624-053.6



М. Е. Позднякова<sup>1</sup>, В. В. Брюно<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия

## НЕОКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВОЙ ДЕВИАНТНОСТИ: ДИНАМИКА И СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

**Аннотация.** На основе вторичного анализа статистики МВД России, Следственного комитета РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Росстата и других открытых источников рассматриваются изменения масштабов, структуры и форм участия несовершеннолетних в преступности в 2005–2025 гг. Показано, что длительное снижение зарегистрированных преступлений несовершеннолетних не означает однозначного ослабления подростковой делинквентности. Данные 2025 г. указывают на прерывание прежней нисходящей тенденции: выросли число преступлений и коэффициент преступности на 100 тыс. подростков 14–17 лет, увеличилась доля тяжких и особо тяжких деяний. На этом фоне фиксируется структурная перестройка регистрируемой подростковой преступности: сокращение массовых улично-групповых форм сочетается с ростом значимости латентных, организационно сложных и дистанционно координируемых практик. Снижается удельный вес грабежей и разбоев, возрастает роль наркопреступлений, деяний против общественной безопасности и функционально распределённых моделей включения, при которых подросток выполняет отдельную роль в более широкой криминальной схеме. Сопоставление данных МВД и судебной статистики показывает изменение видимого профиля деяний и вовлечённых в них несовершеннолетних: уменьшается доля преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снижается представленность подростков с криминальным опытом при сохранении высокой доли группового участия. Эти признаки не раскрывают механизмы вовлечения напрямую, но косвенно указывают на формирование новой морфологии подростковой преступности. Рядом с классическим маргинальным слоем проявляются эпизодические, распределённые и труднее распознаваемые формы участия. В статье неокриминализация понимается как структурная перестройка уголовно-учитываемого сегмента подростковой делинквентности.

**Ключевые слова:** подростковая преступность, неокриминализация, подростковая девиантность, структура преступности несовершеннолетних, цифровые каналы вовлечения, цифровая делинквентность, подросток-исполнитель

**Для цитирования:** Позднякова М. Е., Брюно В. В. Неокриминализация подростковой девиантности: динамика и структурная перестройка // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 23–42. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.2](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.2). EDN [XJBGSW](https://edn.ras.ru/XJBGSW).

**Введение.** Преступность несовершеннолетних традиционно рассматривается как один из индикаторов социального благополучия и эффективности систем воспитания и профилактики. Подростковая преступность представляет собой совокупность преступлений, совершаемых лицами в возрасте от 14 лет до достижения 18-летнего возраста, и выделяется в криминологии как самостоятельное явление в силу возрастных, психологических и социальных особенностей данной группы [1]. Именно из среды несовершеннолетних правонарушителей формируется значительная часть рецидивной преступности взрослых [1]. По данным криминологических исследований, многие рецидивисты совершают первое преступление в несовершеннолетнем возрасте [2; 3].

© Позднякова М. Е., Брюно В. В., 2026

Россия пережила несколько волн подростковой преступности: пик пришёлся на 1993–1994 гг., затем последовало снижение, прерываемое отдельными всплесками (1999 г., 2004–2005 гг., а также рост в 2013 и 2015 гг.) [4; 5]. В целом со второй половины 2000-х гг. и в 2010-е гг. официальные показатели подростковой преступности имели выраженную нисходящую тенденцию, которая, однако, не была линейной и к 2025 г. демонстрирует признаки изменения. Такая динамика требует осторожной интерпретации и не может трактоваться как прямое ослабление подростковой делинквентности. В литературе обсуждается возможность смещения части противоправной активности в менее наблюдаемые сегменты, прежде всего в цифровую среду, что сопровождается ростом латентности отдельных видов правонарушений [6; 7; 8].

Снижение официальных показателей сопровождается качественными изменениями подростковой преступности. В последнее десятилетие заметнее становятся формы противоправной активности, отличающиеся по каналам вовлечения, характеру участия несовершеннолетних и степени видимости для традиционных институтов профилактики. Особенно выраженными эти процессы стали в 2020-е гг. на фоне пандемии COVID-19 и последующих общественно-политических потрясений, усиливших роль цифровой среды, сетевых коммуникаций и дистанционных форм взаимодействия.

К числу заметных проявлений этой перестройки относятся вовлечение молодёжи в цифровые мошеннические схемы, включая дропперство, а также рост наркопреступлений и деяний экстремистской направленности. Характерными особенностями этих практик являются сравнительная доступность для подростков, фрагментарный характер выполняемых действий и неочевидность их связи с более широкой преступной схемой.

Цель настоящего исследования — выявить основные тенденции динамики и структурной перестройки регистрируемой подростковой преступности в России в 2005–2025 гг. и определить, какие изменения в составе преступлений, формах участия несовершеннолетних и характеристиках подростков-правонарушителей могут рассматриваться как статистически наблюдаемые признаки неокриминализации подростковой делинквентности. Для достижения этой цели рассматриваются показатели, позволяющие оценить перераспределение между разными видами преступлений, изменение роли группового и организованного участия, алкогольной и наркотической интоксикации во время совершения преступлений, а также изменения в отдельных характеристиках социального профиля осуждённых подростков.

**Концептуальная рамка исследования.** Центральным понятием работы выступает *неокриминализация* как рабочее аналитическое обозначение изменений, происходящих в делинквентном поле несовершеннолетних. Термин используется в отечественных исследованиях подростковой девиантности (см., напр.: Хагуров и др. [9]), однако его содержание пока не является строго устоявшимся и требует уточнения.

В настоящей статье под неокриминализацией понимается трансформация подростковой делинквентности, включая её преступные формы. Базовые формы подросткового противоправного поведения при этом сохраняются, однако меняются их соотношение, способы совершения противоправных действий, каналы и механизмы вовлечения несовершеннолетних, характер их участия и восприятие ими противоправности. Важными признаками этой перестройки становятся цифровые каналы вовлечения, дистанционная координация действий

подростков, низкий порог входа в противоправные схемы и выполнение несовершеннолетними отдельных поручений внутри всей криминальной цепочки.

Предлагаемое понимание неокриминализации соотносится с более широкой дискуссией о снижении прямого физического насилия в современных обществах. В работах Н. Элиаса и С. Пинкера этот процесс связывается с укреплением государственной монополии на легитимное насилие, ростом самоконтроля, расширением эмпатии и снижением культурной допустимости открытой агрессии [10; 11]. Для настоящего исследования эти идеи важны как макросоциальный фон, позволяющий интерпретировать ослабление части уличных и открыто насильственных форм подростковой преступности. Понятие неокриминализации используется для анализа связанного, но более узкого аспекта этой перестройки – изменения способов вовлечения несовершеннолетних в противоправные практики, каналов участия и роста значимости менее видимых, дистанционно координируемых форм.

Исследование исходит из того, что снижение регистрируемой подростковой преступности не может автоматически трактоваться как ослабление делинквентных рисков. На фоне сокращения массовых и относительно хорошо наблюдаемых форм правонарушений по ряду признаков возрастает значение более латентных, организационно сложных и дистанционно координируемых практик. В данной работе рассматривается уголовно-учитываемый сегмент неокриминализации, то есть изменения, фиксируемые через официальную статистику преступлений, выявленных правонарушителей и осуждённых несовершеннолетних. Поэтому выводы исследования касаются прежде всего структурных изменений регистрируемой подростковой преступности, а более широкие механизмы вовлечения требуют проверки на кейсовом и качественном материале.

Для интерпретации статистических данных важно учитывать институциональную природу официальной статистики преступности. Показатели регистрируемых преступлений формируются через выявление, квалификацию, учёт, расследование и судебное рассмотрение, поэтому отражают прежде всего ту часть противоправных практик, которая становится видимой для правоохранительных органов, суда, школы и системы профилактики. В этом отношении продуктивен подход Д. Гарленда, связывающего изменения преступности с более широкими трансформациями культуры контроля, политики безопасности и управления рисками [12]. В отношении подростков это особенно значимо, поскольку снижение официальных показателей может отражать как реальные изменения преступности, так и изменения в практиках выявления, учёта и категоризации рисков.

Для анализа цифрового измерения подростковой делинквентности важен подход Д. Финкельхора. Рассматривая феномен «ювенои» (*juvenoia*)<sup>1</sup>, он обращает внимание на риск преувеличения угроз, связанных с молодёжью и новыми технологиями, и на необходимость отделять реальные изменения девиантных практик от моральной паники вокруг цифровой среды [13]. Это уточнение принципиально, поскольку цифровая среда рассматривается не как отдельная причина подростковой преступности, а как инфраструктура коммуникации, вовлечения и координации, в которой уже существующие делинквентные риски получают новые формы проявления.

К этой же проблематике примыкает концепция «цифрового дрейфа» (*digital drift*), разработанная в современной криминологии для анализа перехода от обычной

<sup>1</sup> *Juvenoa* — термин, введённый американским социологом Дэвидом Финкельхором в 2010 г., обозначающий тревожное, часто преувеличенное восприятие молодёжи и молодёжной культуры старшими поколениями.

онлайн-коммуникации к противоправному взаимодействию [14; 15]. В этой перспективе мессенджеры, платформы и анонимные каналы облегчают включение подростков в технические и исполнительские поручения при отсутствии устоявшейся криминальной группы и прямого контакта с организаторами.

**Эмпирическая база и методы исследования.** Исследование опирается на вторичный анализ официальной статистики МВД России, Следственного комитета РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Росстата и других открытых государственных и ведомственных источников за 2005–2025 гг. В центре анализа находятся изменения масштабов и структуры преступности несовершеннолетних, а также характеристики выявленных правонарушителей и осуждённых подростков.

В качестве основных аналитических признаков рассматриваются: общее число преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, и количество выявленных несовершеннолетних правонарушителей; доля тяжких и особо тяжких деяний; соотношение имущественных, насильственных, наркотических преступлений и деяний против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства; роль алкогольного и наркотического опьянения; показатели группового участия, участия взрослых и организованных форм соучастия; социально-демографические характеристики осуждённых подростков.

При интерпретации данных учитывались ограничения официальной статистики. Она отражает не всю совокупность подростковых делинквентных практик, а те случаи, которые были выявлены, квалифицированы, зарегистрированы и доведены до соответствующей стадии уголовного процесса. Поэтому изменения показателей могут быть связаны как с реальной динамикой преступности, так и с изменениями правоприменения, выявляемости, практик квалификации и структуры регистрируемых деяний. Значение имеет и возможное усиление институционального внимания к цифровым и дистанционно координируемым формам подростковой преступности. В связи с этим интерпретация строится на сопоставлении абсолютных и относительных данных, структуры зарегистрированных деяний, характеристик выявленных правонарушителей и данных судебной статистики. Выводы, касающиеся механизмов вовлечения, формулируются как аналитические гипотезы и не подменяют специальный кейсовый или качественный анализ.

**Динамика и структурная перестройка подростковой преступности.** За последние два десятилетия подростковая преступность в России существенно изменилась. Число расследованных преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, сократилось более чем в пять раз — со 154,7 тыс. в 2005 г. до 26,4 тыс. в 2024 г., достигнув минимального значения за рассматриваемый период; в 2025 г. показатель вновь вырос до 29,1 тыс. Заметно уменьшились удельный вес таких преступлений в общем числе раскрытых преступлений, число выявленных несовершеннолетних правонарушителей и число осуждённых подростков. При этом общая численность всех преступников (независимо от возраста) сократилась за тот же период на 54%, то есть подростковый сегмент сокращался быстрее, чем преступность в целом. Переход к коэффициентам на 100 тыс. населения 14–17 лет делает картину менее однозначной: нисходящий тренд сохраняется, но выглядит менее резким, что требует более осторожной интерпретации (см. табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных показателей преступности несовершеннолетних в России за 2005–2025 гг.

Год	Численность населения 14–17 лет, тыс. человек	Расследовано преступлений несовершеннолетних или при их соучастии, число	Удельный вес от общего числа всех раскрытых преступлений, %	В том числе тяжкие и особо тяжкие, число	Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, %	Коэффициент преступности несовершеннолетних на 100 тыс. населения 14–17 лет	Число выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления	Удельный вес от всех выявленных преступников, %	Коэффициент криминальной активности несовершеннолетних на 100 тыс. населения 14–17 лет
2005	8 695,9	154 734	9,1	55 511	35,9	1779,4	149 981	11,6	1724,8
2006	8 072,6	150 264	8,4	51 254	34,1	1861,4	148 595	10,9	1840,7
2007	7 319,1	139 099	7,8	46 742	33,6	1900,5	131 965	10,0	1803,0
2008	6 624,6	116 090	6,8	36 336	31,3	1752,4	107 890	8,6	1628,6
2009	6 184,4	94 720	5,7	29 613	31,3	1531,6	85 452	7,0	1381,7
2010	5 841,7	78 548	5,5	23 461	29,9	1344,6	72 692	6,5	1244,3
2011	5 602,2	71 910	5,5	19 862	27,6	1283,6	65 963	6,3	1177,5
2012	5 428,7	64 270	5,1	14 529	22,6	1183,9	59 461	5,9	1095,3
2013	5 267,6	67 225	5,4	14 634	21,8	1276,2	60 761	6,0	1153,4
2014	5 339,8	59 549	5,0	13 786	23,2	1115,2	54 369	5,4	1018,2
2015	5 374,0	61 833	4,9	13 311	21,5	1150,6	55 993	5,2	1041,7
2016	5 460,4	53 736	4,5	11 537	21,5	984,1	48 589	4,8	889,9
2017	5 650,4	45 288	4,1	10 238	22,6	801,5	42 504	4,4	752,3
2018	5 777,0	43 553	4,0	9 716	22,3	753,9	40 860	4,4	707,3
2019	5 932,0	41 548	3,9	10 113	24,3	700,4	37 953	4,3	639,8
2020	5 991,6	37 771	3,7	9 797	25,9	630,4	33 575	3,9	560,3
2021	6 133,8	31 865	3,1	9 055	28,4	519,5	29 126	3,4	474,8
2022	6 233,4	30 469	2,9	9 295	30,5	488,8	26 305	3,2	422,0
2023	6 458,3	27 325	2,7	9 428	34,5	423,1	22 340	3,0	345,8
2024	6 689,8	26 398	2,9	10 494	39,8	394,6	21 069	3,2	314,9
2025	6 689,3	29 065	3,4	12 687	43,7	434,5	22 231	3,7	332,3

Источники: данные МВД, коэффициенты рассчитаны авторами по данным МВД России и Росстата. Данные приведены без учёта статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Примечание: Численность возрастной группы 14–17 лет рассчитана авторами как сумма численности мужчин и женщин в возрасте 14, 15, 16 и 17 лет по данным Росстата; коэффициенты рассчитаны авторами на 100 тыс. населения соответствующего возраста.

Такое снижение вряд ли является случайным статистическим колебанием. Наиболее прямым фактором выступила демография: сокращение численности когорты 14–17 лет в 2000–2010-е годы, ставшее следствием спада 1990-х, неизбежно повлияло на абсолютные показатели. В 2020-е гг. демографический фактор перестаёт работать как фактор снижения: в возраст 14–17 лет входят более многочисленные поколения, родившиеся после частичного восстановления рождаемости второй половины 2000-х — начала 2010-х годов. Поэтому рост абсолютного числа преступлений в 2025 г. необходимо сопоставлять с изменением численности самой возрастной когорты. В таблице 1 это учтено через коэффициент преступности на 100 тыс. населения 14–17 лет. В 2025 г. растёт не только абсолютное число преступлений, но и относительный показатель — с 394,6 до 434,5 на 100 тыс. подростков. Это означает, что увеличение возрастной базы не исчерпывает объяснения роста 2025 г., хотя демографический фактор остаётся важным элементом интерпретации.

Демографией эта динамика не исчерпывается. Свою роль могли сыграть социально-экономические изменения: по мере стабилизации 2000-х годов снизилась острота социальной дезорганизации, характерной для предыдущего десятилетия, ослабли некоторые уличные формы подростковой маргинализации, расширились возможности семейной и образовательной поддержки. Значимыми были и институциональные изменения: сформировалась более стабильная система профилактики правонарушений, активизировалась работа комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних, расширилось участие образовательных организаций и специалистов сопровождения в профилактической работе. Изменилась и повседневная жизнь подростков. Часть активности, ранее связанной с уличными формами групповой делинквентности, стала сильнее зависеть от цифровой коммуникации и потому хуже улавливается традиционными механизмами учёта. Официальная статистика не позволяет точно оценить вклад каждого из этих факторов; они рассматриваются как возможный объяснительный фон, на котором разворачивается дальнейший анализ структуры преступности.

Снижение общего числа преступлений ещё не означает сокращения подростковой девиантности. Сокращается прежде всего объём массовых и хорошо наблюдаемых правонарушений. Одновременно повышается значение форм, отличающихся большей общественной опасностью, большей латентностью и иными механизмами вовлечения. Меняется не только масштаб, но и внутренняя структура подростковой преступности.

В структуре преступлений, совершённых несовершеннолетними, кража на всём рассматриваемом промежутке остаётся крупнейшей категорией, однако её доминирование уже не выглядит столь безусловным, как прежде. Прежняя модель подростковой преступности, основанная на преобладании привычных имущественных посягательств, сохраняется, но всё отчётливее дополняется другими составами и формами участия. Так, возрастает значение составов, связанных с наркотическим рынком и деяниями против общественной безопасности и основ конституционного строя (см. табл. 2).

Наиболее заметное изменение в структуре осуждений связано с ослаблением тех форм подростковой преступности, которые предполагают непосредственный контакт с потерпевшим и теснее всего связаны с уличной средой. Прежде всего это касается грабежей и разбоев: их доля за рассматриваемый период заметно сократилась (табл. 2). Эти составы часто связаны с демонстрацией силы, групповым давлением и присутствием подростка в публичном пространстве.

Таблица 2  
Доля осуждённых, совершивших преступления в возрасте 14–17 лет, по отдельным видам преступлений и категории тяжести, % от общего числа осуждённых в этом возрасте; общее число осуждённых, чел.

Показатель	Удельный вес в общем числе осуждённых													
	2005	2007	2009	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общее число осуждённых за преступления, совершённые в возрасте 14–17 лет, чел.	99091	84124	56406	29205	22863	23939	20631	18826	16856	14702	14855	14214	12769	11944
Убийство и покушение на убийство	1,6	1,3	1,2	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	3,9	3,3	3,5	2,8	3,2	2,6	2,6	2,5	3,1	2,5	2,7	2,7	3,0	3,2
Изнасилование и покушение на изнасилование	1,1	1,2	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8
Насильственные действия сексуального характера	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
Незаконные действия с оружием, боеприпасами	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Хулиганство	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	1,1
Разбой	5,2	5,3	4,5	3,5	4,1	3,5	3,5	3,3	3,2	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7
Грабёж	18,7	20,0	19,2	13,8	12,1	11,7	12,6	12,5	12,1	11,0	10,4	9,7	8,7	8,0
Вымогательство	1,7	1,8	1,9	1,1	1,1	1,1	1,3	1,8	1,6	1,5	1,4	1,5	1,6	1,8
Кража	48,6	45,7	44,3	49,2	44,9	49,0	49,4	48,4	49,8	48,2	48,7	49,4	47,0	40,5
Угон	7,6	7,8	8,7	11,1	11,7	10,1	9,8	10,1	9,7	12,3	11,7	9,9	10,7	10,8
Преступления, связанные с наркотиками	2,4	3,6	4,5	7,3	12,4	10,4	9,4	9,6	8,4	9,0	9,5	10,5	9,8	10,7
Преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства** (экстремизм, терроризм)	*	*	*	*	0,7	0,8	0,8	0,8	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	1,4
Тяжкие и особо тяжкие	52,5	53,1	50,3	46,0	56,7	48,9	49,2	50,7	53,2	56,6	60,6	61,8	62,3	64,4

Источник: данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: <https://web.archive.org/web/20260126210545/https://cdep.ru/?id=79> (архивная копия от 30.04.2026, дата обращения: 20.05.2026).

Примечания: \* Нет данных в открытом доступе; \*\* Без учёта хулиганства и незаконных действий с оружием и боеприпасами, так как они рассмотрены отдельно.

Поэтому их снижение можно рассматривать как один из признаков *ослабления прежней уличной, или «дворовой», модели* подростковой делинквентности. Это изменение соотносится с макросоциальным ослаблением открытого насилия, описанным в теориях Элиаса и Пинкера [10; 11]; ту же направленность показывают международные данные о снижении ряда индикаторов подросткового насилия [16]. В этой связи проявляется одна из сторон неокриминализации: уличные и насильственные практики сохраняются, однако рядом с ними возрастает значение менее публичных, дистанционно координируемых и организационно сложных способов участия. Подростковая агрессия при этом может менять каналы выражения, включаясь в менее очевидные криминальные сценарии. Вместе с тем снижение доли грабежей и разбоев может быть связано с изменениями заявляемости, выявляемости и квалификации таких деяний, поэтому данный вывод следует понимать как осторожную интерпретацию статистически фиксируемой структуры.

С этим согласуется ослабление роли классических уличных группировок и дворовых субкультур, характерных для конца XX — начала XXI века, с их территориальной привязкой, постоянными компаниями и групповыми механизмами удержания участников [17; 18]. В зарубежной криминологической литературе также отмечается размывание границ подростково-молодёжных уличных группировок, что меняет характер участия в них и способы выхода из таких объединений [19]. Эти процессы соотносятся с более широкой дискуссией о снижении ряда уличных форм преступности и переносе части криминальных практик в цифровую среду [20], а также с усилением контроля в городском пространстве, включая распространение видеонаблюдения [21].

Вместе с тем отдельные показатели осложняют картину ослабления улично-публичных форм подростковой делинквентности. Так, доля осуждённых за хулиганство в 2024 г. увеличилась до 1,1% после 0,4% в 2022–2023 гг. (табл. 2). С учётом небольшого абсолютного числа таких осуждённых и отсутствия последующих судебных данных, этот эпизод не даёт оснований говорить о восстановлении прежней уличной модели подростковой делинквентности, однако может рассматриваться как сигнал, требующий дальнейшего наблюдения.

Тяжёлое насилие не исчезает вслед за спадом массовой уличной делинквентности. По ряду насильственных составов снижение выражено слабее, чем по грабежам и разбоям, а в последние годы наблюдается удержание на относительно стабильном уровне или небольшой рост (табл. 2). В результате на фоне общего снижения менее тяжких деяний такие преступления становятся более заметными в статистической структуре подростковой преступности.

Следует различать долгосрочную и краткосрочную динамику тяжких и особо тяжких преступлений. Если сравнивать с 2005 г., их общее число остаётся значительно ниже: 55,5 тыс. в 2005 г., 10,5 тыс. в 2024 г. и 12,7 тыс. в 2025 г. (табл. 1). Поэтому говорить о долгосрочном абсолютном росте тяжких и особо тяжких преступлений нельзя. Вместе с тем после минимума 2021 г. фиксируется краткосрочный подъём: растёт и абсолютное число таких деяний, и их доля в структуре подростковой преступности. Их удельный вес среди расследованных преступлений увеличился с 21,5% в 2016 г. до 43,7% в 2025 г., а среди осуждённых несовершеннолетних — с 48,9% до 64,4% в 2024 г. (табл. 1 и 2). Иными словами, подростковая преступность стала меньше по масштабу, но более

тяжёлой по своей структуре. Это изменение пока не доказывает устойчивый разворот, однако показывает, что прежняя нисходящая траектория уже не выглядит однозначной.

Рост доли тяжких и особо тяжких деяний не следует автоматически понимать как рост насильственных преступлений. Категория тяжести определяется максимальной санкцией соответствующей статьи или части статьи<sup>2</sup>, поэтому в неё попадают разные составы: квалифицированные имущественные преступления, наркосбыт, преступления против общественной безопасности, а также деяния, совершённые в организованных формах соучастия. Групповое участие само по себе не всегда делает преступление тяжким, но в ряде составов выступает квалифицирующим признаком и повышает категорию тяжести деяния. Поэтому утяжеление структуры может отражать разные процессы: сохранение части прямого насилия, рост наркосбыта, увеличение роли квалифицированных имущественных составов и более частое включение подростков в организационно сложные, функционально распределённые формы участия.

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет стал рост преступлений, связанных с *незаконным оборотом наркотиков*. По данным Генпрокуратуры, в 2025 г. общее число таких преступлений увеличилось на 8,4% по сравнению с 2024 г. и достигло 214,8 тыс.; основную долю составили факты сбыта — около двух третей, или 158,7 тыс. эпизодов. Число фактов сбыта выросло на 17,6%<sup>3</sup>. В подростковой среде, по ведомственным сообщениям МВД, с 2022 г. количество наркопреступлений возросло в 1,8 раза, а сбыт как основная форма — в 2,4 раза<sup>4</sup>. В 2025 г. к уголовной ответственности за наркопреступления было привлечено почти 1,5 тыс. несовершеннолетних<sup>5</sup>.

Судебная статистика подтверждает, что внутри самой подростковой преступности этот сегмент стал значительно заметнее. Доля осуждённых за наркопреступления подростков увеличилась с 2,4% в 2005 г. до 10,7% в 2024 г. (табл. 2). Это не делает несовершеннолетних основной группой участников наркорынка, однако внутри подростковой преступности рост наркостатей в 4,5 раза является важным признаком структурной перестройки. В этом сегменте подросток чаще оказывается связан не с потреблением как ситуационным фактором правонарушения, а с оборотом наркотиков, прежде всего со сбытом, курьерскими функциями, закладками, передачей информации или выполнением отдельных поручений.

Это изменение помогает объяснить рост доли тяжких и особо тяжких деяний. Наркосбыт относится к санкционно тяжёлым составам<sup>6</sup>, а использование

<sup>2</sup> УК РФ Статья 15. Категории преступлений // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/) (дата обращения: 03.04.2026).

<sup>3</sup> В РФ в 2025 году число выявленных фактов сбыта наркотиков выросло на 17% // ТАСС. 22.02.2026. URL: <https://tass.ru/proisshestiya/26522889> (дата обращения: 03.04.2026).

<sup>4</sup> МВД России напоминает подросткам и их родителям об уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков // МВД-Медиа. 10.04.2025. URL: <https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-napominaet-podrostkam-i-ikh-roditelyam-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-uchastie-v-nezakon/> (дата обращения: 03.04.2026).

<sup>5</sup> Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин: [интервью] // Следственный комитет Российской Федерации. 19.02.2026. URL: <http://www.scrf.gov.ru/news/speeches/3974/> (дата обращения: 03.04.2026).

<sup>6</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...» // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdff1958d](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdff1958d) (дата обращения: 04.04.2026).

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, групповой характер действий, крупный размер или организованная форма дополнительно повышают категорию тяжести деяния. Поэтому увеличение доли наркопреступлений может утяжелять структуру подростковой преступности даже без роста прямого физического насилия.

*Изменяются и способы вовлечения.* По данным МВД, вербовка несовершеннолетних нередко маскируется под «подработку для молодёжи» и осуществляется через мессенджеры, теневой сегмент интернета и анонимные каналы связи. Подростки включаются в такие схемы в качестве курьеров, закладчиков или исполнителей отдельных операций, часто не представляя всей структуры сети<sup>7</sup>. Такое фрагментарное участие может снижать субъективное ощущение преступности совершаемого действия. Подросток видит перед собой поручение, маршрут, перевод, закладку, но не всю криминальную цепочку.

Сходный по направлению, хотя и менее масштабный процесс наблюдается в группе преступлений против *общественной безопасности и основ конституционного строя*, включающей, в частности, террористические и экстремистские составы. В открытой судебной статистике осуждённых несовершеннолетних эта группа становится доступной для последовательного анализа с середины 2010-х годов. Далее её удельный вес меняется волнообразно, но к 2024 г. оказывается выше начальных значений — 1,4% против 0,7–0,8% в 2015–2018 гг. (табл. 2). В абсолютном выражении речь идёт о сравнительно небольшом числе осуждённых подростков, поэтому этот рост нельзя трактовать как массовое распространение таких преступлений. Однако его аналитическое значение не сводится к числу эпизодов.

Эти составы значимы потому, что плохо укладываются в привычную модель уличной подростковой делинквентности. В них заметнее роль идеологического воздействия, символического смысла действия, сетевой коммуникации и дистанционной координации. Исследования онлайн-радикализации молодёжи показывают, что социальные сети и цифровые платформы становятся средой распространения радикальных идей, формирования сетевых связей и вхождения молодых людей в сообщества с признаками радикализации [22]. Подросток может включаться в противоправное действие через переписку, канал в мессенджере, задание от интернет-куратора или уже заданный извне сценарий действия, минуя устойчивую дворовую компанию. Статистика не показывает сам путь вовлечения, но фиксирует рост видимости этих составов, связанных с более сложными и общественно чувствительными формами участия.

Данные 2025 г. сигнализируют об *ослаблении прежней нисходящей траектории*. Выросло число преступлений несовершеннолетних, их удельный вес в общем массиве раскрытых преступлений, коэффициент преступности на 100 тыс. подростков 14–17 лет и доля тяжких и особо тяжких деяний (табл. 1). Рост затронул не только абсолютные показатели, но и относительный коэффициент, поэтому его нельзя свести только к изменению численности возрастной когорты. Вместе с тем объявлять эти изменения устойчивым разворотом пока рано. Один год ещё не образует тренда, а статистика чувстви-

<sup>7</sup> МВД России напоминает подросткам и их родителям об уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков // МВД-Медиа. 10.04.2025. URL: <https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-napominaet-podrostkam-i-ikh-roditelyam-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-uchastie-v-nezakon/> (дата обращения: 03.04.2026).

тельна к колебаниям выявляемости, квалификации и правоприменения. Однако это возможный показатель перехода к новой фазе, что требует дальнейшего наблюдения.

**Характеристики несовершеннолетних правонарушителей и изменение форм участия.** Чтобы точнее понять трансформацию подростковой преступности, сопоставим два массива данных: данные МВД о зарегистрированных преступлениях и выявленных несовершеннолетних правонарушителях и судебную статистику. Первый источник показывает динамику и характеристики регистрируемых деяний, второй — какие формы противоправной активности доходят до стадии осуждения и каков социальный профиль вовлечённых подростков. В сочетании они позволяют увидеть изменения более объёмно.

Наиболее явное совпадение тенденций в двух массивах данных фиксируется в показателях, связанных с *алкогольным и наркотическим опьянением*. Согласно судебной статистике, доля осуждённых несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, снизилась более чем втрое — с 27,9% в 2005 г. до 8,4% в 2024 г. Снижение по наркотическому и иному опьянению прослеживается на значительно более низком уровне: с 0,5% до 0,3%. Небольшой подъём в середине 2010-х может соотноситься с общим усилением наркопотребления в те годы, хотя этот вывод требует осторожности (табл. 3).

Данные МВД подтверждают ту же направленность: доля преступлений несовершеннолетних, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в целом снижается и к концу периода держится на уровне около 9,3% против 14,4% в 2005 г. (рис. 1).

Таким образом, оба источника свидетельствуют о сокращении статистически фиксируемой роли опьянения в преступлениях несовершеннолетних. При этом снижение доли преступлений, совершённых в состоянии опьянения, не следует понимать как прямое доказательство исчезновения интоксикационного фактора. Часть состояний, связанных с употреблением синтетических веществ или смешанным потреблением, может хуже выявляться и фиксироваться в уголовной статистике, чем алкогольное опьянение. Поэтому речь идёт прежде всего об уменьшении видимой роли интоксикации, особенно алкогольной, а не о полном уходе этого фактора из подростковой делинквентности.

Эта динамика может быть связана с несколькими процессами: общим сокращением алкогольного потребления в молодых возрастных группах [23], изменением подросткового досуга [24], ослаблением улично-компанийских сценариев рискованного поведения и неоднородной трансформацией наркотической ситуации, включавшей снижение одних учётных показателей<sup>8</sup> и рост других<sup>9</sup>, а также перестройку рынка и изменение способов вовлечения.

<sup>8</sup> Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2019 году // Государственный антинаркотический комитет. Москва. 2020. URL: [https://правовая-наркология.рф/images/documents/norm\\_akt\\_2020/doklad\\_o\\_narcosituacii\\_v\\_rf\\_2019.pdf](https://правовая-наркология.рф/images/documents/norm_akt_2020/doklad_o_narcosituacii_v_rf_2019.pdf) (дата обращения: 20.05.2026).

<sup>9</sup> Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2024 году // Государственный антинаркотический комитет. Москва. 2025. URL: [https://правовая-наркология.рф/images/documents/norm\\_act\\_2025/2024\\_report\\_text.pdf](https://правовая-наркология.рф/images/documents/norm_act_2025/2024_report_text.pdf) (дата обращения: 20.05.2026).

Таблица 3

Характеристики осуждённых, совершивших преступления в возрасте 14–17 лет, удельный вес в общем числе осуждённых, %

Показатель	Удельный вес в общем числе осуждённых													
	2005	2007	2009	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Общее число осуждённых за преступления, совершённые в возрасте 14–17 лет, чел.	99091	84124	56406	29205	22863	23939	20631	18826	16856	14702	14855	14214	12769	11944
Доля женщин	7,4	7,8	8,4	7,1	7,3	7,6	6,5	6,9	7,9	7,7	8,7	8,6	9,2	<b>9,5</b>
14–15 лет	31,7	30,5	27,9	30,5	27,6	28,0	31,0	32,1	32,1	31,5	29,9	28,9	29,4	29,0
16–17 лет	68,3	69,5	72,1	69,5	72,4	72,0	69,0	67,9	67,9	68,5	70,1	71,1	70,6	71,0
Из полной семьи	42,5	40,3	42,8	43,0	44,6	44,5	43,7	45,2	44,5	45,6	46,3	47,5	48,8	<b>49,8</b>
Из неполной семьи	46,6	<b>46,9</b>	45,0	44,8	44,2	44,6	45,6	45,3	45,9	45,8	45,0	44,7	43,4	42,6
Воспитанники детских домов	10,9	<b>12,8</b>	12,3	12,2	11,2	11,0	10,7	9,4	9,6	8,2	8,6	7,8	7,8	7,5
Состояли на учёте	13,6	16,4	14,9	14,5	<b>17,3</b>	17,2	17,2	15,5	15,7	15,9	15,7	14,3	13,9	13,5
В группе	<b>61,1</b>	56,7	48,6	47,5	47,9	49,2	50,9	53,3	51,0	50,9	50,7	51,8	50,0	50,5
С участием взрослых	<b>24,3</b>	22,9	21,1	19,4	18,6	19,5	20,7	21,3	19,6	19,9	19,7	21,5	22,0	<b>23,2</b>
В алкогольном опьянении	<b>27,9</b>	23,0	20,7	15,0	14,1	14,3	13,0	12,2	11,5	11,2	11,0	10,4	9,7	8,4
В наркотическом или ином опьянении	0,5	0,5	0,4	0,4	<b>0,9</b>	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3

Источник: данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: <https://web.archive.org/web/20260126210545/https://cdep.ru/?id=79> (архивная копия от 30.04.2026, дата обращения: 20.05.2026).

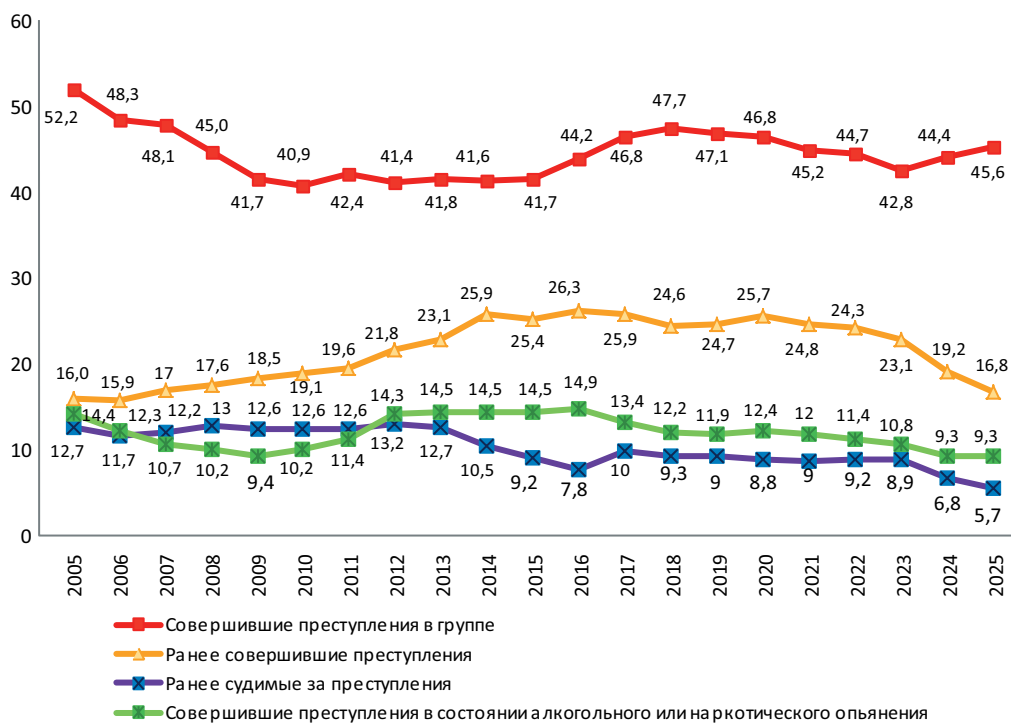


Рисунок 1. Динамика ключевых характеристик преступлений несовершеннолетних, 2005–2025 гг., %.

Источник: составлено авторами по данным МВД России.

Показательным является расхождение между выраженным снижением доли преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, и ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Оно косвенно указывает на *ослабление алкогольной интоксикационной модели подростковой девиации*, в которой употребление алкоголя выступало ситуационным фактором правонарушения: снижало контроль, повышало импульсивность и, соответственно, вероятность спонтанного правонарушения — драки, кражи, хулиганства. Наркотики при этом в уголовно-учитываемом сегменте подростковой преступности стали значимо проявляться в другой функциональной роли — как предмет оборота, экономический ресурс и инструмент вовлечения в организованные или полуорганизованные практики (закладки, курьерство, посредничество, выполнение поручений или инструкций куратора). Наблюдаемое расхождение может свидетельствовать о структурной перестройке преступной активности — усилении инструментальных и организационных форм участия, при которых от несовершеннолетнего требуется следование инструкции, маршруту и выполнение ограниченной функции в более широкой противоправной схеме.

Анализ *групповых форм преступности* показывает сложную и неоднородную динамику. По данным МВД, доля преступлений несовершеннолетних, совершённых в группе, после снижения с более чем половины всех эпизодов в середине 2000-х до примерно 41% в начале 2010-х годов затем вновь возрастает

и к концу периода удерживается вблизи 43–46% (рис. 1). Судебная статистика фиксирует более высокие значения: в 2005 г. доля осуждённых несовершеннолетних, совершивших преступления в группе, составляла 61,1% (66,5% в 2003 г.), к середине 2010-х она снижается до 47–49%, а затем удерживается около 50% (табл. 3). Групповая форма участия, таким образом, сохраняет значимость на всём протяжении периода, причём в судебной статистике она выражена заметно сильнее, чем в данных МВД о расследованных преступлениях.

Статистика фиксирует сам факт группового участия, однако не раскрывает внутреннее устройство этой группы. За одной и той же категорией «преступление, совершённое в группе» могут стоять разные ситуации: устоявшаяся компания сверстников, случайно сложившаяся группа участников, эпизодическое совместное действие, участие под влиянием взрослого или дистанционно координируемая схема. Эта оговорка особенно важна при анализе участия взрослых. По судебной статистике, после снижения к середине 2010-х годов доля осуждённых несовершеннолетних, совершивших преступления с участием взрослых, вновь возрастает и к 2024 г. приближается к значениям середины 2000-х годов. При этом официальные данные, вероятно, отражают только наиболее видимую часть такого участия. По данным В. А. Лелекова, полученным на материале воспитанников колоний, роль взрослых в начале преступной деятельности подростков оказывается существенно выше, чем это следует из официальной статистики [3].

Сами по себе эти данные не позволяют напрямую судить о том, какой именно тип группового взаимодействия преобладает в тот или иной период, однако сочетание нескольких признаков — сохранение высокой доли групповых преступлений, возвращение показателя участия взрослых после минимума 2015 г. к более высоким значениям и увеличение доли преступлений в составе организованных преступных групп или сообществ с 0,1–0,3% в середине 2000-х до 1,6% в 2024 г. и 2,3% в 2025 г.<sup>10</sup> — позволяет предположить усложнение групповой преступности. Даже при небольшом удельном весе организованного сегмента эти данные могут указывать на более частое включение подростков в схемы с распределением функций, внешним управлением и отдельной исполнительской ролью несовершеннолетнего.

Показатели, связанные с *прежним криминальным опытом*, также указывают на важные изменения. По данным МВД, доля несовершеннолетних, *ранее совершавших преступления*, возростала до середины 2010-х годов, достигая пиковых значений в 2014–2016 гг., после чего снижается и к 2025 г. возвращается к более умеренному уровню. Доля *ранее судимых* подростков сокращается более последовательно — с 12–13% в середине 2000-х до 5,7% к концу периода (рис. 1). В совокупности это может свидетельствовать об ослаблении статистически видимых признаков устойчивых криминальных траекторий и о возможном усилении более эпизодических форм вовлечения.

Судебная статистика косвенно подтверждает эти изменения. Доля *состоявших на учёте* среди осуждённых несовершеннолетних на протяжении периода остаётся в диапазоне 13–17% и к 2024 г. составляет 13,5%, не демонстрируя роста, ожидаемого при расширении устойчивого криминального ядра (табл. 3). Можно предположить, что часть противоправной активности формируется за

<sup>10</sup> Состояние преступности в Российской Федерации (2005–2025) // МВД России. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 05.04.2026).

пределами группы подростков, уже известных системе профилактики. Следовательно, часть рисков возникает вне традиционных каналов наблюдения и реагирования, а прежние индикаторы неблагополучия, профилактического учёта или рецидива не всегда позволяют заранее распознать новые ситуации вовлечения.

Ещё один слой изменений раскрывается через *семейный и социальный фон осуждённых подростков*. Доля несовершеннолетних из полных семей увеличилась с 42,5% в 2005 г. до 49,8% в 2024 г.; доля выходцев из неполных семей сократилась с 46,6% до 42,6%, а доля воспитанников детских домов — с 10,9% до 7,5% (табл. 3). Эти изменения нельзя понимать прямолинейно как исчезновение связи между семейным неблагополучием и преступностью. Защитная роль семьи по-прежнему важна. К тому же формально полная семья ещё не гарантирует качества внутрисемейных отношений: уровня семейного контроля, эмоциональной поддержки и родительского участия в жизни подростка. Эта динамика значима именно как показатель изменения видимого социального профиля осуждённых несовершеннолетних. Одно из возможных объяснений роста доли подростков из полных семей связано с общим сокращением числа осуждённых и снижением представленности наиболее уязвимых групп, прежде всего воспитанников детских домов. Поэтому делать вывод о криминализации «благополучных» подростков пока преждевременно.

Тем не менее вовлечение подростков в преступную активность стало труднее объяснять только привычными признаками неблагополучия — неполной семьёй, детдомовским опытом, безнадзорностью или постановкой на профилактический учёт. Часть подростков может жить в формально благополучной семейной и школьной среде, оставаться вне поля внимания профилактических служб и при этом попадать в рискованные ситуации через цифровые каналы, случайные предложения или обещания заработка онлайн. Можно говорить о том, что меняется сам социальный профиль риска: современные механизмы вовлечения выходят за пределы тех групп, которые раньше считались наиболее очевидными объектами профилактического контроля.

Обращает на себя внимание рост доли девушек среди осуждённых несовершеннолетних после спада середины 2010-х годов: с 2018 по 2024 г. показатель постепенно увеличивается (табл. 3). Пока эта динамика не выглядит радикальной, но может свидетельствовать о некотором изменении гендерного профиля осуждённых несовершеннолетних. Не исключено, что и здесь отражается рост тех форм участия, при которых физическая сила и уличная агрессия играют меньшую роль, а функциональные и посреднические действия оказываются доступнее.

В совокупности данные МВД и судебная статистика указывают на *ослабление ряда статистически видимых признаков маргинального неблагополучия* — алкогольной интоксикации, прежнего криминального опыта и концентрации осуждённых в наиболее уязвимых социальных группах. Высокая роль совместного участия в противоправной деятельности при этом сохраняется, однако эта совместность стала строиться в том числе и на ситуативной координации, распределении ролей и внешнем управлении, а не на сложившихся группах сверстников или общем присутствии подростков в одном пространстве.

Меняется и *фигура подростка-правонарушителя*. Рядом с привычным образом выходца из неблагополучной среды, действующего в компании сверстников, проявляется более сложная фигура — подросток, формально не относящийся к очевидным группам риска, включённый в обычную школьную и семейную

жизнь, но одновременно исполняющий в противоправной деятельности отдельную функциональную роль, нередко воспринимаемую им как временную подработку или поручение. В этой связи благополучная динамика общих показателей не должна создавать ложного ощущения последовательного снижения проблемы. Меняются не только масштабы, но и характер рисков. Соответственно, профилактика, ориентированная главным образом на неблагополучный двор, досуговую безнадзорность и уже известные группы риска, перестаёт охватывать весь спектр актуальных угроз.

**Новая морфология подростковой преступности: фигура подростка-исполнителя.** Проведённый анализ показывает, что меняется не только масштаб подростковой преступности, но и форма участия в ней. Трансформируются способы вовлечения, характер участия и позиция подростка в противоправной деятельности. Однако говорить о вытеснении «старой» преступности «новой» пока рано. Классическая маргинальная модель сохраняется: тяжкие преступления, насилие, социальное неблагополучие и устойчивые группы риска продолжают присутствовать в структуре подростковой преступности. Рост доли тяжких и особо тяжких деяний при этом указывает не столько на исчезновение прежнего слоя, сколько на сохранение тяжёлого сегмента и усложнение общей структуры преступности несовершеннолетних. Вместе с ним всё отчётливее проступает другой тип участия. Он слабее связан с открытым социальным выпадением, может не предполагать сформировавшейся криминальной идентичности и разворачиваться внутри повседневной жизни внешне обычного подростка. Участие обычно имеет эпизодический и функционально распределённый характер. Подросток может не входить в устойчивую девиантную группу, не быть выражено маргинализированным и не считать себя преступником, но при этом выполнять отдельные действия в составе противоправной схемы.

Можно говорить о расслоении поля подростковой преступности. Один слой остаётся маргинально маркированным и сравнительно привычным для институтов контроля. Другой складывается как распределённое и инфраструктурно организованное участие, хуже распознаваемое на ранних стадиях. Если раньше противоправный опыт обычно входил в жизнь подростка через двор, компанию и ограниченный круг сверстников, то теперь значимую роль играют интернет-платформы, мессенджеры, анонимные каналы, цифровые платёжные сервисы и удалённое кураторство. Вовлечение происходит через цепочку отдельных операций. Отсюда ещё одно изменение — переход от спонтанного события к сценарному действию, при котором подростку предлагают конкретную роль, задают последовательность шагов и тем самым могут ослаблять субъективное ощущение противоправности участия.

На этом фоне можно выделить фигуру подростка-исполнителя. Она не фиксируется статистикой напрямую и рассматривается авторами как аналитическое обобщение, позволяющее описать новый тип участия в противоправных практиках. Подросток-исполнитель не обязательно агрессивен, глубоко криминализован или социально исключён. Его участие может ограничиваться отдельным действием: переводом денег, передачей предмета, выполнением поручения, откликом на предложение «подработки» или следованием инструкции удалённого куратора. Будничность и фрагментарность такой роли могут снижать ощущение её криминального характера.

**Заключение.** Проведённый анализ показывает, что сокращение общего числа преступлений несовершеннолетних сопровождается противоречивым процессом. Ослабление части массовых и хорошо наблюдаемых форм уличной делинквентности сочетается с утяжелением структуры подростковой преступности, ростом значимости наркопреступлений и деяний против общественной безопасности. Более выраженными становятся формы участия, связанные с цифровыми каналами вовлечения, дистанционной координацией действий несовершеннолетних и их включением в распределённую цепочку противоправных операций. Полученные данные дают основание рассматривать неокриминализацию как структурную перестройку уголовного сегмента подростковой делинквентности.

Главный вызов для профилактики сегодня связан с расхождением между прежними профилактическими ориентирами и новой морфологией участия подростков в противоправных действиях. Если система предупреждения будет ориентироваться преимущественно на неблагополучную семью, уличную компанию, рискованный досуг, связанный с употреблением алкоголя, прежний криминальный опыт и постановку на учёт, часть новых рисков останется вне поля внимания. Современная профилактика должна учитывать, помимо классических рисков, и новые: цифровые каналы коммуникации, анонимные предложения «подработки», финансовые и курьерские поручения, инструкции удалённых кураторов и ситуации, в которых подросток включается только в отдельный фрагмент противоправной схемы. Иначе профилактика будет замечать проблему слишком поздно — на этапе, когда разовое поручение уже может обернуться уголовным эпизодом.

### *Библиографический список*

1. *Забрянский Г. И.* Криминология несовершеннолетних (социология преступности). М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2013. 352 с. EDN [RXGWER](#).
2. *Писаревская Е. А.* Рецидивная преступность несовершеннолетних: состояние и основные тенденции // Уголовная юстиция. 2024. № 24. С. 123–127. DOI [10.17223/23088451/24/21](#). EDN [SRMEXB](#).
3. *Лелеков В. А.* Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 4. С. 15–23. EDN [TFGIOR](#).
4. *Теунаев А. С. У., Дубова М. Е.* Новый взгляд на качественно-количественные показатели подростковой преступности в России // Юридические исследования. 2021. № 2. С. 44–63. DOI [10.25136/2409-7136.2021.2.34667](#). EDN [LEVSGB](#).
5. *Хасанова Р. Р.* Динамика преступности несовершеннолетних в России // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26, № 11. С. 68–73. EDN [KOANDA](#).
6. *Костоломова М. В.* Цифровая девиация как феномен новой социальной реальности: методологические основания и концептуализация понятия // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Т. 8, № 2. С. 41–53. DOI [10.19181/snsp.2020.8.2.7302](#). EDN [UIEQQC](#).
7. *Русскевич Е. А.* Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2022. 351 с. DOI [10.12737/1840963](#). EDN [MPWWHL](#).
8. *Поляков В. В.* Латентность высокотехнологичных преступлений: понятие, структура, методы оценки уровня // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17, № 2. С. 146–155. DOI [10.17150/2500-4255.2023.17\(2\).146-155](#). EDN [CLXHHF](#).
9. «АУЕ»: основные формы и причины подростковой неокриминализации в современной России. Опыт социологического исследования / Т. А. Хагуров, Л. М. Чепелева, А. А. Остапенко [и др.]. Краснодар : Кубанский государственный университет, 2021. 212 с. EDN [LQZPXF](#).
10. *Elias N.* The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Revised ed. Oxford : Wiley-Blackwell, 2000. 592 p. ISBN 978-0-631-22161-6.

11. *Pinker S.* The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York : Viking Adult, 2011. 832 p. ISBN 978-0-670-02295-3.
12. *Garland D.* The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago : University of Chicago Press, 2001. 307 p. DOI [10.7208/chicago/9780226190174.001.0001](https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190174.001.0001).
13. *Finkelhor D.* The Internet, Youth Safety and the Problem of “Juvenoa”. Durham, NH : Crimes against Children Research Center, University of New Hampshire, 2011. 32 p. URL: <https://www.unh.edu/ccrc/sites/default/files/media/2022-02/juvenoa-paper.pdf> (дата обращения: 26.05.2026).
14. *Goldsmith A., Brewer R.* Digital Drift and the Criminal Interaction Order // Theoretical Criminology. 2015. Vol. 19, No. 1. P. 112–130. DOI [10.1177/1362480614538645](https://doi.org/10.1177/1362480614538645).
15. *Holt T. J., Brewer R., Goldsmith A.* Digital Drift and the “Sense of Injustice”: Counter-Productive Policing of Youth Cybercrime // Deviant Behavior. 2019. Vol. 40, No. 9. P. 1144–1156. DOI [10.1080/01639625.2018.1472927](https://doi.org/10.1080/01639625.2018.1472927).
16. Trends in Indicators of Violence Among Adolescents in Europe and North America 1994–2022 / M. Molcho, S. D. Walsh, N. King [et al.] // International Journal of Public Health. 2025. Vol. 70. Art. 1607654. DOI [10.3389/ijph.2025.1607654](https://doi.org/10.3389/ijph.2025.1607654). EDN [OMJFQU](https://www.edn.net/EDNOMJFQU).
17. *Савенков А. И.* Эволюция дворовой субкультуры и территориальное поведение детей и подростков в городской среде // Ценности и смыслы. 2024. № 3(91). С. 6–37. DOI [10.24412/2071-6427-2024-3-6-37](https://doi.org/10.24412/2071-6427-2024-3-6-37). EDN [TROBWS](https://www.edn.net/EDNTROBWS).
18. *Салагаев А. Л.* Делинквентная группировка как разновидность подростково-молодежного территориального сообщества // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 1(3). С. 3–11. EDN [PAEDLV](https://www.edn.net/EDNPAEDLV).
19. *Kang M.* Weaker the gang, harder the exit // Criminology. 2025. Vol. 63, No. 4. P. 780–814. DOI [10.1111/1745-9125.70008](https://doi.org/10.1111/1745-9125.70008). EDN [SDVNGR](https://www.edn.net/EDNSDVNGR).
20. Understanding Crime Trends in a Hybrid Society: The Digital Drift / Ed. by *M. F. Aebi, S. Caneppele, F. Miró-Llinares*. Cham : Springer, 2025. 131 p. DOI [10.1007/978-3-031-72387-2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-72387-2).
21. *Piza E., Welsh B., Farrington D., Thomas A.* CCTV surveillance for crime prevention: a 40-year systematic review with meta-analysis // Criminology & Public Policy. 2019. Vol. 18, No. 1. P. 135–159. DOI [10.1111/1745-9133.12419](https://doi.org/10.1111/1745-9133.12419).
22. *Зубок Ю. А., Карпова А. Ю., Савельев А. О.* Практическая сетевая топология в исследовании процесса онлайн-радикализации молодёжи: возможности и ограничения // Вестник Института социологии. 2024. Т. 15, № 1. С. 13–42. DOI [10.19181/vis.2024.15.1.2](https://doi.org/10.19181/vis.2024.15.1.2). EDN [VWSNFH](https://www.edn.net/EDNVWSNFH).
23. *Кондратенко В. А.* Структура и типы потребления алкоголя российской молодежью и их родителями в 2006–2019 гг. // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). 2022. Вып. 12. С. 150–177. DOI [10.19181/rlms-hse.2022.5](https://doi.org/10.19181/rlms-hse.2022.5). EDN [ZGRTCK](https://www.edn.net/EDNZGRTCK).
24. *Солдатова Г. У., Рассказова Е. И.* Цифровая социализация российских подростков: сквозь призму сравнения с подростками 18 европейских стран // Социальная психология и общество. 2023. Т. 14, № 3. С. 11–30. DOI [10.17759/sps.2023140302](https://doi.org/10.17759/sps.2023140302). EDN [PFTIUL](https://www.edn.net/EDNPFTIUL).

Поступила: 09.04.2026. Доработана: 23.05.2026. Принята: 29.05.2026.

#### **Сведения об авторах:**

**Позднякова Маргарита Ефимовна**, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Сектора социологии девиантного поведения, Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия. [margo417@mail.ru](mailto:margo417@mail.ru)  
Author ID РИНЦ: [140027](https://elibrary.ru/author_index.action?id=140027); ORCID: [0000-0002-7896-5115](https://orcid.org/0000-0002-7896-5115)

**Брюно Виктория Владимировна**, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Сектора социологии девиантного поведения, Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия. [victoria.bruno@mail.ru](mailto:victoria.bruno@mail.ru)  
Author ID РИНЦ: [181955](https://elibrary.ru/author_index.action?id=181955); ORCID: [0000-0001-9735-024X](https://orcid.org/0000-0001-9735-024X)

М. Е. Позднякова<sup>1</sup>, В. В. Брюно<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institute of Sociology of FCTAS RAS. Moscow, Russia

## NEOCRIMINALIZATION OF JUVENILE DELINQUENCY: DYNAMICS AND STRUCTURAL RECONFIGURATION

**Abstract.** Drawing on secondary analysis of official statistics from the Ministry of Internal Affairs of Russia, the Investigative Committee of the Russian Federation, the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation, Rosstat, and other open sources, the article examines changes in the scale, structure, and forms of minors' participation in crime in Russia in 2005–2025. The analysis shows that the long-term decline in registered juvenile offences does not necessarily indicate an unequivocal weakening of adolescent delinquency. The 2025 data suggest a possible interruption of the previous downward trend: the number of juvenile offences, the crime rate per 100,000 adolescents aged 14–17, and the share of serious and especially serious offences increased. Against this background, recorded juvenile crime is undergoing structural reconfiguration: the decline of its mass, highly visible street- and group-based forms is accompanied by the growing significance of more latent, organizationally complex, and remotely coordinated practices. The share of robbery and aggravated robbery is decreasing, while drug-related offences, offences against public safety, and functionally distributed forms of participation are becoming more visible. In such cases, a minor performs a limited role within a broader unlawful scheme, often following remote instructions. A comparison of recorded crime statistics and judicial statistics reveals changes in the visible profile of offences and convicted minors: the share of acts committed while intoxicated by alcohol is decreasing, minors with prior criminal experience are becoming less represented, while the share of group offences remains high. These indicators do not directly reveal the mechanisms of involvement, but they indirectly point to the emergence of a new morphology of juvenile crime. Alongside the classical marginal stratum, more episodic, distributed, and less readily identifiable forms of minors' participation in criminal practices are becoming more apparent. In this sense, neocriminalization is understood in the article as a structural reconfiguration of the criminally recorded segment of adolescent delinquency.

**Keywords:** juvenile crime, neocriminalization, adolescent deviance, structure of juvenile crime, digital channels of involvement, digital delinquency, adolescent executor

**For citation:** Pozdniakova M. E., Bryuno V. V. Neocriminalization of juvenile delinquency: dynamics and structural reconfiguration. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):23–42. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.2>

### References

1. Zabryanskii G. I. *Criminology of Minors (Sociology of Crime)*. Moscow: Russian Academy of Advocacy and Notariat; 2013. (In Russ.).
2. Pisarevskaya E. A. Juvenile recidivism: state and main trends. *Russian Journal of Criminal Law*. 2024;(24):123–127. (In Russ.). DOI [10.17223/23088451/24/21](https://doi.org/10.17223/23088451/24/21).
3. Lelekov V. A. Criminal recurrence of minors and its prevention. *Vestnik of Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia*. 2014;(4):15–23. (In Russ.).
4. Teunaev A. S., Dubova M. E. New perspective on qualitative and quantitative indicators of juvenile crime in Russia. *Legal Studies*. 2021;(2):44–63. (In Russ.). DOI [10.25136/2409-7136.2021.2.34667](https://doi.org/10.25136/2409-7136.2021.2.34667).
5. Khasanova R. R. Juvenile crime dynamics in Russia. *Economic Development of Russia*. 2019;26(11):68–73. (In Russ.).
6. Kostolomova M. V. Digital deviance as a phenomenon of new social reality: methodological foundations and conceptualization. *Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika*. 2020;8(2):41–53. (In Russ.). DOI [10.19181/snsp.2020.8.2.7302](https://doi.org/10.19181/snsp.2020.8.2.7302).
7. Russkevich E. A. *Criminal Law and "Digital Crime": Problems and Solutions*. 2<sup>nd</sup> ed. Moscow: INFRA-M; 2022. (In Russ.). DOI [10.12737/1840963](https://doi.org/10.12737/1840963).
8. Polyakov V. V. Latency of high-tech crimes: concept, structure, and methods of assessing its level. *Russian Journal of Criminology*. 2023;17(2):146–155. (In Russ.). DOI [10.17150/2500-4255.2023.17\(2\).146-155](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2023.17(2).146-155).

9. Khagurov T. A., Chepeleva L. M., Ostapenko A. A. [et al.] "AUE": Main Forms and Causes of Adolescent Neocriminalization in Modern Russia. Experience of a Sociological Study. Krasnodar: Kuban State University; 2021. (In Russ.).
10. Elias N. The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Revised ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2000. ISBN 978-0-631-22161-6.
11. Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York: Viking Adult; 2011. ISBN 978-0-670-02295-3.
12. Garland D. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: University of Chicago Press; 2001. DOI [10.7208/chicago/9780226190174.001.0001](https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190174.001.0001).
13. Finkelhor D. The Internet, Youth Safety and the Problem of "Juvenoaia". Durham, NH: Crimes against Children Research Center, University of New Hampshire; 2011. Available at: <https://www.unh.edu/ccrc/sites/default/files/media/2022-02/juvenoaia-paper.pdf> (accessed 26.05.2026).
14. Goldsmith A., Brewer R. Digital drift and the criminal interaction order. *Theoretical Criminology*. 2015;19(1):112–130. DOI [10.1177/1362480614538645](https://doi.org/10.1177/1362480614538645).
15. Holt T. J., Brewer R., Goldsmith A. Digital drift and the "sense of injustice": counter-productive policing of youth cybercrime. *Deviant Behavior*. 2019;40(9):1144–1156. DOI [10.1080/01639625.2018.1472927](https://doi.org/10.1080/01639625.2018.1472927).
16. Molcho M., Walsh S. D., King N. [et al.] Trends in indicators of violence among adolescents in Europe and North America 1994–2022. *International Journal of Public Health*. 2025;70:1607654. DOI [10.3389/ijph.2025.1607654](https://doi.org/10.3389/ijph.2025.1607654).
17. Savenkov A. I. The evolution of the yard subculture and the territorial behavior of children and adolescents in an urban environment. *Values and Meanings*. 2024;(3):6–37. (In Russ.). DOI [10.24412/2071-6427-2024-3-6-37](https://doi.org/10.24412/2071-6427-2024-3-6-37).
18. Salagaev A. L. Delinquent group as a type of adolescent and youth territorial community. *Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia*. 2011;(1):3–11. (In Russ.).
19. Kang M. Weaker the gang, harder the exit. *Criminology*. 2025;63(4):780–814. DOI [10.1111/1745-9125.70008](https://doi.org/10.1111/1745-9125.70008).
20. Aebi M. F., Caneppele S., Miró-Llinares F. (eds) Understanding Crime Trends in a Hybrid Society: The Digital Drift. Cham: Springer; 2025. DOI [10.1007/978-3-031-72387-2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-72387-2).
21. Piza E., Welsh B., Farrington D., Thomas A. CCTV surveillance for crime prevention: a 40-year systematic review with meta-analysis. *Criminology & Public Policy*. 2019;18(1):135–159. DOI [10.1111/1745-9133.12419](https://doi.org/10.1111/1745-9133.12419).
22. Zubok Yu. A., Karpova A. Yu., Savelev A. O. Practical network topology in the study of online radicalisation of youth: opportunities and limitations. *Bulletin of the Institute of Sociology*. 2024;15(1):13–42. (In Russ.). DOI [10.19181/vis.2024.15.1.2](https://doi.org/10.19181/vis.2024.15.1.2).
23. Kondratenko V. A. Alcohol Consumption by Russian Youth and Their Parents in 2006–2019. *Russian Longitudinal Monitoring Survey Bulletin (RLMS-HSE)*. 2022;(12):150–177. (In Russ.). DOI [10.19181/rlms-hse.2022.5](https://doi.org/10.19181/rlms-hse.2022.5).
24. Soldatova G. U., Rasskazova E. I. Digital Socialization of Russian Adolescents: through the Prism of Comparison with Adolescents in 18 European Countries. *Social Psychology and Society*. 2023;14(3):11–30. (In Russ.). DOI [10.17759/sps.2023140302](https://doi.org/10.17759/sps.2023140302).

Received: 09.04.2026. Corrected: 23.05.2026. Accepted: 29.05.2026.

#### Author information:

**Margarita E. Pozdniakova**, Candidate of Philosophy, Leading Researcher,  
Head of the Department of Sociology of Deviant Behavior, Institute of Sociology of FCTAS  
RAS. Moscow, Russia. [margo417@mail.ru](mailto:margo417@mail.ru)  
ORCID: [0000-0002-7896-5115](https://orcid.org/0000-0002-7896-5115)

**Victoriya V. Bryuno**, Candidate of Sociology, Senior Researcher,  
Department of Sociology of Deviant Behavior, Institute of Sociology of FCTAS RAS.  
Moscow, Russia. [victoria.bruno@mail.ru](mailto:victoria.bruno@mail.ru)  
ORCID: [0000-0001-9735-024X](https://orcid.org/0000-0001-9735-024X)



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.3](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.3)  
EDN [YYDMMI](https://www.edn.ru/YYDMMI)  
УДК 316.774:351.761.3



**Е. В. Ларина<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия

## ПРОПАГАНДА НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

**Аннотация.** Согласно официальным опубликованным данным, в России в 2025 г. зафиксирован рост отдельных показателей потребления наркотических средств, среди которых число наркозависимых лиц, случаев отравления наркотиками, количество преступлений в сфере незаконного наркооборота. Высокий уровень цифровизации современного общества, характеризующийся повсеместным распространением разнообразной, находящейся в свободном доступе, информации, в том числе пропаганды наркотиков, оказывает влияние на проблему наркотизации общества, усугубляя её. Тенденция роста наркопотребления актуализирует социальный запрос на анализ современного состояния проблемы распространённости пронаркологической пропаганды и эффективности предпринимаемых мер противодействия данной угрозе. В статье представлен обзор специализированных статистических данных и исследовательских материалов. Осуществлён контент-анализ наиболее популярных среди российского населения интернет-ресурсов с целью выявления наличия и распространённости в них пропаганды наркотических средств. На основе материалов зарубежных исследователей проанализирована проблема пронаркологической пропаганды в зарубежном сегменте интернета. Представлен вывод о том, что содержащаяся в социальных сетях информация, нормализующая употребление запрещённых веществ, романтизирующая их в фото- и видеоматериалах, способствует распространению наркопотребления, особенно среди молодого поколения. Обозначены основные характеристики современной пропаганды наркотиков, обусловленные достигнутым уровнем цифрового развития и выступающие её преимуществами в достижении эффективного воздействия на целевую аудиторию. Произведён обзор существующей системы противодействия пропаганде наркотиков, действующей в России и за рубежом, обозначены меры, показавшие свою наибольшую эффективность.

**Ключевые слова:** пронаркологическая пропаганда, наркопотребление, интернет, социальные сети, меры противодействия, информационная безопасность, деструктивный контент, профилактика наркомании

**Для цитирования:** Ларина Е. В. Пропаганда наркотиков в интернете в России и за рубежом: состояние проблемы и меры противодействия // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 43–54. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.3](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.3). EDN [YYDMMI](https://www.edn.ru/YYDMMI).

**Введение.** По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во второй половине 2024 года, подавляющая часть респондентов (85%) считает наркоманию серьёзной проблемой России<sup>1</sup>. Кроме того, большая доля опрошенных (38%) отмечает, что за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, стало больше<sup>2</sup>. Подтверждение

<sup>1</sup> «Как вам кажется, наркомания в России – это очень серьёзная проблема?»: база данных опросов Спутник // ВЦИОМ. URL: <https://bd.wciom.ru/survey/sputnik/questions/471fe708-9e2b-4bf1-8fc5-cd632fd11195/total/14cad32f-d610-47ab-89e0-274b1f5c9185> (дата обращения: 20.02.2026). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

<sup>2</sup> «По вашему мнению, в России за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, стало больше, меньше или их столько же, сколько было раньше?»: база данных опросов Спутник // ВЦИОМ. URL: <https://bd.wciom.ru/survey/sputnik/questions/b17c1a65-946a-4446-b9ee-6e9d9e6536fe/total/14cad32f-d610-47ab-89e0-274b1f5c9185> (дата обращения: 20.02.2026). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

данной тенденции отражено и в официальной статистике правоохранительных органов: за 2025 г. было выявлено на 8,4% больше преступлений, связанных с нелегальным наркооборотом, по сравнению с 2024 г. При этом прирост преступлений с целью сбыта наркотиков составил 17,6%, а их удельный вес в числе преступлений в сфере оборота наркотиков увеличился до 73,9% (в 2024 г. — 68,2%)<sup>3</sup>. На 17,4% выросло количество аналогичных преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий<sup>4</sup>.

Среди характеристик наркоситуации, сложившейся в России к 2025 г., в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г. зафиксирован более чем пятикратный рост числа лиц, зависимых от психостимуляторов, и четырёхкратный рост зависимых от других наркотических средств, включая полинаркоманию, а также возрастание количества случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних<sup>5</sup>. Представленные данные свидетельствуют о том, что проблема немедицинского потребления наркотических средств в современном обществе не теряет своей актуальности. Кроме того, достигнутый уровень цифровизации, пронизывающей все сферы жизни современного общества, способствует массовому распространению разнообразной информации, в том числе пронаркотического характера, усугубляя обозначенную проблему.

Цель статьи заключается в анализе современного состояния проблемы пронаркотической пропаганды в российском и зарубежном сегментах интернета, а также в обзоре предпринимаемых мер противодействия данной проблеме.

**Теоретико-методологическая база исследования.** Основу методики настоящего исследования составили сбор, систематизация и анализ результатов научных работ российских и зарубежных исследователей в сфере изучаемой проблематики с использованием специализированных систем поиска информации. Произведён контент-анализ наиболее популярных среди российского населения интернет-ресурсов на предмет содержания в них пронаркотической пропаганды.

Теоретическую основу работы составили положения теории «дифференцированной ассоциации» (Э. Сатерленд), рассматривающей формирование у человека паттернов преступного поведения в результате подражания плохим примерам, негативного социального влияния, усвоения определённых взглядов через неформальное общение; а также концепции «общества риска» (У. Бек). Характерными чертами «общества риска» являются высокий уровень неопределённости, непредсказуемые и всепроникающие опасности, с которыми сталкиваются индивиды на фоне снижения роли социальных институтов, распада традиционных ценностей, размывания границ допустимого. Так, в современных условиях любой пользователь интернета, сам того не желая, может столкнуться с пронаркотической пропагандой, которая способна оказать непредсказуемое влияние на его повседневное сознание и дальнейшее поведение.

<sup>3</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2025 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации. 20.01.2026. URL: <https://мвд.рф/reports/item/77848182/> (дата обращения: 18.02.2026).

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Указ Президента Российской Федерации от 16.02.2026 № 94 «О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733» // Официальное опубликование правовых актов. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202602160019?index=2> (дата обращения: 01.03.2026).

Социологический энциклопедический словарь трактует термин «пропаганда» в качестве «системы деятельности, направленной на распространение знаний, художественных ценностей и др. информации с целью формирования определённых взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей; распространения в массах идеологии и политики определённых классов, партий, государств; средства манипуляции массовым сознанием» [1, с. 271]. Э. Бернейс определял пропаганду как «механизм широкомасштабного распространения идей» [2, с. 21]. С. Г. Кареева, С. В. Некрасов, А. Н. Пинчук в понятии «пропаганда» выделяют информационную составляющую, призванную формировать нужное общественное мнение [3]. Е. В. Дорцева описывает пропаганду как длительный и целенаправленный процесс передачи конкретной аудитории специальной информации, воздействующей на её мнение, установки, мировоззрение и последующее поведение [4]. Таким образом, обобщая представленные определения, можно сделать вывод, что в их основе лежит понимание пропаганды как целенаправленного процесса распространения информации с целью оказания определённого влияния на сознание и поведение людей.

Что касается пропаганды наркотиков, то законодательство Российской Федерации (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 46 Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных веществах”» ст. 46) содержит чёткое указание того, какого типа сведения относятся к такой пропаганде: о способах и методах изготовления, хранения, транспортировки, сбыта и использования наркотических средств, культивирования наркосодержащих растений, местах приобретения наркотиков, о допустимости и преимуществах их потребления, в том числе в медицинских целях, а также о совершении иных незаконных действий с наркотическими средствами «путём их оправдания и представления как общепринятых норм поведения»<sup>6</sup>.

Пропаганду наркотиков следует отнести к пропаганде деструктивного типа, которая, в частности, характеризуется тем, что направлена на создание иллюзорной реальности «с “перевернутой” системой убеждений, ценностей и взглядов» [5, с. 100–101]. Главным объектом деструктивной пропаганды является молодёжная аудитория, как правило, характеризующаяся несформированной системой ценностей, низким уровнем критического мышления, высокой подверженностью эмоциональным и информационным перегрузкам [4].

**Пропаганда наркотиков в российском сегменте интернета.** Современный уровень развития информационно-телекоммуникационных технологий способствует использованию различных интернет-платформ в качестве основного канала пропаганды наркотиков. Цифровые технологии обладают рядом свойств, которые гарантируют анонимность, мгновенную скорость и массовость распространения информации, что обеспечивает высокую эффективность пронаркотической пропаганды. Искусственный интеллект, популярные социальные сети, контекстная реклама способствуют формированию персонализированного влияния на пользователей, значительную часть которых составляет молодёжь. По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в 2025 г., в формате повседневной коммуникации виртуальное взаимодействие молодого поколения значительно

<sup>6</sup> Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 224-ФЗ, в редакции Федерального закона от 31 июля 2025 г. № 304-ФЗ) // Информационно-правовое обеспечение Гарант. URL: <https://base.garant.ru/12107402/363aa18e6c32ff15fa5cc3b09cbefbf6/> (дата обращения: 10.03.2026).

вытесняет живые встречи — 69% против 24% в возрастной группе 18–24 лет. Медианное значение времени, проведённого респондентами в различных аккаунтах социальных сетей и мессенджеров, составило 9 часов<sup>7</sup>. В соответствии с наиболее свежими опубликованными данными, среди социальных сетей, мессенджеров и видеосервисов наиболее популярны у российских интернет-пользователей следующие: Telegram — 60% опрошенных пользуются практически ежедневно, «ВКонтакте» — 36%, YouTube — 19% и TikTok — 17%<sup>8</sup>.

В результате исследования Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ), посвящённого выявлению динамики противоправного контента в Рунете, за период 2021–2024 гг. обнаружено 562 единицы материалов, содержащих пронаркотическую информацию, включая описание способов приобретения наркотических средств, образа жизни наркопотребителей, предложений об участии в незаконном обороте наркотиков и др. [6]. На протяжении обозначенного периода лидерство по количеству информации о продаже наркотических средств принадлежало мессенджеру Telegram, а также специализированным сайтам и группам в социальной сети «ВКонтакте». Основной платформой для пропаганды потребления наркотиков, романтизации образа жизни наркопотребителей были YouTube и «ВКонтакте» [6].

В рамках настоящего исследования были проанализированы наиболее популярные у российских пользователей интернет-платформы (Telegram, «ВКонтакте», YouTube, TikTok) на предмет актуального наличия и распространённости в них наркопропаганды. С этой целью в соответствующей строке каждого из перечисленных ресурсов вводился поисковый запрос «нарко», объединяющий группу смежных слов в исследуемой тематике. Согласно полученным результатам, наибольшую распространённость пропаганда наркопотребления имеет в социальной сети TikTok. По обозначенному запросу было выдано множество тематических видео, самые популярные из которых набрали сотни тысяч лайков и сотни комментариев: видео об опыте употребления мефедрона (294,7 тыс. лайков), 902 комментария, содержащих советы по обращению с наркотиком от употребляющих; видео о наркоманке, призывающей смириться с употреблением, а не бороться с ним (196,6 тыс. лайков), 1331 комментарий, содержащий различные мнения об увиденном и предложения о покупке веществ; видео с призывом сделать репост, если употребляешь мефедрон (151,8 тыс. лайков), 1021 комментарий, включающий одобрение потребления наркотиков, 17,4 тысячи репостов; видео с отрывком песни, романтизирующим наркопотребление (87,4 тыс. лайков), 124 комментария, среди которых преобладали фото комментаторов с расширенными зрачками; видео с вопросом о причинах начала употребления (44,5 тыс. лайков), 2392 комментария, включающих перечисление преимуществ наркопотребления и т.д.

Вторым по масштабу распространения пронаркотической информации стал видеохостинг YouTube. Сортировка видео по количеству просмотров по запросу «нарко» продемонстрировала популярность роликов, в которых содержались

<sup>7</sup> Живущие в сети, или Медиапотребление современной молодёжи // ВЦИОМ. 24.06.2025. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhivushchie-v-seti-ili-mediapotreblenie-sovremennoi-molodezhi> (дата обращения: 12.03.2026).

<sup>8</sup> «Скажите, пожалуйста, Вы пользуетесь или не пользуетесь следующими социальными сетями, мессенджерами, видеосервисами? Если пользуетесь, то как часто?»: база данных опросов Спутник // ВЦИОМ. URL: <https://bd.wciom.ru/survey/sputnik/questions/47cc01c8-0b06-48d3-984a-a992a43e9474/total/fc68a1c5-8df9-4852-a361-26c9bd398211> (дата обращения: 12.03.2026). Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

различные отрывки сериала про наркоимперию П. Эскобара; демонстрация поведения людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения (20 млн просмотров); повествование о странах, легализовавших наркотические средства (19,2 млн просмотров); описание транспортировки наркотиков (7,8 млн просмотров); информация о жизни наркокурьеров (3,4 млн просмотров); перечисление преимуществ наркопотребления (2,6 млн просмотров) и др.

В соответствии с результатами поиска в мессенджере Telegram были выявлены каналы, демонстрирующие фото и видео наркопотребителей, процесс употребления наркотиков, новости в сфере наркооборота, сравнение употребления алкоголя и наркотиков в пользу последних, истории из жизни наркокурьеров. Наиболее многочисленный из них на момент анализа насчитывал 133 547 подписчиков.

Среди исследуемых интернет-ресурсов в социальной сети «ВКонтакте» зафиксировано наименьшее количество пропаганды наркотиков. По поисковому запросу «нарко», а также ряду других слов, связанных со сферой наркопотребления, выявлены единичные группы, насчитывающие значительное количество участников («Держим марку» — 177 682 подписчика, «Без наркоты» — 37 005 подписчиков) и содержащие на своей странице видео об изменённых состояниях сознания с описанием их преимуществ, юмористические изображения приёма наркотиков, сведения о различных наркосодержащих растениях и т.д. Необходимо отметить факт значительного сокращения выявленной пронаркотической информации в данной социальной сети по сравнению с результатами аналогичных исследований, проведённых автором в предыдущие годы. Так, в 2019 г. во «ВКонтакте» было обнаружено 27 387 сообществ, содержащих информацию о наркотиках, в 2021 г. — 15 082 [7; 8]. Данная тенденция может свидетельствовать либо о своевременном реагировании администрации социальной сети и оперативном удалении пронаркотического контента, либо о повышении уровня латентности подачи информации такого типа.

**Наркопропаганда в интернете за рубежом.** Тенденция широкого распространения наркопропаганды в интернете, особенно в социальных сетях, отмечается и зарубежными исследователями. Так, учёными из США был выявлен значимый коэффициент влияния социальных сетей на пространственное распространение показателей наркопотребления. Авторы данного исследования пришли к выводу о наличии связи между повышением уровня распространённости через социальные сети информации о начале употребления и доступности наркотических веществ и увеличением числа случаев приёма наркотиков [9].

Исследование Национального центра по проблемам наркомании и злоупотребления психоактивными веществами при Колумбийском университете (США) показало, что подростки, регулярно пользующиеся социальными сетями, чаще курят, употребляют алкоголь и наркотики, чем те подростки, которые социальными сетями пользуются редко или вообще не пользуются [10]. Распространению наркопотребления способствует представленная в социальных сетях информация, нормализующая употребление запрещённых веществ, их романтизация в фото- и видеоматериалах.

Благодаря популярным интернет-платформам пользователям становятся доступны изображения не только знаменитостей и незнакомцев, практикующих приём наркотических средств, но и своих друзей и родственников, которые могут опубликовать в сети фото употребления ими алкоголя или «лёгких» наркотиков. К тому же, программы мгновенного обмена сообщениями, как правило, встроенные

в социальные сети, позволяют легко устанавливать и поддерживать контакт с продавцами различных товаров и услуг, в том числе запрещённых веществ [10].

Сами по себе социальные сети не являются причиной употребления наркотиков, однако они создают «новую форму давления со стороны сверстников», которая значительно увеличивает вероятность того, что уязвимые подростки начнут приём запрещённых веществ. В подтверждение данной теории американские СМИ цитируют слова 16-летнего учащегося о том, что интернет убеждает пользователей в том, что «все остальные веселятся лучше, чем ты», а соответствующие подписи и статусы, романтизирующие приём наркотиков, подкрепляют представление о наркопотреблении как о чём-то нормальном и даже желательном [10]. По данным американского Института McAfee — образовательной организации, специализирующейся на профессиональном обучении в области кибербезопасности — Facebook\* является самой популярной социальной сетью, где приобрести наркотики стало «проще, чем купить чашку кофе» [10].

Австралийские исследователи Университета Аделаиды подтверждают широкомасштабное распространение пронаркотической информации в виртуальных социальных сетях. В стране регулярно выявляются скрытые группы наркотической тематики, использующие настройки конфиденциальности, которые позволяют им не выделяться среди множества легитимных сообществ на используемой интернет-платформе и осуществлять приём новых участников по ссылке-приглашению. Повсеместное распространение пронаркотической информации, её нормализация размывает грань допустимого вплоть до возможности доставки наркотиков прямо к двери покупателя после размещения соответствующего заказа через социальную сеть, что приравнивает такую покупку к повседневным легитимным товарам и услугам [10].

Помимо социальных сетей, за рубежом пропаганда наркотиков распространена и на видеохостинге YouTube, в частности, популярны видео нелегальных интернет-аптек, которые практикуют консультирование «экспертов» о различных психоактивных препаратах для продажи такой продукции пользователям. Исследователи отмечают, что подобные интернет-ресурсы, которыми повседневно пользуется всё социальное окружение, друзья и родственники, придают полученной там пользователем информации ощущение авторитетности и легитимности [10].

Международный комитет по контролю за наркотиками отмечает опасность алгоритмической системы контента социальных сетей<sup>9</sup>. Алгоритм выдаёт рекомендуемый контент, основываясь на предположении о предпочтениях пользователя на базе его предыдущих поисков и/или подписок. Некоторые ресурсы сознательно смешивают рекомендуемый контент с рекламой, тем самым вводя пользователя в заблуждение о том, какую информацию он искал сам, а какая ему навязывается. Таким образом, однажды столкнувшись с пронаркотической информацией, пользователь существенно повышает вероятность дальнейшего её получения в возрастающих масштабах.

Зарубежные эксперты отмечают распространённость пронаркотической пропаганды в социальных сетях в виде дезинформации о лекарственных свойствах наркотиков. Так, например, несмотря на отсутствие каких-либо исследований и доказательств, широко популяризируются представления о том, что препараты на ос-

\* Принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ.

<sup>9</sup> Drugs online: UN-backed body offers solutions to counter narcotics surge // United Nations. URL: <https://news.un.org/en/story/2024/03/1147252> (дата обращения: 19.03.2026).

нове каннабиса способны избавить пациента от всех болезней, от болевого синдрома до любой стадии рака. Такой вид пропаганды не только даёт ложные надежды, но и может привести к ухудшению состояния больного, решившегося отказаться от традиционного лечения в пользу наркотических препаратов [11].

**Меры противодействия пронаркотической пропаганде.** Пропаганда незаконного потребления наркотиков посредством масштабного использования интернета отражена в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г. в качестве одной из угроз национальной безопасности в сфере наркооборота<sup>10</sup>. В качестве мер противодействия данной угрозе в России установлена административная и уголовная ответственность: ст. 6.13 КоАП РФ — о распространении информации о наркотических средствах с нарушением установленных российским законодательством требований, включая пропаганду наркотиков в информационно-телекоммуникационных сетях, — предусматривает наказание в виде штрафа либо приостановления деятельности для юридических лиц; ст. 230.3 УК РФ применяется к лицам, уже привлекавшимся к административной ответственности за пропаганду наркотических средств и предусматривает крупные штрафы, исправительные работы и лишение свободы до двух лет. Причём уголовная ответственность за пропаганду наркотиков была введена в российское федеральное законодательство относительно недавно — в августе 2024 г. — как ответ на стабильную тенденцию роста количества дел об административных правонарушениях по ст. 6.13 КоАП РФ: 2019 г. — 457 дел (по 71% из которых вынесены постановления о назначении наказания); 2021 г. — 600 дел (65%); 2023 г. — 1403 дела (77%)<sup>11</sup>. Однако привлечение правонарушителей к ответственности по указанным статьям существенно осложняется высоким уровнем латентности осуществляемой ими незаконной деятельности, который обеспечивается посредством использования специальных программ и настроек конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, после выявления пронаркотической информации сотрудники правоохранительных органов обязаны официально доказать факт наличия в ней наркопропаганды, что требует привлечения ряда экспертов и проведения экспертиз, а также значительных финансовых и временных ресурсов [12].

Мониторинг интернета на предмет выявления пропаганды запрещённых веществ в России, помимо сотрудников органов внутренних дел, осуществляется сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также сотрудниками специализированных некоммерческих организаций («Лига безопасного интернета», «Институт развития интернета», «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» и др.). После выявления пронаркотической информации деятельность данных организаций направлена на её фиксацию с целью обеспечения доказательства факта её наличия и дальнейшего удаления из публичного доступа. Кроме того, современный уровень развития искусственного интеллекта позволяет использовать и эту технологию для выявления пронаркотического контента.

<sup>10</sup> Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733) // Официальный сайт Президента России. URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/ZAGYxcqq11KueTyaLljTATA23PraYrDr.pdf> (дата обращения: 25.03.2026).

<sup>11</sup> Административные правонарушения. Показатели по отдельным правонарушениям // Судебная статистика РФ. URL: <https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/1> (дата обращения: 26.03.2026).

В рамках профилактики распространения деструктивного контента, в том числе пропаганды запрещённых веществ, российские эксперты предлагают ввести законодательную регламентацию деятельности блогеров, которые выступают ретрансляторами контента в сети и пользуются авторитетом среди пользователей, особенно среди молодёжи, а также официально определить и закрепить критерии преступлений в осуществляемой блогерами деятельности [13]. К тому же предлагается ввести административную ответственность в отношении владельцев и администраторов сайтов и хостингов, отказавшихся блокировать и удалять пронаркоотический контент [14].

За рубежом также реализован целый ряд мер противодействия пропаганде наркотиков в интернете. Установлена административная и уголовная ответственность за данный вид правонарушения (Австрия, Нидерланды, Франция, Кипр и др. [15]).

Государственные организации здравоохранения используют социальные сети, наиболее популярные у молодёжи, для проведения информационных кампаний о реальных фактах наркотической зависимости, приведения статистических данных о заболеваемости наркоманией, а также привлечения людей, чья жизнь была разрушена злоупотреблением наркотиками, для рассказа своих историй вовлечения в наркоманию и её последствий в качестве предупреждения других потенциальных потребителей, которые могут поддаваться искушению попробовать запрещённые вещества. Данный метод направлен на повышение осведомлённости о вреде наркопотребления в доступном молодёжи формате. Полицейские управления также используют платформы социальных сетей для публикации результатов своих успешных операций в сфере борьбы с наркотиками, что может послужить сдерживающим фактором для потенциальных клиентов наркодилеров [10].

Пропаганда наркотиков и их продажа в социальных сетях также рассматривается американскими политиками в качестве угрозы национальной безопасности, о чём свидетельствует ежегодный вызов руководителей крупнейших интернет-ресурсов для отчёта перед членами Конгресса США о том, какие действия предпринимаются для предотвращения распространения на подконтрольных им ресурсах опасной дезинформации и преступной деятельности [16]. Администрация социальных сетей заявляет о наличии чётких правил, запрещающих покупку, продажу и рекламу наркотических средств, нарушение которых повлечёт блокировку аккаунта и/или юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством. При возникновении малейших сомнений в добросовестности владельца аккаунта его страница помечается как подозрительная [10] до дальнейших разбирательств. Однако, как показывает практика, данные меры имеют низкую эффективность и явно недостаточны для защиты пользователей.

Зарубежные исследователи отмечают необходимость решить две взаимосвязанные задачи — противодействовать дезинформации и сохранить свободу выражения мнений [17]. То есть нормативные акты, разрабатываемые в сфере борьбы с наркопропагандой, должны пресекать распространение ложной информации, но при этом не подавлять свободное выражение мнений граждан.

Немаловажное значение в борьбе с опасной информацией в интернете, в том числе с пропагандой наркотиков, имеет законодательная поддержка образовательных программ, направленных на обучение населения навыкам критической оценки достоверности полученной в сети информации. В США функционируют различные некоммерческие организации, которые занимаются обучением

населения медиаграмотности; влиянием на политиков с целью принятия законов, вводящих обязательный курс медиаграмотности в школах по всей стране; повышением грамотности в сфере публикации новостей и др. (The Center for Media Literacy, Media Literacy Now, The News Literacy Project). Данные меры уже показали свою эффективность. Так, согласно опубликованным данным, 73,3% прошедших обучение медиаграмотности смогли точно распознать ложную информацию (против 53,6% среди тех, кто не проходил такого обучения). Выпускники данных программ также реже распространяли неточные сведения, что помогает сдерживать распространение дезинформации [18].

Транснациональный характер современной дезинформации делает международное сотрудничество необходимым инструментом для осуществления эффективного противодействия данной угрозе.

**Заключение.** Пропаганда является методом воздействия на общественное сознание посредством целенаправленного распространения соответствующей информации. Пропаганда наркотиков направлена на формирование в общественном сознании представления о наркопотреблении как о повседневной практике человеческой жизни, на дестигматизацию образа наркопотребителей, на формирование убеждённости в получении ряда преимуществ при приёме наркотиков. Таким образом, распространение пронаркотической информации становится одним из факторов риска вовлечения в наркопотребление, наряду с образом жизни, особенностями социального окружения, психического здоровья индивида и др. Особую опасность пронаркотическая пропаганда представляет для молодого поколения, в силу возраста характеризующегося не до конца сформировавшимся критическим мышлением, психоэмоциональной нестабильностью и низкой стрессоустойчивостью.

В условиях современного уровня цифрового развития пропаганда наркотиков приобрела определённые черты, выступающие её преимуществами: анонимность источника информации; трансграничность, массовость и мгновенность передачи данных; сетевое распространение информации от одного получателя к другому; персонализация подачи информации; отсутствие запроса со стороны пользователей на верификацию сведений, полученных на интернет-платформах, которым они доверяют по умолчанию. Данные технические возможности способствуют высокой эффективности пропагандистского воздействия на когнитивные реакции и поведенческие паттерны пользователей при минимальных финансовых и временных затратах субъектов пропаганды.

Проведённый в рамках данной работы контент-анализ наиболее популярных среди российского населения интернет-ресурсов на предмет наличия пронаркотической пропаганды выявил информацию данного типа. Согласно результатам анализа, среди рассматриваемых ресурсов пропаганда наркопотребления нашла наибольшее распространение в социальной сети TikTok, на втором месте — видеохостинг YouTube, далее — мессенджер Telegram, и наименьшее количество пронаркотической пропаганды обнаружено в социальной сети «ВКонтакте». Среди выявленной информации преобладают фото и видео наркопотребителей, демонстрация процесса наркопотребления, эффектов от приёма наркотиков, романтизация образа жизни потребителей наркотических средств.

Проблема пронаркотической пропаганды сохраняет свою актуальность и за рубежом. По данным специализированных исследований, различные интернет-ресурсы, чаще всего социальные сети, активно используются для привлече-

ния потенциальных покупателей наркотических средств. С этой целью распространяется информация о различных видах наркотиков, их эффектах, способах приобретения, преимуществах употребления и т.д.

Ввиду повышенной общественной опасности, которую несёт в себе пропаганда наркотиков, правительства разных стран разрабатывают комплекс мер противодействия данной угрозе — от предупреждения граждан до уголовного преследования распространителей пронаркотической информации. В условиях всепроникающего воздействия интернета одной из первостепенных задач становится обеспечение достоверности информации, размещаемой на популярных виртуальных платформах, таких как социальные сети. Эффективному уменьшению потенциального риска влияния пропаганды также способствует обучение населения навыкам распознавания дезинформации, верификации источников данных, установления чётких границ поведения в интернете, а также совершенствование школьного образования в сфере профилактики наркопотребления. Современные возможности информационно-телекоммуникационных технологий необходимо использовать для широкомасштабного распространения программ профилактики немедицинского потребления наркотиков, персонализируя подачу данной информации для каждой группы населения.

### Библиографический список

1. Социологический энциклопедический словарь: На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Отв. ред. Г. В. Осипов. М.: Инфра-М–Норма, 1998. 488 с. EDN [TRWDJG](#).
2. Бернейс Э. Пропаганда. СПб: Питер, 2023. 224 с.
3. Кареева С. Г., Некрасов С. В., Пинчук А. Н. Пропаганда как метод воздействия на общественное сознание: общий теоретический аспект // Вестник НГУЭУ. 2020. № 4. С. 212–229. DOI [10.34020/2073-6495-2020-4-212-229](#). EDN [TWBBQX](#).
4. Дорцева Е. В. Современная Российская молодёжь как целевая аудитория деструктивной пропаганды // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2024. Т. 30, № 2. С. 114–136. DOI [10.24290/1029-3736-2024-30-2-114-136](#). EDN [OYLCFB](#).
5. Цуладзе А. Большая манипулятивная игра. М.: Алгоритм, 2000. 336 с.
6. Динамика противоправного контента в Рунете за 2021–2024 годы: исследование НЦПТИ / С. А. Чурилов, А. А. Пименова, Ю. Д. Хлыстова, А. В. Волощук // Обзор НЦПТИ. 2024. № 4(39). С. 32–52. EDN [KFEDLQ](#).
7. Шульгина Е. В. Анализ современного отношения молодёжи к употреблению наркотиков // Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования: материалы XXII Междунар. конф. памяти проф. Л. Н. Когана. Екатеринбург: УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2019. С. 655–661. EDN [FFLZWL](#).
8. Ларина Е. В. Об усилении ответственности за наркопропаганду в интернете // Социология и право. 2021. № 3. С. 35–39. DOI [10.35854/2219-6242-2021-3-35-39](#). EDN [ILSSBZ](#).
9. Measuring network dynamics of opioid overdose deaths in the United States / K. Tiwari, M. A. Rahimian, M. S. Roberts [et al.] // Scientific Reports. 2024. Vol. 14, No. 1. Art. 29563. DOI [10.1038/s41598-024-80627-4](#). EDN [AZZXJA](#).
10. Guide to Drugs on Social Media // American Addiction Centers. 2024. URL: <https://americanaddictioncenters.org/drugs-on-social-media> (accessed: 20.03.2026).
11. Hamilton I., Cavazos-Rehg P. Misinformation about illicit drugs is spreading on social media — and the consequences could be dangerous // The Conversation. October 2, 2020. DOI [10.64628/AB.5vte4d6mw](#).
12. Топоев Т. А. О некоторых проблемах, связанных с пропагандой наркотических средств в сети «Интернет», на основе анкетирования сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков // Эпоха науки. 2025. № 44. С. 97–100. EDN [KBGBHI](#).
13. Полстовалов О. В. Криминалистическое обеспечение профилактики, расследования и раскрытия преступлений, совершаемых блогерами: контуры видовой

- характеристики // Правовое государство: теория и практика. 2024. № 2(76). С. 81–89. DOI [10.33184/pravgos-2024.2.11](https://doi.org/10.33184/pravgos-2024.2.11). EDN [ZKCTMX](https://www.edn.ru/ZKCTMX).
14. *Безлепкина О. В.* Причины роста количества дел об административных правонарушениях, связанных с пропагандой наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в Российской Федерации // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2024. № 4(106). С. 46–53. EDN [PTXGDN](https://www.edn.ru/PTXGDN).
  15. *Анисифорова М. В.* Европейское законодательство в области противодействия пропаганде и незаконной рекламе наркотиков // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 4. С. 73–76. EDN [FYMPSM](https://www.edn.ru/FYMPSM).
  16. *Quasba N., Brady J., Stevenson S.-L.* How online drug dealers exploit social media algorithms // NABP: National Association of Boards of Pharmacy. May 20, 2021. URL: <https://nabp.pharmacy/news/blog/online-drug-dealers-exploit-social-media-algorithms/> (accessed: 21.03.2026).
  17. Parliamentary handbook on disinformation, AI and synthetic media / S. Twigg [et al.]. London, UK : Commonwealth Parliamentary Association, 2023. 27 p.
  18. *Ashby J.* The Effects of Medical Misinformation on the American Public // Ballard Brief. March 2024. URL: <https://ballardbrief.byu.edu/issue-briefs/the-effects-of-medical-misinformation-on-the-american-public> (accessed: 25.03.2026).

Поступила: 13.04.2026. Принята: 16.05.2026.

#### Сведения об авторе:

**Ларина Елена Викторовна**, кандидат социологических наук, научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия. [elena\\_shulgina@inbox.ru](mailto:elena_shulgina@inbox.ru)  
Author ID РИНЦ: 903092; ORCID: 0000-0002-4928-4388

**E. V. Larina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institute of Sociology of FCTAS RAS. Moscow, Russia

## DRUG PROPAGANDA ON THE INTERNET IN RUSSIA AND ABROAD: CURRENT STATE AND COUNTERMEASURES

**Abstract.** According to official data, Russia has an increase in certain drug use indicators in 2025, including the number of drug addicts, cases of drug poisoning, and the number of drug-related crimes. The high level of digitalization in modern society, characterized by the widespread availability of diverse open accessible information including drug propaganda exacerbates the problem of drug addiction. This trend highlights the need for social analysis of the current state of the problem of drug propaganda and the effectiveness of measures taken to counter this threat. This article presents an overview of specialized statistical data and research materials. A content analysis of the most popular online resources among the Russian population was conducted to determine the presence and prevalence of drug propaganda. Based on materials from international researchers, the problem of drug propaganda in the international segment of the internet was analyzed. This article concludes that social media content that normalizes the use of illegal substances and romanticizes them through photos and videos contributes to the spread of drug use, especially among younger generations. It identifies the key characteristics of modern drug propaganda, driven by the current level of digital development and serving as its advantages in effectively reaching target audiences. It also reviews the existing system for countering drug propaganda in Russia and abroad, identifying the measures that have proven most effective.

**Keywords:** drug propaganda, drug use, internet, social networks, countermeasures, information security, destructive content, drug addiction prevention

**For citation:** Larina E. V. Drug propaganda on the Internet in Russia and abroad: current state and countermeasures. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):43–54. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.3>

## References

1. Osipov G. V. (ed.) Sociological Encyclopedic Dictionary. Moscow: Infra-M–Norma; 1998. (In Russ.).
2. Bernays E. Propaganda. St. Petersburg: Piter; 2023. (In Russ.).
3. Karepova S. G., Nekrasov S. V., Pinchuk A. N. Propaganda as a method of influencing public consciousness: general theoretical aspect. *Vestnik NSUEM*. 2020;(4):212–229. (In Russ.). DOI [10.34020/2073-6495-2020-4-212-229](https://doi.org/10.34020/2073-6495-2020-4-212-229).
4. Dortseva E. V. Modern Russian youth as a target audience of destructive propaganda. *Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 2024;30(2):114–136. (In Russ.). DOI [10.24290/1029-3736-2024-30-2-114-136](https://doi.org/10.24290/1029-3736-2024-30-2-114-136).
5. Tsuladze A. The Great Manipulative Game. Moscow: Algoritm; 2000. (In Russ.).
6. Churilov S. A., Pimenova A. A., Khlystova Yu. D., Voloshchuk A. V. Dynamics of illegal content in RuNet for 2021–2024: research by NCCTI. *Review.NCCTI*. 2024;(4):32–52. (In Russ.).
7. Shulgina E. V. Analysis of the modern attitude of young people towards drug use. In: Culture, personality, society in the modern world: methodology, experience of empirical research: Proc. XXII International. conf. in memory of prof. L. N. Kogan. Ekaterinburg: Ural Federal University; 2019. P. 655–661. (In Russ.).
8. Larina E. V. On strengthening responsibility for drug propaganda on the Internet. *Sociology and Law*. 2021;(3):35–39. (In Russ.). DOI [10.35854/2219-6242-2021-3-35-39](https://doi.org/10.35854/2219-6242-2021-3-35-39).
9. Tiwari K., Rahimian M. A., Roberts M. S. [et al.] Measuring network dynamics of opioid overdose deaths in the United States. *Scientific Reports*. 2024;14(1):29563. DOI [10.1038/s41598-024-80627-4](https://doi.org/10.1038/s41598-024-80627-4).
10. Guide to Drugs on Social Media. American Addiction Centers; 2024. Available at: <https://americanaddictioncenters.org/drugs-on-social-media> (accessed: 20.03.2026).
11. Hamilton I., Cavazos-Rehg P. Misinformation about illicit drugs is spreading on social media – and the consequences could be dangerous. *The Conversation*. October 2, 2020. DOI [10.64628/AB.5vte4d6mw](https://doi.org/10.64628/AB.5vte4d6mw).
12. Topoev T. A. About some problems related with promotion of narcotic drugs on the Internet, based on questionnaires filled out by employees of drug control units. *Ehpoha nauki*. 2025;(44):97–100. (In Russ.).
13. Polstovalov O. V. Criminalistic support for preventing, investigating and detecting crimes committed by bloggers: type characterization outlines. *The Rule of Law State: Theory and Practice*. 2024;(2):81–89. (In Russ.). DOI [10.33184/pravgos-2024.2.11](https://doi.org/10.33184/pravgos-2024.2.11).
14. Bezlepikina O. V. The reasons for the increase in the number of cases on administrative offenses related to the promotion of narcotic drugs, psychotropic substances or their precursors in the Russian Federation. *Bulletin of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2024;(4):46–53. (In Russ.).
15. Anisiforova M. V. European legislation in the field of counteracting the propaganda and illegal advertising of drugs. *Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*. 2021;(4):73–76. (In Russ.).
16. Quasba N., Brady J., Stevenson S.-L. How online drug dealers exploit social media algorithms. NABP: National Association of Boards of Pharmacy. May 20, 2021. Available at: <https://nabp.pharmacy/news/blog/online-drug-dealers-exploit-social-media-algorithms/> (accessed: 21.03.2026).
17. Twigg S. [et al.] Parliamentary handbook on disinformation, AI and synthetic media. London, UK: Commonwealth Parliamentary Association; 2023.
18. Ashby J. The Effects of Medical Misinformation on the American Public. Ballard Brief. March 2024. Available at: <https://ballardbrief.byu.edu/issue-briefs/the-effects-of-medical-misinformation-on-the-american-public> (accessed: 25.03.2026).

Received: 13.04.2026. Accepted: 16.05.2026.

### Author information:

**Elena V. Larina**, Candidate of Sociology, Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS. Moscow, Russia. [elena\\_shulgina@inbox.ru](mailto:elena_shulgina@inbox.ru)  
ORCID: [0000-0002-4928-4388](https://orcid.org/0000-0002-4928-4388)



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.4](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.4)  
EDN [FHGOKM](https://edn.fhgokm.ru)  
УДК 316.354:351/354



**А. В. Березнев<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Воронежский институт МВД России. Воронеж, Россия

## ЗАРУБЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКУЛШУТИНГА

**Аннотация.** Статья посвящена анализу и систематизации зарубежного опыта с целью выявления организационно-управленческих практик предотвращения скулшутинга, применимых для адаптации в российских условиях. Методология исследования базируется на сравнительном анализе научной литературы, официальных отчётов (ФБР, Секретной службы США) и нормативных документов, регламентирующих предотвращение вооружённых нападений в образовательных учреждениях США и стран Европы. Установлено, что в основе современных систем предотвращения лежит отказ от неэффективной политики «нулевой терпимости» в пользу проактивной модели поведенческой оценки угроз, ключевыми элементами которой выступают мультидисциплинарные команды, дифференциация угроз по степени риска, индивидуальный подход и фокус на выявлении «утечек информации». Выявлены сходства и различия в реализации данных принципов, обусловленные культурными и правовыми особенностями. Американская модель отличается большей формализацией и развитой инфраструктурой анонимных сообщений, тогда как европейская делает акцент на социальной поддержке и межведомственном взаимодействии. Сделан вывод, что наиболее эффективные зарубежные практики, включая отказ от профилирования, развитие межведомственного взаимодействия и вовлечение школьного сообщества, могут быть адаптированы для создания комплексной системы предотвращения скулшутинга в Российской Федерации.

**Ключевые слова:** скулшутинг, предотвращение насилия в школах, поведенческая оценка угроз, зарубежный опыт, школьная безопасность, управление рисками, США, Европа, организационно-управленческие практики

**Для цитирования:** Березнев А. В. Зарубежные организационно-управленческие практики предотвращения скулшутинга // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 55–66. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.4](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.4). EDN [FHGOKM](https://edn.fhgokm.ru).

**Введение.** В Соединённых Штатах Америки проблема скулшутинга приобрела особенно серьёзный характер после трагедии, произошедшей в школе «Колумбайн» в 1999 году. Этот инцидент наглядно продемонстрировал недостаточность исключительно реактивных мер и обусловил необходимость выработки системы предупреждения подобных преступлений [1]. На первоначальном этапе значительная часть образовательных организаций ориентировалась на политику «нулевой терпимости», предусматривавшую применение строгих дисциплинарных санкций в ответ на любые проявления агрессии или угроз. Вместе с тем последующие исследования показали, что подобная модель не обеспечивает должного уровня безопасности [1]. Во многих случаях применяемые меры носили чрезмерный и несоразмерный характер, однако не приводили к снижению вероятности насильственных инцидентов. Так, в 2008 году Американская психологическая ассоциация пришла к выводу об отсутствии убедительных данных, подтверждающих эффективность политики «нулевой терпимости», а также указала на её отрицательное влияние

на атмосферу внутри образовательной среды. В начале 2000-х годов в США получила развитие концепция поведенческой оценки угроз, основанная не на автоматическом наказании, а на всестороннем анализе ситуации [2]. При её применении учитываются конкретные обстоятельства, психологические особенности злоумышленника, характер его поведения и социальное окружение. Центральной идеей данного подхода является разграничение между самим фактом высказывания угрозы и наличием действительного намерения её реализовать. Иначе говоря, далеко не каждое агрессивное или угрожающее высказывание свидетельствует о готовности лица к совершению насильственных действий [3].

Для Российской Федерации проблема скулшутинга стала актуальной после резонансных инцидентов в школах (Керчь, 2018; Казань, 2021; Пермь, 2021; Ижевск, 2022). Именно после таких инцидентов со всей остротой встал вопрос о необходимости выстраивания системной, научно обоснованной организационно-управленческой модели предотвращения подобных событий. В то время как в зарубежных странах, прежде всего в США и государствах Европы, накоплен значительный опыт внедрения поведенческой оценки угроз и мультидисциплинарных команд, российская практика до сих пор ориентируется преимущественно на силовые и административно-карательные меры, не имеющие доказанной эффективности. Научная проблема, решаемая в данной статье, заключается в выявлении и систематизации зарубежных организационно-управленческих практик предотвращения скулшутинга, которые могли бы быть адаптированы к российским институциональным, правовым и социокультурным условиям. В отечественной социологии управления системный анализ зарубежных моделей с акцентом на их адаптационный потенциал представлен недостаточно, что призвана восполнить данная работа.

Цель настоящей статьи — на основе сравнительного анализа американского и европейского опыта выявить ключевые организационно-управленческие практики предотвращения скулшутинга, которые могут быть адаптированы к российским условиям.

**Методология и дизайн исследования.** Методология исследования основана на качественном сравнительном анализе. Выбор США и европейских стран (Германия, Финляндия, страны Скандинавии) обусловлен: во-первых, наибольшей проработанностью систем поведенческой оценки угроз в этих странах; во-вторых, наличием доступных официальных документов (отчёты ФБР, Секретной службы США, национальные руководства); в-третьих, различиями в правовых и культурных условиях, что позволяет выявить как универсальные, так и контекстуально-специфичные механизмы. Критериями отбора источников выступали: а) принадлежность к официальным ведомствам или рецензируемым научным изданиям; б) прямой фокус на организационно-управленческих аспектах предотвращения скулшутинга; в) хронологические рамки (2000–2025 гг.). Параметры сравнения в таблице 1 (исторический контекст, принципы оценки, структура команд, алгоритмы реагирования, система анонимных сообщений) выделены на основе ключевых компонентов модели ВТАМ (Behavioral Threat Assessment and Management). Сравнение проводилось методом тематического сопоставления: по каждому параметру фиксировались сходства и различия с последующей интерпретацией с точки зрения возможной адаптации к российской системе.

**Эволюция и базовые принципы модели поведенческой оценки угроз в США.** Американские исследователи подчёркивают, что потенциальные правонарушители, как правило, не переходят к нападению внезапно. Обычно совершению преступления предшествует определённый период, в течение которого наблюдается постепенное усиление негативных проявлений, сопровождаемое рядом предупреждающих признаков [4]. В связи с этим основная задача системы предотвращения заключается в максимально раннем выявлении таких сигналов и принятии мер ещё до того момента, когда угроза будет реализована [5]. При рассмотрении американского опыта предупреждения скулшутинга существенное значение имеют общественные инициативы, ориентированные на снижение факторов риска. Одним из наиболее известных примеров является движение «No Notoriety» («без известности»), созданное родственниками погибших, представителями средств массовой информации и общественными активистами. Основная цель данной инициативы состоит в отказе от излишнего внимания к личности преступника и недопущении его популяризации в информационном пространстве. Вместо этого предлагается сосредоточить общественное внимание на жертвах трагедии, а также на проявлениях мужества и героизма со стороны лиц, оказавших сопротивление злоумышленнику [6].

**Институционализация оценки угроз: команды ВТАМ и межведомственное взаимодействие.** Важнейшим компонентом американской системы предотвращения выступает деятельность мультидисциплинарных команд по оценке и управлению угрозами (Threat Assessment Team). Подобные группы создаются как в отдельных образовательных организациях, так и на уровне школьных округов. В их состав, как правило, входят представители администрации школы, психологи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, а при необходимости — специалисты в области психического здоровья и иные эксперты [7].

Для рассматриваемой модели характерно чёткое нормативное регулирование межведомственного взаимодействия. Так, после ряда инцидентов с большим количеством жертв<sup>1</sup>, произошедших в 2013 году, в штате Вирджиния было введено обязательное создание команд по оценке угроз во всех образовательных учреждениях. Их деятельность осуществляется под методическим руководством Университета Вирджинии [8] и предполагает постоянное взаимодействие с правоохранительными органами. Сходные положения закреплены и в законодательстве штата Мэриленд, в соответствии с которым формирование таких команд является обязательным для каждого школьного округа. Для практической реализации данной системы был разработан единый типовый регламент, подготовленный межведомственной рабочей группой. В её состав вошли специалисты Секретной службы США, Федерального бюро расследований, а также Центра безопасности школ штата Вирджиния [8].

Приведённые примеры позволяют сделать вывод о том, что практика оценки угроз постепенно приобретает институциональный характер. Её применение уже не зависит исключительно от инициативы отдельных школ либо конкретных должностных лиц, а становится обязательной составной частью системы

<sup>1</sup> Имеется в виду инцидент и последовавшие за ним подражательные инциденты в начальной школе в Сэнди-Хук (город Ньютаун, штат Коннектикут, США), 14.12.2012, погибших 28, раненых 2.

управления в сфере образования. В настоящее время в рамках концепции поведенческой оценки угроз выделяется несколько базовых принципов.

Во-первых, одним из ключевых положений является отказ от профилирования. В современной научной литературе подчёркивается, что **не существует единого психосоциального портрета лица, способного совершить скулшутинг**. По этой причине попытки сформировать универсальный «тип» потенциального преступника признаются не только бесполезными, но и способными повлечь негативные последствия. Взамен внимание сосредоточивается на анализе конкретных поведенческих признаков [4]. Согласно рекомендациям Секретной службы США, оценка должна основываться исключительно на фактических данных о поведении лица, а не на стереотипных представлениях, субъективных впечатлениях или отдельных личностных характеристиках.

Во-вторых, важное значение имеет принцип континуума угроз. В соответствии с ним **все угрозы различаются по степени серьёзности**, следовательно, **требуют различных мер реагирования** [2]. В американской практике принято выделять временные и существенные угрозы [8]. Временные угрозы, как правило, обусловлены эмоциональным состоянием злоумышленника и не связаны с наличием реального намерения причинить вред. Существенные же угрозы сопровождаются конкретными планами, подготовительными действиями и, соответственно, требуют немедленного вмешательства. В тех случаях, когда оценка вызывает сомнения, рекомендуется исходить из более высокого уровня опасности. Аналогичный подход используется и Федеральным бюро расследований, которое предусматривает разграничение угроз по степени риска и соответствующее распределение мер реагирования [9].

В-третьих, применяется принцип контекстуальности, предполагающий **индивидуальный подход к каждой ситуации**. При оценке учитываются особенности личности злоумышленника, его отношения с окружающими, семейная и школьная среда, а также текущее эмоциональное состояние. Подобное понимание соответствует положениям социологической теории действия, согласно которой человеческое поведение формируется под воздействием не только внутренних качеств личности, но и внешних социальных условий.

В-четвёртых, **процесс оценки угроз носит последовательный и поэтапный характер**. Обычно он включает несколько взаимосвязанных стадий: выявление признаков возможной угрозы, предварительную оценку её серьёзности, более глубокий анализ с привлечением различных источников информации, выработку решения относительно способов управления угрозой, а также последующее наблюдение за развитием ситуации.

Существенное значение в рамках рассматриваемой системы имеет **установление уровня риска и определение мер, адекватных степени опасности**. В большинстве используемых моделей применяется трёхступенчатая классификация, предусматривающая выделение низкого, среднего и высокого уровня риска. Для каждой из указанных категорий предусмотрен самостоятельный алгоритм реагирования. Благодаря этому вмешательство осуществляется в соответствии с принципом соразмерности, что позволяет, с одной стороны, избежать чрезмерно жёстких мер, а с другой — не допустить недостаточной реакции на потенциальную угрозу. С целью повышения результативности работы по предотвращению инцидентов были разработаны специальные перечни индикаторов предупреждающего поведения. Их формирование основывалось на изучении и сопоставлении реальных случаев скулшутинга. Результаты иссле-

дований показали, что лица, впоследствии совершившие нападение, нередко заранее демонстрировали признаки приближающейся опасности. К числу таких признаков относятся так называемые «утечки информации», то есть сообщения о намерениях, передаваемые в личном общении, через социальные сети либо иные цифровые каналы, повышенный интерес к оружию и различным формам насилия, а также выраженные проявления психологического неблагополучия [3].

Национальная ассоциация школьных психологов (NASP) особое внимание уделяет концепции «пути к насилию», под которой понимается постепенный переход от возникновения замысла к его практической реализации [2]. Данная концепция исходит из того, что насильственное поведение не возникает внезапно, а развивается поэтапно. В качестве факторов риска рассматриваются социальная изоляция злоумышленника, систематическая травля со стороны сверстников, наличие психических нарушений, свободный доступ к оружию и иные неблагоприятные обстоятельства. При этом подчёркивается, что ни один из перечисленных факторов не способен сам по себе предопределить совершение преступления. Опасность возникает прежде всего при их сочетании и взаимном усилении. В ходе своей деятельности команды по оценке угроз стремятся собрать максимально полный объём информации о злоумышленнике и обстоятельствах его поведения. С этой целью проводятся беседы с самим учащимся, его родственниками, сверстниками и педагогами, изучаются материалы школьной документации, а также анализируется активность в социальных сетях и иных интернет-ресурсах. При наличии оснований к работе могут привлекаться сотрудники правоохранительных органов, которые проводят дополнительные проверочные мероприятия. Одновременно существенное внимание уделяется соблюдению требований конфиденциальности и профессиональной этики.

В Соединённых Штатах Америки действует федеральный закон FERPA, регулирующий порядок защиты сведений, содержащихся в образовательной документации. Вместе с тем данный нормативный акт допускает передачу такой информации в случаях, когда имеется угроза жизни и безопасности окружающих.

В целом использование комплексной модели, включающей раннюю профилактику, унифицированные процедуры оценки угроз и систему оперативного реагирования, позволило не только сократить количество фактически совершённых нападений [4], но и увеличить число предотвращённых случаев скулшутинга [3]. Одним из важнейших элементов системы предотвращения инцидентов выступают чат-боты для анонимного сообщения о потенциальных угрозах. В Соединённых Штатах Америки широкое распространение получили специальные горячие линии, мобильные приложения и цифровые платформы, через которые учащиеся, родители и иные лица могут сообщать о подозрительном поведении. Наиболее известным примером является система Safe2Tell, функционирующая в штате Колорадо. Ежегодно через неё поступают десятки тысяч сообщений, часть которых позволила своевременно выявить реальную опасность и предотвратить возможные преступления. Развитие подобных механизмов поддерживается и на федеральном уровне. На государственном портале SchoolSafety.gov размещаются методические рекомендации, примеры успешных практик и иные материалы, посвящённые организации анонимного сообщения.

Федеральное правительство США рассматривает распространение подобных механизмов в качестве одного из приоритетных направлений в сфере школьной безопасности. Так, на общенациональном портале SchoolSafety.gov, созданном в 2020 году, содержатся рекомендации по организации системы анонимного репортинга, а также сведения о наиболее успешных практиках, применяемых в различных штатах. В связи с этим в американской модели предотвращения скулшутинга данный подход рассматривается, во-первых, как одно из ключевых направлений общей системы предупреждения насильственных инцидентов, а во-вторых, как задача, выходящая далеко за пределы исключительно образовательной среды [10]. В реализацию мероприятий вовлекается всё общество, что находит отражение в принципе: «если видишь что-либо подозрительное — сообщи об этом» [2]. Возможность сохранить анонимность позволяет преодолеть страх перед обращением к взрослым и способствует вовлечению учащихся в деятельность по обеспечению безопасности [11].

В рамках современной системы образования активно применяется модель ВТАМ (Behavioral Threat Assessment and Management), ориентированная на создание безопасной и благоприятной образовательной среды. В данной модели школа рассматривается не только как учреждение, осуществляющее обучение, но и как субъект системы предотвращения, обязанный обеспечивать своевременное выявление отклоняющегося поведения. При этом подчёркивается, что эффективная оценка угроз возможна лишь в условиях, когда в образовательной организации сформирована атмосфера доверия, уважения и психологической защищённости [4]. Учащиеся должны быть убеждены в том, что они могут открыто рассказать взрослым о своих переживаниях, тревоге или опасениях, не опасаясь негативных последствий [12; 13; 14]. В свою очередь, обучающийся, поведение которого вызывает настороженность, должен понимать, что к нему будут относиться не только как к потенциальному нарушителю, но прежде всего как к лицу, нуждающемуся в поддержке и помощи [15; 16; 17].

В связи с этим система управления деятельностью по предотвращению инцидентов основывается на нескольких базовых принципах.

- непрерывное обучение всех участников, включающее проведение специальных тренингов для администрации, педагогов и иных работников образовательных организаций по вопросам выявления признаков угрозы и её оценки, а также разъяснительную работу с учащимися относительно необходимости своевременного сообщения о настораживающем поведении [18; 19];
- рефлексивный характер системы, выражающийся в постоянном пересмотре и обновлении действующих алгоритмов, регламентов и мероприятий с учётом накопленного практического опыта, изменений социальной ситуации и результатов современных научных исследований [11];
- межинституциональное взаимодействие, предполагающее согласованную деятельность образовательных организаций, правоохранительных органов, служб психического здоровья, социальных учреждений и иных структур, участвующих в предупреждении насильственного поведения [9].

Следует подчеркнуть, что сама концепция команд по оценке угроз изначально сформировалась не в сфере образования. Первоначально подобный подход применялся в практике обеспечения безопасности высокопоставлен-

ных государственных деятелей и использовался специальными службами и правоохранительными структурами. Иными словами, данная модель имеет происхождение из области национальной безопасности, а впоследствии была адаптирована и внедрена в систему образовательных учреждений в качестве элемента антитеррористической и политики противодействия. В связи с этим многие методы противодействия скулшутингу развивались по аналогии с механизмами борьбы с терроризмом: они включают выявление признаков потенциальной угрозы, налаживание межведомственного взаимодействия, а также осуществление превентивного вмешательства на ранних этапах формирования опасного поведения [20; 21].

**Европейский опыт предотвращения скулшутинга.** В европейских государствах случаи скулшутинга фиксируются значительно реже, чем в Соединённых Штатах Америки. Тем не менее отдельные трагические инциденты также послужили стимулом для формирования системы предотвращения, во многом сходной с американской моделью. Одновременно следует учитывать, что европейский подход складывается в условиях развитого социального государства. По этой причине основное внимание уделяется не только вопросам безопасности, но и мерам социальной поддержки, оказанию психологической помощи, а также воспитательной и профилактической работе с учащимися. В результате идеи межведомственной оценки угроз получили распространение и в европейской практике. Так, в Германии и странах Скандинавии реализуется ряд исследовательских и прикладных проектов, направленных на адаптацию технологий предупреждения угроз к специфике школьной среды [2].

Для государств Европы характерно также стремление учитывать собственные правовые и культурные особенности. В частности, более строгое регулирование оборота оружия объективно снижает вероятность совершения вооружённых нападений в образовательных учреждениях. Одновременно жёсткие требования законодательства в сфере защиты персональных данных и обеспечения конфиденциальности могут создавать определённые сложности при обмене информацией между образовательными организациями и правоохранительными органами. Кроме того, сравнительно небольшое количество подобных инцидентов ограничивает возможности для проведения масштабных исследований и накопления обширной статистической базы. В связи с этим европейские страны нередко обращаются к зарубежному опыту, прежде всего к американским разработкам, адаптируя их к собственным социальным условиям и существующим моделям предотвращения скулшутинга.

**Организационно-управленческие практики предотвращения скулшутинга: опыт США и Европы.** Детализация ключевых характеристик рассмотренных моделей, применяемых в США и европейских государствах, представлена в таблице 1<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Проведённый анализ основывается на ряде источников. Подробнее см. [1–4; 7–9; 22], а также материалы: Alathari L. [et al.]. Enhancing school safety using a threat assessment model: An operational guide for preventing targeted school violence. National Threat Assessment Center; 2018. URL: [https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/18\\_0711\\_USSS\\_NTAC-Enhancing-School-Safety-Guide.pdf](https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/18_0711_USSS_NTAC-Enhancing-School-Safety-Guide.pdf) (accessed: 15.03.2026); SchoolSafety.gov. An official website of the United States government. URL: <https://www.schoolsafety.gov> (accessed: 15.03.2026).

**Сравнительный анализ организационно-управленческих практик предотвращения  
скулуштинга в США и Европе**

Параметр	США	Европа (Германия, Финляндия, страны Скандинавии)	Сходства/Различия
<b>1. Исторический контекст и причины внедрения</b>	Высокая частота массовых нападений (с 1999 г.). Реакция ФБР: отказ от «профиля стрелка», внедрение проактивной оценки поведенческих индикаторов (Safe School Initiative).	Инциденты редки, но резонансны (Эрфурт-2002, Йокела и Каухайоки-2007/08). Реакция: точечные меры (законы об оружии, психосоциальная поддержка), оглядка на опыт США.	<b>Общее:</b> Толчок от трагедий. <b>Различия:</b> В США — системный и централизованный ответ (высокая частота нападений). В Европе — реакция «постфактум» и индивидуально, но с опорой на американский опыт.
<b>2. Принципы оценки угроз (проактивность, индивидуальный подход, дифференциация рисков и др.)</b>	Поведенческий метод: анализ предупреждающих сигналов («утечка замыслов»), отказ от профилирования. Риск оценивается контекстуально, угрозы ранжируются по степени серьёзности, избегая карательных крайностей.	Проактивная модель признана. Фокус на внутреннем кризисе стрелка, анализ индивидуальной траектории. Дифференциация угроз: спонтанное хвастовство отличается от заранее обдуманного намерения. Часто реализуется в рамках программ «поддержки/заботы», а не жёстких «оценок угроз».	<b>Общее:</b> Проактивность, отказ от единого профиля в пользу поведенческих маркеров, контекстный анализ. <b>Различия:</b> США формализовали градации риска раньше. Европа делает акцент на педагогической и психологической помощи (культурно «мягче»).
<b>3. Структура команд по оценке угроз</b>	В школах — штатные междисциплинарные группы (ВТАМ): администратор, психолог, учитель, закреплённый полицейский. Ядро — школа, привлечение внешних специалистов по необходимости.	Междисциплинарность есть, но полицейский не закреплён постоянно. Школьные психолого-педагогические команды при серьёзных угрозах организуют межведомственный консилиум с внешними структурами (полиция, психиатрия, соцслужбы).	<b>Общее:</b> Командная работа, объединение педагогов, психологов и полиции. <b>Различия:</b> США — внутренняя команда на месте. Европа — обращение к внешним экспертам.
<b>4. Алгоритмы реагирования и уровень риска</b>	Детализированные шкалы риска. Низкий уровень — это профилактика, беседа, урегулирование внутри школы (отказ от «нулевой терпимости»). Высокий — это усиление охраны, отстранение, немедленное информирование полиции. Принцип минимально достаточного вмешательства.	Изначально преобладала практика избыточного реагирования. Но опыт (в частности, Финляндия) показал, что тотальное информирование полиции ведёт к ложным тревогам. Эволюция к дифференциации: школа и психолог оценивают достоверность; низкий риск — воспитательные меры; высокий — полиция и психиатрическая экспертиза.	<b>Общее:</b> Отказ от нулевой терпимости, гибкое наращивание вмешательства (от беседы до уголовной ответственности). <b>Различия:</b> США имеют формализованные дробные алгоритмы. Европа — изначальная перестраховка, но сейчас модели сближаются.

Окончание таблицы 1

Параметр	США	Европа (Германия, Финляндия, страны Скандинавии)	Сходства/Различия
5. Система анонимных сообщений и вовлеченность сообщества	Разветвлённая инфраструктура: горячие линии, SMS, приложения (анонимно). Активные кампании против установки «не доносить». Формализованные каналы работают круглосуточно.	Слабо развиты специальные каналы. Упор на прямое обращение к учителям, психологам, полиции. Отдельные детские телефоны доверия (не только для угроз нападения). Культурные барьеры (Германия — «аллергия» к доношительству). Ставка на доверительные отношения и добровольное обращение за помощью.	<b>Общее:</b> Признание решающей роли сообщества (сверстников, родителей) в раннем выявлении угроз. <b>Различия:</b> США — технологически опосредованная анонимность. Европа — личный контакт и доверие без выделенного формального канала.

**Условия адаптации зарубежных организационно-управленческих практик в России.** Адаптация рассмотренных зарубежных практик к российским условиям требует учёта следующих институциональных факторов. Во-первых, правовые ограничения: действующее законодательство о персональных данных (152-ФЗ) и отсутствие аналога американского FERPA затрудняют обмен информацией между школой, психологическими службами и полицией. Во-вторых, кадровый дефицит: штатные психологи и социальные педагоги в большинстве российских школ перегружены, а обучение методикам поведенческой оценки угроз отсутствует. В-третьих, слабая межведомственная координация: комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки, подразделения по делам несовершеннолетних МВД и управления образованием действуют разрозненно. В-четвёртых, недоверие к анонимным каналам сообщений снижает эффективность системы раннего предупреждения. С учётом этих ограничений наиболее реалистичными элементами для первичной адаптации являются: отказ от профилирования и переход к поведенческой оценке (без копирования всех процедур ВТАМ), создание межведомственных команд, развитие просветительской работы среди учащихся и педагогов, а также пилотное тестирование анонимных чат-ботов с предварительным разъяснением гарантий конфиденциальности.

**Заключение.** Проведённый сравнительный анализ зарубежного опыта предотвращения скулшутинга позволяет сформулировать ряд обобщающих выводов.

Во-первых, становление современных систем предотвращения скулшутинга началось в Соединённых Штатах Америки в начале 2000-х годов и было связано с разработкой национальных методик поведенческой оценки угроз. Впоследствии указанные подходы получили распространение и были адаптированы в европейских странах. Для американской модели характерны выраженная проактивная направленность, широкое применение системы ВТАМ, наличие детально разработанных алгоритмов реагирования и чётких шкал оценки уровня риска [23]. В европейских государствах на первоначальном этапе преобладали более жёсткие и формализованные способы реагирования, однако в дальнейшем произошёл переход к более гибким моделям, основанным на использовании и адаптации американского опыта.

Во-вторых, несмотря на различия в исторических предпосылках, правовой системе и социальном контексте, американская и европейская модели имеют ряд

общих черт. К числу таких общих принципов относятся превентивная направленность деятельности по предотвращению инцидентов, системный характер принимаемых мер, межведомственное взаимодействие, а также использование мультидисциплинарного подхода при оценке угроз.

В-третьих, центральное место во всех рассматриваемых моделях занимает выявление и анализ поведенческих признаков, свидетельствующих о возможной угрозе. Существенным достижением современной практики стал отказ от попыток создать универсальный «портрет» потенциального правонарушителя. Вместо этого применяется дифференцированная система оценки, в рамках которой меры реагирования определяются в зависимости от степени риска и совокупности конкретных обстоятельств.

В-четвёртых, важнейшее значение имеет соблюдение разумного баланса между необходимостью обеспечения безопасности и обязанностью защищать права и законные интересы обучающихся. Современные модели основываются на индивидуальном подходе к каждой ситуации и предполагают обязательный учёт личностных, социальных и иных обстоятельств. Такой подход позволяет избежать чрезмерно репрессивных мер и одновременно обеспечить достаточный уровень защиты.

В-пятых, современные алгоритмы реагирования строятся по принципу постепенной эскалации вмешательства: от профилактических, воспитательных и психологических мер к привлечению правоохранительных органов в случаях, когда существует серьёзная и реальная угроза. В Соединённых Штатах Америки подобные процедуры, как правило, закреплены на нормативном уровне и подробно регламентированы.

В-шестых, дальнейшее развитие систем предотвращения скулшутинга во многом определяется достижениями научных исследований и внедрением современных технологических решений. Это позволяет формировать комплексный механизм предотвращения инцидентов, сочетающий индивидуальную работу с лицами группы риска и реализацию государственной политики в области общественной и образовательной безопасности.

В-седьмых, существенную роль в предотвращении инцидентов скулшутинга играет участие школьного сообщества. В американской модели данная задача решается преимущественно посредством развитой системы анонимных сообщений, включающей специальные горячие линии и цифровые платформы. В европейских странах основной акцент, напротив, делается на формирование атмосферы доверия, развитие личного взаимодействия и укрепление контактов между учащимися, педагогами и иными взрослыми.

Обобщение зарубежного опыта позволяет предложить следующие контуры концептуальной модели предотвращения скулшутинга в России, предусматривающей её реализацию через три взаимодополняющие схемы [2]:

1. Организационная модель структурирует деятельность субъектов управления по двум векторам реагирования на угрозы, объединяя горизонтальные и вертикальные связи четырёх подсистем: профилактики, выявления предупреждающих признаков, оценки угроз и оперативного реагирования, функционирующих на основе стандартизированных протоколов.
2. Модель управления определяет алгоритмы планирования, контроля и принятия решений, координируя взаимодействие субъектов через превентивные и оперативные меры.
3. Структурно-функциональная модель акцентирует процессы сбора данных, оценки угроз и реагирования, обеспечивая на выходе анализ эффективности системы и её последующую оптимизацию.

### Библиографический список / References

1. Oksanen A, Kaltiala-Heino R, Holkeri E. [et al] School shooting threats as a national phenomenon: Comparison of police reports and psychiatric reports in Finland. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*. 2015;16(2):145–159. DOI 10.1080/14043858.2015.1101823.
2. Березнев А. В. Организация и управление системой предотвращения инцидентов скулшутинга в России : дис... канд. социол. наук : 5.4.7 / Березнев Алексей Владимирович. Новочеркасск, 2025. 213 с.  
Bereznev A. V. Organization and Management of the System for Preventing School Shooting Incidents in Russia. Candidate Degree Thesis. Novocherkassk; 2025. (In Russ.).
3. Карпова А. Ю. Проактивная система предотвращения инцидентов скулшутинга: что имеет значение? // Наука. Культура. Общество. 2024. Т. 30, № 2. С. 83–98. DOI 10.19181/nko.2024.30.2.6. EDN AKJJCW.  
Karpova A. Y. A proactive schoolshooting incident prevention system: what matters? *Science. Culture. Society*. 2024;30(2):83–98. (In Russ.). DOI 10.19181/nko.2024.30.2.6.
4. Maryland's Model Policy for Behavior Threat Assessment (2018) Available at: <https://marylandpublicschools.org/about/Documents/DSFSS/SSSP/2018-19MDModelAssessmentGuidelines.pdf> (accessed: 15.03.2026).
5. Карпова А. Ю., Савельев А. О. Тенденции динамики развития исследований феномена радикализации: наукометрический анализ // Социологическая наука и социальная практика. 2024. Т. 12, № 3. С. 76–107. DOI 10.19181/snsp.2024.12.3.4. EDN CRUYYN.  
Karpova A. Y., Savelev A. O. Trends in the dynamics of radicalization phenomenon researches: scientometric analysis. *Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika*. 2024;12(3):76–107. (In Russ.). DOI 10.19181/snsp.2024.12.3.4.
6. Beckett L. “No Notoriety”: the campaign to focus on shooting victims, not killers. *The Guardian*. 07.07.2018. Available at: <https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/07/no-notoriety-media-focus-victims-shooter> (accessed: 15.03.2026).
7. Seaward A., Marchment Z., Gill P. A Directory of Threat Assessment Models // The National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center (NCITE). 2024. Available at: <https://digitalcommons.unomaha.edu/ncitereportsresearch/80> (accessed: 15.03.2026).
8. Cornell D, Sheras P. Guidelines for responding to student threats of violence SoprisWest; 2006. ISBN 978-1593185022.
9. School Safety and Crisis. Behavioral Threat Assessment and Management (BTAM): Best Practice Considerations for K-12 Schools. 27.07.2022. Available at: <https://www.superintendents.ms/virtuallibrary/naspthreatassessmentk12schools.pdf> (accessed: 15.03.2026).
10. Brundin J. Students made the highest number of reports in Safe2Tell's history last school year. 12.11.2024. Available at: <https://www.cpr.org/2024/11/12/highest-reports-safe2tell-history-2023-2024-school-year/> (accessed: 15.03.2026).
11. Threat Assessment and Management Teams. Available at: <https://www.schoolsafety.gov/resource/threat-assessment-and-management-teams> (accessed: 15.03.2026).
12. Hofmann D. C. How “Alone” are Lone-Actors? Exploring the Ideological, Signaling, and Support Networks of Lone-Actor Terrorists. *Studies in Conflict & Terrorism*. 2018;43(7):657–678. DOI 10.1080/1057610X.2018.1493833.
13. Holt T. J., Freilich J. D., Chermak S. M. Examining the Online Expression of Ideology among Far-Right Extremist Forum Users. *Terrorism and Political Violence*. 2022;34(2):364–384. DOI 10.1080/09546553.2019.1701446. EDN WZFVYI.
14. Kostinsky S., Bixler E., Kettl P. Threats of School Violence in Pennsylvania after Media Coverage of the Columbine High School Massacre. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*. 2001;155(9):994–1001. DOI 10.1001/archpedi.155.9.994.
15. Langman P. School Shooters: Understanding High School, College, and Adult Perpetrators. Lanham: Rowman & Littlefield; 2015. DOI 10.5771/9781442233577.
16. Langman P. A Bio-Psycho-Social Model of School Shooters // The Journal of Campus Behavioral Intervention. 2017;5:27–34. DOI 10.64247/877691.
17. Langman P. Different Types of Role Model Influence and Fame Seeking among Mass Killers and Copycat Offenders. *American Behavioral Scientist*. 2018;62(2):210–228. DOI 10.1177/0002764217739663.
18. Girgis R. R., Hesson H., Brucato G. [et al.] Changes in Rates of Suicide by Mass Shooters, 1980–2019. *Archives of Suicide Research*, 2025;29(1),317–326. DOI 10.1080/13811118.2024.2345166.
19. Lankford A., Silva Ja. R. Similarities between Copycat Mass Shooters and Their Role Models: An Empirical Analysis with Implications for Threat Assessment and Violence Prevention. *Journal of Criminal Justice*. 2024;95:102316. DOI 10.1016/j.jcrimjus.2024.102316. EDN SMVXBM.

20. Malthaner S., Lindekilde L. Analyzing Pathways of Lone-Actor Radicalization: A Relational Approach. In: Stohl M., Burchill R., Englund S. H. (eds) *Constructions of Terrorism: An Interdisciplinary Approach to Research and Policy*. Berkeley: University of California Press; 2017. P. 163–180. DOI [10.1525/9780520967397-014](https://doi.org/10.1525/9780520967397-014).
21. Schuurman B., Lindekilde L., Malthaner S. [et al.] End of the Lone Wolf: The Typology that Should Not Have Been. *Studies in Conflict & Terrorism*. 2019;42(8):771–778. DOI [10.1080/1057610X.2017.1419554](https://doi.org/10.1080/1057610X.2017.1419554).
22. Katsiyannis A., Whitford D. K., Ennis R. P. Historical examination of United States intentional mass school shootings in the 20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> centuries: Implications for students, schools, and society. *Journal of Child and Family Studies*. 2018;27(8):2562–2573. DOI [10.1007/s10826-018-1096-2](https://doi.org/10.1007/s10826-018-1096-2).
23. Towers S., Gomez-Lievano A., Khan M. [et al.] Contagion in Mass Killings and School Shootings. *PLoS ONE*. 2015;10(7):e0117259. DOI [10.1371/journal.pone.0117259](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117259).

Поступила: 27.04.2026. Доработана: 20.05.2026. Принята: 29.05.2026.

**Сведения об авторе:**

**Березнев Алексей Владимирович**, кандидат социологических наук,  
заместитель начальника кафедры физической подготовки,  
Воронежский институт МВД России. Воронеж, Россия. [ber132007@yandex.ru](mailto:ber132007@yandex.ru)  
Author ID РИНЦ: 690950; ORCID: 0000-0001-9139-5391

**A. V. Bereznev<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Voronezh, Russia

## FOREIGN ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL PRACTICES FOR PREVENTING SCHOOL SHOOTINGS

**Abstract.** The article is devoted to the analysis and systematization of foreign experience in order to identify organizational and managerial practices for preventing schoolshooting, applicable for adaptation in Russian conditions. The research methodology is based on a comparative analysis of scientific literature, official reports (the FBI, the US Secret Service) and regulatory documents regulating the prevention of armed attacks in educational institutions in the United States and European countries. It has been established that modern prevention systems are based on the rejection of an ineffective “zero tolerance” policy in favor of a proactive model of behavioral threat assessment, the key elements of which are multidisciplinary teams, differentiation of threats by degree of risk, an individual approach and a focus on identifying “information leaks”. The similarities and differences in the implementation of these principles due to cultural and legal peculiarities are revealed. The American model is characterized by greater formalization and a well-developed infrastructure of anonymous messages, while the European one focuses on social support and interdepartmental interaction. It is concluded that the most effective foreign practices, including the rejection of profiling, the development of inter-agency cooperation and the engagement of the school community, can be adapted to create a comprehensive system for preventing schoolshooting in the Russian Federation.

**Keywords:** schoolshooting, prevention of violence in schools, behavioral threat assessment, foreign experience, school safety, risk management, USA, Europe, organizational and managerial practices

**For citation:** Bereznev A. V. Foreign organizational and managerial practices for preventing school shootings. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):55–66. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.4>

Received: 27.04.2026. Corrected: 20.05.2026. Accepted: 29.05.2026.

**Author information:**

**Alexey V. Bereznev**, Candidate of Sociology,  
Deputy Head of the Department of Physical Training, Voronezh Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia. Voronezh, Russia. [ber132007@yandex.ru](mailto:ber132007@yandex.ru)  
ORCID: 0000-0001-9139-5391



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.5](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.5)  
EDN [BUBPOE](https://edn.bubpoe.ru)  
УДК 316.624:911.3



Е. Е. Демидова<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Москва, Россия

## СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОЙ ДЕВИАНТНОСТИ: УБИЙСТВА И САМОУБИЙСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

**Аннотация.** В статье рассматриваются теоретико-методологические основания социологического анализа пространственного распределения летальных форм социальной агрессии. Исследование направлено на разработку аналитической рамки для изучения территориальной дифференциации авитальных девиаций на пересечении социологии девиантного поведения, криминологии, суицидологии, психологии и общественной географии. В рамках социологического подхода обосновывается возможность аналитического сближения понятий «социальная агрессия» и «социальное насилие» как форм деструктивного взаимодействия внутри общественной системы, получающих оценку через систему социальных норм. К предельным проявлениям социальной агрессии отнесены умышленные убийства и самоубийства, рассматриваемые как летальная гетероагрессия и предельная аутоагрессия. Эти явления различаются по направленности действия, социальным механизмам, культурной интерпретации и особенностям статистического учёта, однако сопоставимы по тяжести последствий и связи с нарушением жизнеспасающей нормы. На основе исторических и современных статистических данных выявлены значительные территориальные различия в распределении убийств и самоубийств. Показано, что соотношение этих форм летальной девиантности носит нелинейный характер и не сводится к универсальной прямой или обратной зависимости.

**Ключевые слова:** социология девиантности, социальная агрессия, социальное насилие, экстраагрессия, авитальные девиации, умышленные убийства, самоубийства, гетероагрессия, аутоагрессия, пространственное распределение, общественная география

**Для цитирования:** Демидова Е. Е. Социологический анализ пространственного распределения летальной девиантности: убийства и самоубийства в глобальном измерении // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 67–85. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.5](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.5). EDN [BUBPOE](https://edn.bubpoe.ru).

**Благодарность:** Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М. В. Ломоносова «Полимасштабные эффекты современных вызовов в социально-экономическом и политическом развитии стран мира».

**Введение.** По образному выражению Л. Берковица, агрессия и насилие относятся к явлениям, которые «подтачивают здание нашего общества» [1]. Они выступают важными индикаторами состояния социальной системы, поскольку затрагивают базовые нормы человеческого сосуществования, границы допустимого поведения и механизмы социального контроля.

Проблематика деструктивного поведения традиционно находится в фокусе внимания социологии, девиантологии, криминологии и психологии, однако территориальный аспект долгое время оставался на периферии отечественного научного поля. Пространственное распределение летальных форм агрессии часто рассматривается преимущественно описательно — через фиксацию страновых

и региональных различий, тогда как его социологическая интерпретация требует обращения к нормам, институтам, социальной дезорганизации и характеру социальных связей.

В данной работе агрессия рассматривается как социальное явление, крайние проявления которого могут быть описаны через их пространственное распределение. Автор не ставит задачу дать исчерпывающую теорию агрессии или представить полный обзор всех существующих подходов. Для целей исследования важнее выделить те понятия и методические решения, которые позволяют анализировать территориальную дифференциацию летальных форм девиантности.

В центре внимания находятся убийства и самоубийства как предельные формы авитальной девиантности. Они различаются по направленности действия: в первом случае агрессия обращена на другого человека, во втором — на самого субъекта. При этом оба явления сопоставимы по предельности последствий и могут рассматриваться внутри общей рамки социальной деструкции. Их соотношение в статье описывается через идею «клапанного» взаимодействия: в зависимости от состояния социальной среды, норм, институтов и характера социальных связей деструктивное напряжение может направляться вовне, принимая форму гетероагрессии, или внутрь, проявляясь как аутоагрессия.

Социологическая проблема исследования состоит в преодолении фрагментарного рассмотрения убийств и самоубийств как обособленных девиаций и в обосновании единой аналитической рамки, позволяющей сопоставлять их как разные векторы летальной экстраагрессии. Цель статьи — рассмотреть летальные формы агрессии как взаимосвязанные проявления деструкции внутри общественной системы, имеющие различную пространственную выраженность и связанные с состоянием социальных норм, институтов и социальных связей.

**Материалы и методы исследования.** Настоящее исследование носит преимущественно теоретико-методологический характер и дополняется эмпирической иллюстрацией пространственного распределения летальных форм девиантности. Методическую основу работы составляют концептуальный анализ, сравнительно-теоретический анализ научных подходов к изучению агрессии и насилия, вторичный анализ официальных статистических данных, а также картографическая визуализация. Концептуальный анализ использован для уточнения содержания понятий «агрессия», «социальная агрессия», «насилие», «гетероагрессия», «аутоагрессия» и «авитальные девиации», а также для обоснования возможности рассмотрения убийств и самоубийств в единой рамке летальной девиантности. Сравнительно-теоретический анализ направлен на сопоставление биологических, психологических и социологических подходов к объяснению агрессии и выделение оснований, значимых для пространственного анализа её крайних форм.

Эмпирическая часть исследования основана на вторичном анализе официальных статистических баз и глобальных отчётов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). На их основе подготовлены картографические материалы, отражающие субрегиональное распределение преднамеренных убийств и самоубийств, а также страновую дифференциацию суицидальности<sup>1</sup>. Используются абсолютные пока-

<sup>1</sup> Визуализация рисунков 1–2 выполнена С. Е. Яицким, студентом 4 курса кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

затели и коэффициенты, рассчитанные на 100 тыс. человек. Первые позволяют оценить вклад регионов и субрегионов в глобальный объём летальной девиантности, вторые — интенсивность летальной гетеро- и аутоагрессии. Для субрегионального анализа использованы усреднённые данные за 2020–2023 гг. Страновая дифференциация суицидальности рассматривается по данным ВОЗ, относящимся к началу 2020-х гг.; картографическое отображение страновых коэффициентов выполнено за 2020–2022 гг. Статистические данные не используются для построения причинно-следственных моделей; их задача состоит в выявлении и визуализации территориальной дифференциации летальных форм социальной агрессии на глобальном, макрорегиональном и страновом уровнях, социологической интерпретации пространственных различий и постановке дальнейших исследовательских вопросов в рамках социологии пространства и девиантологии.

**Подходы к определению агрессии и основные концепции.** Термин «агрессия» имеет латинские корни: *aggressio* означает «нападение», а *aggredi* восходит к *adgradi* (*gradus* — «шаг», *ad* — «на»). Буквально он означает «двигаться на...», «наступать», что уже задаёт образ наступательного движения. Термин «агрессия» употреблялся и продолжает употребляться в отношении широкого спектра научных и прикладных явлений. Единого общепринятого определения этого явления пока не сложилось [1].

Первые научные подходы к агрессии во многом основывались на её понимании как инстинктивного поведения и рассматривали человека в ряду биологических видов. В этом ракурсе анализировались эмоции агрессивного ряда у Ч. Дарвина, социодарвинистские трактовки агрессии и концепция К. Лоренца, определявшего её как «инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду, у животных и у человека» [2; 3]. Вместе с тем человеческая агрессивность выходит за пределы ситуаций биологического выживания и внутривидовой конкуренции, поэтому её источник следует рассматривать как в природных, так и в социальных основаниях поведения [4].

Психоаналитическая традиция, представленная работами З. Фрейда, Э. Фромма и Э. Сторра, рассматривала агрессию через внутреннее напряжение между жизненными и разрушительными импульсами, а также через различие защитных и деструктивных её форм [5; 6; 7]. В рамках этой линии агрессия может быть направлена как вовне, на другого человека или социальную среду, так и внутрь, на самого субъекта, достигая предельного выражения в самодеструкции и суициде. Расширительное понимание агрессии как настойчивости, боевого азарта или способности к преодолению препятствий фактически сближает её с ассертивностью. Для настоящего исследования такое расширение методически нежелательно, поскольку размывает границу между активностью и деструктивным поведением, связанным с намеренным причинением вреда.

В дальнейшем исследовательский фокус сместился от трактовки агрессии как проявления инстинктов и эмоций к её анализу как формы поведения. В бихевиористских концепциях А. Басса и А. Бандуры агрессия понимается как поведение, направленное на причинение вреда другому человеку [8; 9], а последующие фрустрационные, когнитивные, социально-когнитивные и интеракционистские модели расширили представления о механизмах её формирования. В настоящей работе агрессия рассматривается как социально обусловленное поведение, связанное с нормами, институтами, характером социальных связей и допустимыми формами причинения вреда.

**Соотношение понятий «агрессия» и «насилие».** В Большой российской энциклопедии агрессия определяется как «мотивированное деструктивное поведение, направленное на нанесение вреда объектам нападения» [10]. В этом смысле термин «агрессия» семантически сближается с понятием «насилие», которое также связано с преднамеренным причинением физического, психологического или иного ущерба. В научной литературе данные понятия нередко употребляются как взаимозаменяемые, что характерно как для зарубежных [11, р. 11–28; 12; 13; 14], так и для отечественных [15] исследований. Близкий подход представлен и в документах ВОЗ, где насилие трактуется через преднамеренное применение силы или власти, способное привести к телесным повреждениям, смерти, психологической травме или иному ущербу [16].

При этом насилие является социально конструируемым феноменом, существующим в общественной среде и оцениваемым через систему социальных норм. В этом смысле значимо проводимое Я. И. Гилинским разграничение между агрессией животных и насилием людей [4; 17]. Для целей настоящего исследования следует различать агрессию животных как естественный механизм взаимодействия внутри биологической системы и социальную агрессию как нормативно оцениваемый механизм взаимодействия внутри общественной системы. Поэтому в рамках социологического и социогеографического анализа представляется обоснованным аналитическое сближение понятий социальной агрессии и социального насилия.

**Социальная агрессия в контексте общественной нормы и девиаций.** Одно из самых ёмких и часто используемых в научной литературе определений агрессии принадлежит Л. Берковицу. Под этой категорией он понимал «любую форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то физический или психологический ущерб» [1]. Важнейшим признаком агрессии в таком понимании выступает не просто наличие негативных последствий, а целенаправленное причинение вреда. Однако в этой связи возникает вопрос о критериях «вредоносности». На основании чего можно оценивать причинённый вред и его социальную значимость? Эту задачу попытались разрешить представители французско-голландской школы Дж. де Глория и Р. де Риддер [18], предложившие два критерия агрессии: 1) наличие губительных для жертвы последствий; 2) нарушение нормы поведения. Последнее имеет особое значение, поскольку соотносит проявление агрессии с социальными нормами — морально-этическими и/или правовыми. В этом смысле агрессия и насилие могут быть отнесены к категории общественных девиаций.

Социальные девиации проявляются как на уровне отдельной личности, так и на уровне общества. Я. И. Гилинский определяет девиантное поведение как поступок или действие, не соответствующее официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям [19]. При массовом и устойчивом воспроизводстве во времени и пространстве девиация выходит за пределы индивидуального поведения и приобретает характер социального явления. Именно к этой категории следует относить социальную агрессию и насилие. Их предельные формы, приводящие к смерти объекта девиации в случае убийства или субъекта действия в случае суицида, могут быть определены как авитальные девиации.

В рамках настоящей статьи для обозначения предельных, летальных форм социальной агрессии используется понятие экстраагрессии. Под экстраагрес-

сией понимается крайнее проявление социальной агрессии, связанное с намеренным причинением смерти другому человеку или самому субъекту действия. В этом смысле экстраагрессия объединяет два вектора авитальной девиантности: гетероагрессию, выраженную в умышленном убийстве, и аутоагрессию, предельной формой которой выступает самоубийство. Такое рабочее определение позволяет рассматривать убийства и самоубийства в единой аналитической рамке. В отличие от более широких категорий «смертность от внешних причин» и «насильственная смертность», понятие «экстраагрессия» акцентирует направленность деструктивного действия — вовне или на самого субъекта, сохраняя различие между социальными механизмами, нормативной оценкой и особенностями статистической регистрации этих явлений.

При включении критерия социальной нормы в анализ агрессии и насилия необходимо учитывать её историческую и культурную изменчивость. В отличие от физических или биологических систем, социальные нормы не обладают абсолютной объективностью. Дж. Курра отмечает, что границы между нормативным поведением и девиацией подвижны и зависят от конкретного социального порядка [20]. Даже летальная экстраагрессия, несмотря на объективность финального исхода, получает различную нормативную оценку в зависимости от исторической ситуации, культурной традиции и институционального контекста.

Вопрос о существовании общечеловеческих норм также не решается однозначно. Если человеческая жизнь рассматривается как высшая ценность, то запрет убийства кажется универсальным. Однако в ситуации войны, кровной мести или исполнения смертного приговора нормативная оценка лишения жизни может меняться. П. А. Сорокин в работе «Преступление и кара» показывал, что одно и то же явление в разных культурно-нормативных системах может оцениваться противоположным образом [21]. Следовательно, социальная норма выражает исторически сложившиеся пределы допустимого или обязательного поведения, а летальные формы агрессии должны рассматриваться не только как факты причинения смерти, но и как явления, получающие конкретную нормативную, правовую и культурную интерпретацию.

**Гетероагрессия и аутоагрессия как векторы агрессивного действия.** Несмотря на распространённое понимание агрессии как поведения, направленного на причинение вреда другому человеку, стремящемуся избежать такого воздействия [22, с. 30], в исследованиях аутоагрессивного поведения отмечается, что субъект и объект агрессивного действия могут совпадать [23]. Тем самым агрессия может проявляться не только как внешненаправленное действие, но и как форма самодеструкции. В этом контексте гетероагрессия обозначает направленность деструктивного действия на другого человека, а аутоагрессия — его обращённость на самого субъекта; предельным выражением последней выступает суицидальный акт [24].

В ряде исследований отмечается связь аутоагрессии с агрессией, направленной вовне: она рассматривается как форма трансформации агрессивного напряжения, отличающаяся прежде всего направленностью действия [25; 26]. Механизмы гетеро- и аутоагрессии не тождественны, однако между ними существует содержательная соотнесённость. Гетероагрессия и аутоагрессия могут быть описаны через модель «клапанного взаимодействия», при котором сформировавшееся агрессивное поведение направляется либо на окружающих, либо на самого субъекта [26].

Дополнительное значение для настоящей темы имеет понятие криминальной аутоагрессии, под которой Д. В. Жмуров понимает действия, направленные на лишение себя жизни и одновременно причиняющие вред окружающим [27, с. 46]. В этом случае суицид может выступать как самостоятельная цель либо как средство достижения иных целей; примером последнего является террористический акт с участием террориста-смертника.

**Пространственное распределение летальной экстраагрессии.** По данным ВОЗ, в глобальном масштабе число самоубийств значительно превышает количество убийств. Ежегодно в мире в результате суицида погибает более 720 тыс. человек<sup>2</sup>, тогда как от преднамеренных убийств, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2021 г. погибло около 458 тыс. человек<sup>3</sup>. Таким образом, добровольный уход из жизни остаётся более распространённой причиной смерти, чем внешнее межличностное насилие. При этом проявление экстраагрессии имеет выраженную географическую дифференциацию, на которую обращал внимание ещё Э. Дюркгейм, указывая, что «процент самоубийств, почти не изменяясь по годам, удваивается, утраивается, учетверяется и т.д. при переходе из одной страны в другую» [28].

**Экстраагрессия в исторической ретроспективе.** Изучение экстрадевиаций как массового социального явления стало возможным лишь благодаря формированию институтов государственной статистики в Западной Европе. До середины XVIII века учёт случаев как преднамеренных убийств, так и добровольного ухода из жизни носил фрагментарный характер и преимущественно отражался в церковных метрических книгах или судебных хрониках, в которых фиксация данных фактов во многом зависела от религиозных и правовых догм конкретного региона.

Исторический анализ показывает, что динамика насилия в западной цивилизации развивалась по принципу «сообщающихся сосудов». По мере усложнения и укрепления государственных и общественных институтов вектор агрессии смещался с внешнего (убийства) на внутренний (самоубийства). Данный феномен может быть рассмотрен через концепцию «процесса цивилизации» Н. Элиаса: развитие государственности, правопорядка и механизмов социального контроля сопровождалось усилением самоконтроля и сдерживанием спонтанных импульсов гетероагрессии [29]. В такой интерпретации снижение внешнего насилия связано с более широким процессом институционального и личностного контроля, при котором деструктивное напряжение не исчезает полностью, а частично «капсулируется» и переносится во внутренний план.

Сравнительный анализ уровня преднамеренных убийств и суицидов в европейских государствах на этапе их индустриального перехода (XVIII–XIX вв.) выявляет существенную региональную дифференциацию и позволяет выделить три основные модели соотношения векторов летальной экстраагрессии.

К модели *институционального контроля* можно отнести страны с наиболее выраженным разрывом между снижающейся гетероагрессией и повышающейся

<sup>2</sup> Самоубийство // ВОЗ. 25.03.2025. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide> (дата обращения: 19.04.2026).

<sup>3</sup> Global Study on Homicide 2023. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023. URL: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/Global\\_study\\_on\\_homicide\\_2023\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/Global_study_on_homicide_2023_web.pdf) (accessed: 19.04.2026).

аутоагрессией. В эту группу входят общества, в которых укрепление правопорядка, развитие судебных институтов и постепенная монополизация насилия государством сопровождались заметным снижением летального межличностного насилия. Так, Англия к концу XIX в. выступала почти эталоном безопасного в криминогенном отношении пространства. Если в позднесредневековый период уровень убийств в отдельных городах достигал десятков случаев на 100 тыс. населения, то к концу XIX века он стабилизировался на уровне менее 2 случаев [30]. В то же время показатели самоубийств в Англии и Уэльсе оставались заметно выше и составляли около 6–7 случаев на 100 тыс. человек [28]. Ещё более контрастная ситуация фиксировалась в ряде стран Западной и Центральной Европы, где снижение внешнего насилия сочеталось с высокой суицидальной активностью, особенно в протестантских и индустриализированных регионах. Так, в Саксонии коэффициент самоубийств превышал 30 случаев на 100 тыс. населения, превосходя уровень умышленных убийств более чем в 30 раз, что характеризует тип урбанизированного индустриального общества с жёстким правопорядком, где индивид, лишённый традиционной общинной поддержки, оказывается уязвим перед кризисами модернизации [28]. В этой модели укрепление правопорядка привело к практически полному вытеснению внешней агрессии механизмами социального и внутреннего самоконтроля.

На другом полюсе находится *традиционно-общинная модель*, характерная для стран Южной Европы, в частности Италии. Здесь дольше сохранялось влияние патриархальных, религиозных и локально-общинных связей, а также кодов межличностной и клановой чести. Уровень умышленных убийств, хотя и снижался по сравнению со средневековыми пиковыми значениями, к концу XIX века оставался более высоким по общеевропейским меркам, чем в странах Северо-Западной Европы [30]. Одновременно в южноевропейских католических обществах регистрировались сравнительно низкие показатели суицидальности — около 3–4 случаев на 100 тыс. населения [28]. Вероятно, высокая степень коллективной интеграции, связанная с патриархальной семьёй, религиозной общиной и локальными социальными связями, снижала риски индивидуальной аномии и суицида, но могла сохранять условия для острых межличностных конфликтов с тяжёлым исходом.

Срединное положение занимает *модель структурной трансформации*, присущая странам Северной и Западной Европы. Скандинавский регион, в частности Швеция и Дания, представляет собой пример постепенной смены вектора летальной девиантности. В раннее Новое время отдельные шведские городские центры демонстрировали сверхвысокий уровень криминального насилия. Например, до 80 убийств на 100 тыс. населения в столичном округе Стокгольма и 90–125 в малых городах, таких как Вадстена и Арбуга. Однако последующее развитие государственных институтов и систем социального контроля привело к его последовательному снижению [30].

Согласно материалам шведского института статистики Tabellverket<sup>4</sup>, в Швеции фиксировался долгосрочный рост смертности от аутоагрессии. Исторические исследования показывают, что уровень самоубийств увеличился примерно с 2 случаев на 100 тыс. населения в середине XVIII века до 20 случаев в 1971–1975 гг. [31]. Ещё более выраженная инверсия наблюдалась в Дании, в которой

<sup>4</sup> The Tabellverket database: [historical demographic database] // Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR). Umeå University. URL: <https://www.umu.se/en/centre-for-demographic-and-ageing-research/infrastructure-at-cedar/open-data/tabverk-on-the-web/> (accessed: 19.04.2026).

уровень самоубийств был наиболее высоким в Европе и достигал 23–25 случаев на 100 тыс. жителей [28]. Таким образом, в североευропейской модели особенно заметен *инверсионный перелом структуры летальной девиантности*. Доминировавшая ранее гетероагрессия постепенно уступала место аутодеструктивным формам авитального поведения.

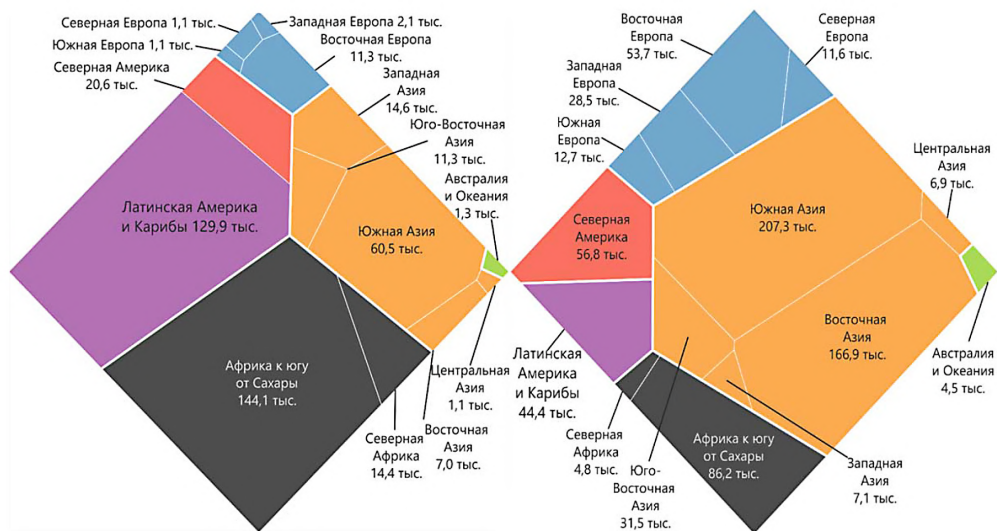
Перед переходом к современной глобальной статистике необходима методическая оговорка. При работе с ранними историческими данными исследователи неизбежно сталкиваются с проблемой латентности, особенно в отношении учёта суицидов. В конце XIX — начале XX вв. из-за религиозного осуждения и правовых последствий для семей погибших часть самоубийств могла скрываться или классифицироваться как несчастные случаи: «смерть от неосторожности», «отравление неизвестным веществом», «утопление». Тем не менее именно эти статистические массивы, несмотря на неполноту и различия процедур учёта, стали основой для последующего формирования международных подходов к регистрации насильственной смертности.

В XX веке сведения о глобальном уровне летальной гетеро- и аутоагрессии всё ещё оставались разрозненными из-за различий в источниках данных, сроках учёта, правовых определениях убийства, медицинской регистрации причин смерти и качестве национальной отчётности. Ситуация заметно изменилась в 2010-х гг., когда доклады УНП ООН и ВОЗ систематизировали данные о глобальной насильственной смертности и сделали возможным более точное сопоставление показателей убийств и самоубийств на макрорегиональном уровне. Так, доклад УНП ООН «Глобальное исследование по проблемам убийств-2011»<sup>5</sup> сформировал базу данных по числу и коэффициенту убийств для более чем 200 государств, оценив число преднамеренных убийств в мире в 2010 г. примерно в 468 тыс. случаев, а среднемировой коэффициент — в 6,9 случая на 100 тыс. населения. В докладе ВОЗ «Предотвращение самоубийств: глобальный императив»<sup>6</sup> были стандартизированы показатели по 172 государствам. В 2012 г. число самоубийств оценивалось примерно в 804 тыс. случаев, а глобальный возраст-стандартизированный коэффициент — в 11,4 случая на 100 тыс. населения. Несмотря на различия в годах и процедурах статистического учёта, эти оценки показывали, что число смертей в результате самоубийств заметно превышало число преднамеренных убийств. Данные начала 2020-х гг. свидетельствуют о сохранении значительного общего объёма летальной экстраагрессии при изменении её страновой и региональной структуры.

**Современная субрегиональная структура летальной экстраагрессии.** Анализ «географии насильственной смертности» целесообразно начать с рассмотрения абсолютного числа убийств и самоубийств на уровне субрегионов мира за 2020–2023 гг. (рис. 1). Эти показатели помогают оценить вклад отдельных макрорегионов и субрегионов в глобальный объём летальной девиантности, но не интенсивность суицидального риска. Понимание интенсивности проявления гетеро- и аутоагрессии требует обращения к относительным показателям, рассчитанным на 100 тыс. населения.

<sup>5</sup> Global Study on Homicide 2011: Trends, Contexts, Data. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2011. 130 p. URL: [https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Crime\\_Statistics/Global\\_Study\\_on\\_Homicide\\_2011.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Crime_Statistics/Global_Study_on_Homicide_2011.pdf) (accessed: 19.04.2026).

<sup>6</sup> Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization, 2014. 89 p. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779> (accessed: 19.04.2026).



**Рисунок 1. Субрегиональное распределение среднегодового числа преднамеренных убийств и самоубийств в мире в 2020–2023 гг., тыс. человек**

Источник: выполнено С. Е. Яицким по данным УНП ООН и ВОЗ.

Подавляющее большинство умышленных убийств в мире (свыше 90%) приходится на макрорегиональную триаду Африка — Латино-Карибская Америка — Азия. При этом основной вклад дают первые два региона. Особенно выраженная диспропорция фиксируется в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. При доле населения около 8% от общемирового этот регион даёт более трети глобального числа умышленных убийств. Азия демонстрирует обратное соотношение: при доле около 60% населения Земли на неё приходится лишь около 22% преднамеренных убийств. Следовательно, пространственное распределение летальной гетероагрессии не может объясняться только численностью населения.

Субрегиональный анализ демонстрирует глубокую внутреннюю дифференциацию в степени проявления **летальной гетероагрессии**. Наиболее острый пространственный контраст фиксируется в Африке, где наглядно виден разрыв между северной частью континента и странами к югу от Сахары (на долю последних приходится 90% региональных убийств). Эта диспропорция может быть связана с различиями в устойчивости государственных институтов, уровне конфликтности, экономической депривации и качестве социального контроля.

В Азии отмечается более сглаженное центр-периферийное распределение преднамеренных убийств: от абсолютного «ядра» Южной Азии, на которое приходится более 60% убийств в макрорегионе, через умеренные показатели Западной и Юго-Восточной Азии (10–15%) к минимальным значениям в Восточной и Центральной Азии. Эта структура может быть связана с сочетанием демографических, социально-экономических и геополитических факторов, включая плотность населения, уровень доходов и региональные конфликты.

Европа также демонстрирует выраженную пространственную асимметрию, просматриваемую, однако, на общем фоне низких показателей гетероагрессии. Здесь выделяются две противоположные зоны по уровню криминогенной

обстановки. В Западной, Северной и Южной Европе фиксируются минимальные показатели умышленных убийств (в совокупности на эти страны приходится всего 1% от общемирового числа). Напротив, Восточная Европа образует обособленную группу с повышенной концентрацией тяжкого насилия. В этом контексте восточноевропейский субрегион стал исключением из «регионального правила». Постсоциалистическое наследие сближает его, скорее, со странами-бывшими республиками СССР, нежели остальной Европой.

Особое положение занимает Северная Америка<sup>7</sup>, где в 2010-е гг. фиксировался рост числа преднамеренных убийств, прежде всего за счёт ситуации в США. Это делает североамериканский субрегион одним из заметных центров летальной гетероагрессии среди развитых стран.

Отличительная черта **летальной аутоагрессии** — высокая территориальная концентрация. Азия выступает абсолютным пространственно-географическим ядром, на которое приходится около 60% глобального числа суицидов. Однако внутри макрорегиона, как и в случае преднамеренных убийств, наблюдается резкая дифференциация «центр — периферия», но уже с иным «субрегиональным рисунком». Так, Южная и Восточная Азия формируют крупный пространственный кластер, где происходит более половины мирового числа самоубийств. Юго-Восточная Азия выполняет роль переходной зоны, уступая лидерам в 5–6 раз. Западная и Центральная Азия демонстрируют минимальные значения. В Африке фиксируется выраженная географическая асимметрия по линии «Север — Юг». Африка южнее Сахары занимает третье место в мире среди всех субрегионов, формируя самостоятельный узел концентрации самоубийств. На этом фоне вклад арабской Северной Африки остаётся минимальным.

Европа демонстрирует структуру, противоположную привычной геоэкономической карте мира. Восточная Европа резко доминирует в макрорегионе, концентрируя более 50% общеевропейского «объёма» суицидов. Западная Европа сохраняет значимый вес, в то время как периферийные субрегионы — Южная и Северная Европа — с позиции абсолютных показателей имеют второстепенное значение, как на региональном, так и глобальном фоне. Западное полушарие характеризуется относительным балансом между двумя крупными историко-географическими областями: Северной и Южной Америкой. Североамериканский субрегион выступает в качестве одного из ведущих мировых эпицентров самоубийств, сопоставимого по масштабам с Восточной Европой. Латино-Карибская Америка лишь незначительно уступает северному соседу, что указывает на значимый вклад западного полушария в глобальный массив суицидальных смертей. Роль Австралии и Океании традиционно невелика.

Таким образом, сравнительный анализ субрегиональной структуры насильственной смертности выявляет сложное, вариативное территориальное соотношение между умышленными убийствами и суицидами.

Проблема нелинейного соотношения гетеро- и аутоагрессии была рассмотрена ещё в XIX веке Э. Дюркгеймом в его классической работе «Самоубийство: социологический этюд», в которой он, вопреки существующей на тот момент научной социологической традиции, указывает на отсутствие универсальной связи между данными видами экстремальной девиантности. По мнению Дюр-

<sup>7</sup> Состоящая, по сути, всего из двух государств: США и Канады, так как Мексика относится к группе латиноамериканских стран.

кгейма, «...истина заключается в том, что здесь нет ни прямого, ни обратного отношения... Если в некоторых случаях оба явления уживаются друг с другом, по крайней мере, отчасти, то в других они находятся в явном антагонизме...» [28]. Пространственный анализ современных статистических данных согласуется с тезисом о подвижности соотношения между убийством и самоубийством в зависимости от преобладающего типа дезорганизации социальной структуры.

В контексте дюркгеймианской концепции эгоистическое самоубийство и убийство могут находиться в состоянии структурного антагонизма, обнаруживая обратную направленность социального воспроизводства. Эгоистический тип самоубийства детерминирован крайней индивидуализацией и ослаблением социальных связей. Возникающий в этой среде дефицит коллективных смыслов порождает у индивида аутодеструктивные состояния, вызванные меланхолическим настроением, пресыщенностью, отсутствием радости и др. Однако оборотной стороной глубокой автономизации становится институционализированное уважение к чужой личности, поскольку ценность человеческого «Я» возводится в абсолют. Как следствие, в подобных социокультурных условиях может расти число самоубийств при одновременном снижении числа посягательств на чужую жизнь. Данная теоретическая модель позволяет интерпретировать зафиксированную на макрорегиональном уровне полярность современной Восточной Азии, где высокие показатели суицида сосуществуют с минимальным уровнем гетеронасилия.

Принципиально иную динамику демонстрируют аномическое самоубийство и убийство, которые могут формировать сопряжённый вектор летальной девиантности. Состояние аномии как нормативного вакуума и ценностной дезориентации наступает в периоды резких макросоциальных сдвигов, когда общество утрачивает регулятивный контроль над индивидуальными проявлениями. Ситуация перманентной фрустрации амбивалентна: при одних условиях она кристаллизуется в ярость и раздражение, а при других — в тотальную неудовлетворенность собой, отчаяние, эмоциональное истощение. Поэтому кризисное напряжение способно реализоваться в виде разрушительного импульса как вовне — на уничтожение другого, так и внутрь — на ликвидацию самого себя. Именно в условиях аномии убийства и суициды могут демонстрировать параллельный рост, что соотносится со структурой девиаций в Субсахарской Африке и постсоциалистической Восточной Европе, переживших масштабную деструкцию традиционных и советских институциональных систем соответственно.

В свою очередь, альтруистическое самоубийство, проистекающее из гипертрофированной интеграции индивида в группу и девальвации ценности отдельной жизни ради коллективного блага, исторически способно соседствовать с высоким уровнем гетеронасилия (например, в милитаризированных или теократических социумах).

Итак, классическая социологическая парадигма позволяет рассматривать убийство и самоубийство как феномены, которые не являются онтологически противоположными по своей природе. Характер их пространственного соотношения подвижен, нелинеен и во многом зависит от того, какой именно вектор дезорганизации (эгоистический или аномический) превалирует в конкретной социальной структуре на данном историческом этапе. Резюмируя, можно утверждать, что пространственная конфигурация умышленных убийств и самоубийств подчинена широкому спектру разных, подчас независимых друг от дру-

га факторов: от культурных и этических норм до геополитического положения региона или страны. Очевидно, что степень проявления преднамеренных убийств более зависима от качества работы правовых и правоприменительных институтов. Высокое вовлечение в гетероагрессию маркирует территории дефицита государственного контроля и девальвации монополии государства на насилие. В то же время география самоубийств функционирует в рамках более сложной многофакторной матрицы. Она охватывает как развивающиеся, депрессивные субрегионы, так и высокоразвитые, постиндустриальные общества, указывая на сочетание материальной депривации, кризиса социокультурных связей, атомизации личности и интенсивного социально-психологического давления. Оценить, как именно эти глобальные тенденции преломляются на уровне конкретных регионов и стран, позволяет пространственный анализ карты суицидов.

**Суицидальная картина мира: страновые и макрорегиональные контрасты.** Глобальный ландшафт самоубийств представляет собой мозаику резких территориальных контрастов. Факторы риска, описанные выше, локализуются на карте мира крайне неравномерно, формируя очаги как сверхвысокой, так и сверхнизкой суицидальной активности. Рассмотрение этой специфики на страновом уровне свидетельствует о значимой дифференциации в уровне летальной аутоагрессии даже среди, на первый взгляд, схожих по культурным особенностям и уровню экономического развития государств. На основе данных ВОЗ об уровне самоубийств (числе случаев на 100 тыс. жителей) можно составить представление о мозаике стран с наиболее и наименее выраженной аутоагрессией (табл. 1).

Таблица 1

**Страны с наибольшими и наименьшими коэффициентами самоубийств в начале 2020-х гг.**

№	Топ-10*	Случаев на 100 тыс. населения	Антитоп-10	Случаев на 100 тыс. населения
1.	Лесото	28,7	Саудовская Аравия	0,9
2.	Южная Корея	27,5	Иордания	1,0
3.	Эсватини	27,2	Ирак	1,2
4.	Гайана	24,8	Ливан	1,3
5.	Уругвай	24,8	Оман	1,4
6.	Суринам	22,3	Кувейт	1,6
7.	ЮАР	22,3	ОАЭ	1,8
8.	Литва	22,1	Египет	2,0
9.	Россия	21,4	Алжир	2,1
10.	Украина	21,2	Ливия	2,1

*Источник:* составлено автором по данным ВОЗ. Suicide rates // Global Health Observatory. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates> (accessed: 20.04.2026).

*Примечание:* \* В рейтинг включены страны с численностью населения более 200 тыс. человек. Сирия исключена из списка стран с минимальным уровнем суицидальности из-за затруднённого учёта смертей от суицида в условиях военного конфликта.

Группа стран с **наивысшими показателями** (топ-10) не является однородной и включает в себя несколько различных моделей летальной аутоагрессии<sup>8</sup>. *Африканский сектор* (Лесото, Эсватини, ЮАР) может рассматриваться в связи с сочетанием бедности, безработицы, эпидемиологических рисков, слабости социальных гарантий и общего высокого уровня социальной уязвимости [32]. *Восточноевропейский сектор* (Литва, Россия, Украина) связан с длительным следом постсоветской трансформации: социальной anomией 1990-х гг., исторически высокой алкоголизацией части населения, психосоциальным стрессом переходного периода, ограниченной доступностью и стигматизацией психиатрической и психологической помощи, а также накопленным давлением социальных и политических кризисов [33; 34]. *Южноамериканский сектор* неоднороден: в Гайане и Суринаме значимы депривация аграрных регионов и доступность летальных средств, включая пестициды [35; 36], тогда как в Уругвае часть суицидальных рисков может быть связана с демографическим старением, одиночеством и утратой устойчивых социальных ролей [37]. *Азиатская модель*, представленная прежде всего Южной Кореей, показывает, что высокий уровень суицидальности может формироваться и в экономически развитом обществе, на фоне социально-экономического давления, социальной изоляции пожилых людей и ослабления традиционных семейных связей [38].

В противовес этому, группа стран с **минимальным уровнем суицидов** (анти-топ-10) демонстрирует заметную социокультурную однородность: она почти полностью представлена государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Низкие официальные коэффициенты в данном регионе могут быть связаны с религиозным табу на суицид, прочностью семейно-родственных связей и высокой нормативной закрытостью темы добровольного ухода из жизни [39; 40]. В монархиях Персидского залива (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, ОАЭ) дополнительным стабилизирующим фактором может выступать сочетание материальной обеспеченности, социальных гарантий и семейно-общинной поддержки. Однако из-за религиозных, правовых и культурных санкций часть суицидальных смертей может скрываться или классифицироваться как несчастные случаи.

Страновая типология фиксирует крайние полюса распределения, тогда как карта даёт возможность увидеть более широкую макрорегиональную конфигурацию суицидальности: зоны концентрации, периферии и внутренние контрасты крупных регионов мира (рис. 2).

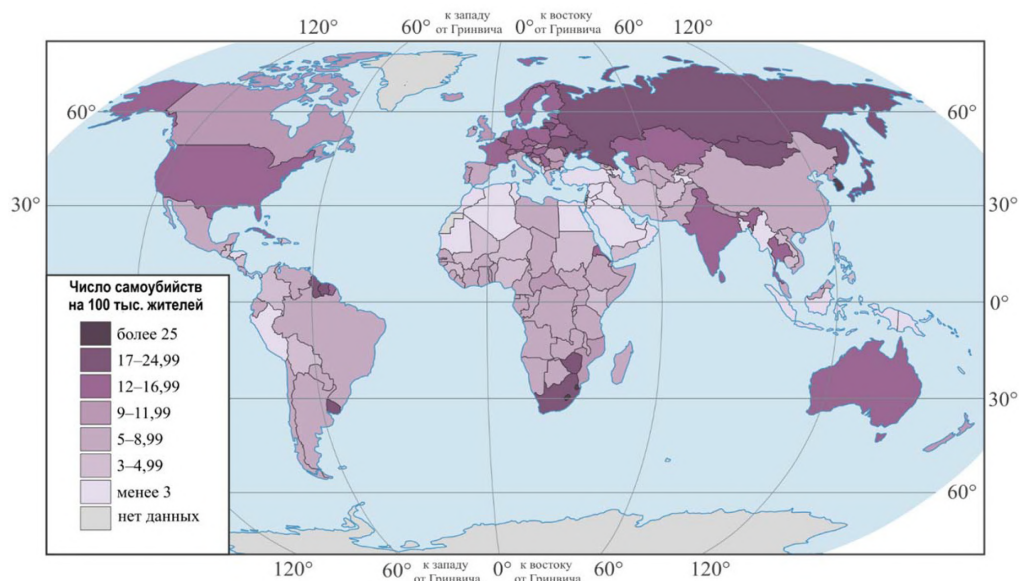
Крупнейший центр летальной аутоагрессии — Азиатский макрорегион — характеризуется глубокой внутренней поляризацией уровня самоубийств. Минимальные показатели традиционно фиксируются в странах Ближнего Востока, где усреднённый уровень составляет около 4 случаев на 100 тыс. населения. Эта ситуация может быть связана с религиозными запретами, семейно-общинным контролем и особенностями регистрации суицидальных смертей. Противоположную зону формируют Восточная и Южная Азия, выступающие крупными очагами суицидального риска. Республика Корея демонстрирует один из наиболее высоких уровней суицидальности в мире — 27-28 чел. на 100 тыс., что почти в 3 раза выше среднемирового.

Особое положение в списке азиатских стран с позиции суицидальности занимает Индия. Высокий уровень летальной аутоагрессии в этой стране связан

<sup>8</sup> Suicide rates // Global Health Observatory. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates> (accessed: 20.04.2026).

с наложением гендерных, семейных и аграрно-экономических факторов. Наиболее уязвимы молодые женщины: в исследованиях отмечается значение семейных конфликтов, брачного статуса, социально-демографического положения и гендерного неравенства [41; 42]. На Индию приходится 36,6% всех женских самоубийств в мире [41]. Отдельную линию образует «фермерский кризис»: долговая нагрузка, неурожаи, нестабильность аграрных доходов и доступность пестицидов повышают риски суицидального поведения в сельских регионах [43].

На европейской карте повышенная суицидальность образует протяжённую зону, охватывающую часть постсоветского и постсоциалистического пространства Восточной и Центральной Европы. Данные ВОЗ свидетельствуют о близости показателей между государствами Балтии, Венгрией, Польшей, Чехией и странами постсоветского пространства. Например, уровень самоубийств в Литве (22,1) и Венгрии (16,4) заметно превышает показатели южноевропейских стран. Эта конфигурация показывает устойчивый региональный рисунок суицидальности, выходящий за рамки отдельных страновых случаев, представленных в топ-10.



**Рисунок 2. Уровень самоубийств в мире в 2020–2022 гг. на 100 тыс. населения**

*Источник:* выполнено С. Е. Яицким по данным ВОЗ.

Вместе с тем европейская зона повышенной суицидальности не исчерпывается постсоциалистическим ареалом: относительно высокие показатели фиксируются также в Бельгии (18,4), Финляндии (14,6) и Австрии (14,5). В этих странах повышенная суицидальная нагрузка, вероятно, связана уже с иной констелляцией факторов развитых обществ — старением населения, одиночеством, распространённостью психических расстройств, алкоголизацией отдельных групп и доступностью летальных средств [44]. На этом фоне южноевропейские общества — Италия (7,0), Испания (8,7) — характеризуются сравнительно низкими показателями, что может быть связано с большей

плотностью семейных и локальных связей, а также общей спецификой средиземноморского уклада жизни.

США представляют собой один из наиболее критических примеров летальной аутоагрессии среди стран «Большой семёрки», стабильно удерживая лидерство по уровню суицидальной нагрузки. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в США колеблется в диапазоне 13–14 случаев на 100 тыс. населения (в 1,5 раза выше среднемирового). В рамках современной социологии американская модель рассматривается через концепт «смертей от отчаяния» (deaths of despair), описывающий суициды среди людей, потерявших экономическую и социальную стабильность.

Таким образом, страновая и макрорегиональная картина суицидальности подтверждает выраженную территориальную неоднородность летальной аутоагрессии. Высокие коэффициенты фиксируются в обществах, различающихся по уровню экономического развития, культурным нормам и социальной структуре, что не позволяет свести географию самоубийств к действию одного универсального фактора.

**Заключение.** Проведённый анализ даёт основание рассматривать умышленные убийства и самоубийства как разные по направленности векторы летальной девиантности, описываемые в рамках настоящего исследования через понятие экстраагрессии. В первом случае деструктивное действие обращено вовне, во втором — на самого субъекта. Их сопоставление в единой социологической рамке оправдано предельностью последствий, нарушением жизнесберегающей нормы и связью с состоянием институтов, социальных связей и культурных регуляторов.

В западной цивилизации XVIII–XIX вв. динамика летальной экстраагрессии может быть интерпретирована через принцип «сообщающихся сосудов». По мере укрепления правопорядка, государственного контроля и механизмов саморегуляции происходило снижение внешнего насилия при росте значимости аутоагрессивных форм поведения. Модернизация, урбанизация и индустриализация способствовали переносу части деструктивного напряжения во внутренний план, что проявлялось в росте суицидальности в ряде европейских обществ.

Современная география насильственной смертности демонстрирует выраженную территориальную асимметрию. Умышленные убийства концентрируются преимущественно в макрорегиональной триаде Африка — Латинская Америка — Азия, тогда как центрами суицидальной активности выступают Южная и Восточная Азия, Восточная Европа и Северная Америка. Международная статистика ВОЗ и УНП ООН расширила возможности сопоставительного анализа летальной гетеро- и аутоагрессии и зафиксировала устойчивые различия между макрорегионами и странами.

Данные начала 2020-х гг. согласуются с тезисом Э. Дюркгейма о нелинейном и подвижном соотношении между убийствами и самоубийствами. Характер этого соотношения зависит от типа социальной дезорганизации, состояния институтов, плотности социальных связей, культурных норм и доступности средств причинения смерти. Территориальная концентрация преднамеренных убийств в большей степени маркирует дефицит государственного и правового контроля, тогда как география самоубийств подчинена более сложной многофакторной матрице. Высокая суицидальность фиксируется как в обществах с выраженной

бедностью, эпидемиологическими и институциональными рисками, так и в экономически развитых странах, где она может быть интерпретирована через концепцию «парадокса счастливых стран»: относительную депривацию, индивидуализацию, одиночество, ослабление традиционных связей и давление норм успеха [45].

Таким образом, феномен летальной экстраагрессии требует междисциплинарного анализа, соединяющего социологию девиантного поведения, пространственную социологию, общественную географию, психологию и исследования социального контроля. Практическое значение такого подхода связано с разработкой профилактических стратегий, учитывающих как общий уровень насильственной смертности, так и конкретные социокультурные, институциональные и территориальные профили риска.

### *Библиографический список / References*

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия, контроль. СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. 512 с.  
Berkowitz L. Aggression: Its Causes, Consequences, and Control. St. Petersburg: Praim-Evroznak; 2002. (In Russ.).
2. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. СПб. : Питер, 2013. 320 с.  
Darwin Ch. The Expression of the Emotions in Man and Animals. St. Petersburg: Piter; 2013. (In Russ.).
3. Лоренц К. Агрессия, или Так называемое зло. М. : АСТ, 2017. 352 с.  
Lorenz K. On Aggression. Moscow: AST; 2017. (In Russ.).
4. Гилинский Я. И. Социальное насилие. СПб. : Алеф-Пресс, 2013. 185 с. EDN [SIQKKH](#).  
Gilinsky Ya. I. Social Violence. St. Petersburg: Alef-Press; 2013. (In Russ.).
5. Фрейд З. Я и Оно: труды разных лет: в 2 т. Т. 1. Тбилиси : Мерани, 1991. 396 с.  
Freud S. Das "Ich" und das "Es": Schriften aus verschiedenen Jahren: in 2 vols. Vol. 1. Tbilisi: Merani; 1991. (In Russ.).
6. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятниковой. М. : АСТ, 2021. 736 с.  
Fromm E. Anatomie der menschlichen Destruktivität. Moscow: AST; 2021. (In Russ.).
7. Storr A. Human Aggression. London: Allen Lane, The Penguin Press; 1968.
8. Buss A. H. The Psychology of Aggression. New York; London: Wiley and Sons; 1961. DOI [10.1037/11160-000](#).
9. Bandura A. Aggression: Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall; 1973.
10. Ениколопов С. Н. Агрессия (в психологии) // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. 2022. URL: <https://bigenc.ru/c/agressiia-10ad5c/?v=7912836> (дата обращения: 19.04.2026).  
Enikolopov S. N. Aggression in Psychology. In: Great Russian Encyclopedia. 2022. Available at: <https://bigenc.ru/c/agressiia-10ad5c/?v=7912836> (accessed: 19.04.2026). (In Russ.).
11. Felson R. B. A theory of instrumental aggression. In: Violence and Gender Reexamined. Washington, DC: American Psychological Association; 2002. P. 11–28.
12. Anderson C. A. Violence and aggression. In: Kazdin A. E. (ed.). Encyclopedia of Psychology. Vol. 8. Oxford: Oxford University Press; 2000. P. 162–169.
13. Fontaine R. G. Disentangling the psychology and law of instrumental and reactive subtypes of aggression. *Psychology, Public Policy, and Law*. 2007;13(2):143–165. DOI [10.1037/1076-8971.13.2.143](#).
14. Lore R. K., Schultz L. A. Control of human aggression: A comparative perspective. *American Psychologist*. 1993;48(1):16–25. DOI [10.1037/0003-066X.48.1.16](#). EDN [HFBBEV](#).
15. Шестакова Е. Г., Дорфман Л. Я. Агрессивное поведение и агрессивность личности // Образование и наука. 2009. № 7(64). С. 51–66. EDN [KWTBFB](#).  
Shestakova E. G., Dorfman L. Ya. Aggressive behavior and personality's aggressiveness. *Education and Science Journal*. 2009;(7):51–66. (In Russ.).

16. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Э. Г. Круга, Л. Л. Дальберг, Д. А. Мерси [и др.]; пер. с англ. М. : Весь Мир, 2003. 376 с.  
Krug E. G., Dahlberg L. L., Mercy J. A. [et al.] (eds.) *World Report on Violence and Health*. Moscow: Ves' Mir; 2003. (In Russ.).
17. *Гилинский Я. И.* Немного об апокалипсисе // Вопросы девиантологии. 2020. № 1. С. 109–117.  
Gilinsky Ya. I. A little about the apocalypse. *Issues of Deviantology*. 2020;(1):109–117. (In Russ.).
18. Da Gloria J., Da Ridder R. Aggression in dyadic interaction. *European Journal of Social Psychology*. 1977;7(2):189–219. DOI [10.1002/ejsp.2420070207](https://doi.org/10.1002/ejsp.2420070207).
19. *Гилинский Я. И.* Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб. : Алеф-Пресс, 2013. 634 с.  
Gilinsky Ya. I. *Deviantology: Sociology of Crime, Drug Addiction, Prostitution, Suicide and Other “Deviations”*. St. Petersburg: Alef-Press; 2013. (In Russ.).
20. Curra J. *The Relativity of Deviance*. 5<sup>th</sup> ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2020. DOI [10.4135/9781452224893](https://doi.org/10.4135/9781452224893).
21. *Сорокин П. А.* Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. М.; СПб.; Сыктывкар : Центр гуманитарных инициатив, 2021. 496 с.  
Sorokin P. A. *Crime and Punishment, Heroic Deed and Reward: A Sociological Study of the Main Forms of Social Behavior and Morality*. Moscow; St. Petersburg; Syktyvkar: Tsentr gumanitarnykh initsiativ; 2021. (In Russ.).
22. *Бэрон Р., Ричардсон Д.* Агрессия. СПб. : Питер, 2000. 352 с.  
Baron R., Richardson D. *Human aggression*. St. Petersburg: Piter; 2000. (In Russ.).
23. Исследование особенностей аутоагрессивного поведения у лиц, переживших сексуальное злоупотребление в детском возрасте / С. О. Кузнецова, А. А. Абрамова, А. Г. Ефремов [и др.] // Национальный психологический журнал. 2019. Т. 3, № 3. С. 88–100. DOI [10.11621/npj.2019.0310](https://doi.org/10.11621/npj.2019.0310). EDN [CMFNVJ](https://www.edn.ru/CMFNVJ).  
Kuznetsova S. O., Abramova A. A., Efremov A. G. [et al.] The study of the auto-aggressive behaviour in individuals who survived sexual abuse in childhood. *National Psychological Journal*. 2019;3(3):88–100. (In Russ.). DOI [10.11621/npj.2019.0310](https://doi.org/10.11621/npj.2019.0310).
24. Диагностика суицидального поведения: методические рекомендации / сост. А. Г. Амбрумова, В. А. Тихоненко. М. : Московский НИИ психиатрии МЗ РСФСР, 1980. 48 с.  
Ambrumova A. G., Tikhonenko V. A. (comp.) *Diagnosis of Suicidal Behavior: Methodological Recommendations*. Moscow: Moscow Research Institute of Psychiatry of the Ministry of Health of the RSFSR; 1980. (In Russ.).
25. *Руженков В. А., Руженкова В. В.* Некоторые аспекты терминологии и классификации аутоагрессивного поведения // Суицидология. 2014. Т. 5, № 1. С. 41–51. EDN [SBPVLX](https://www.edn.ru/SBPVLX).  
Ruzhenkov V. A., Ruzhenkova V. V. Some aspects of terminology and classification of auto-aggressive behavior. *Suicidology*. 2014;5(1):41–51. (In Russ.).
26. *Розанов В. А.* Агрессия и аутоагрессия (суицид) — анализ с позиций нейробиологии // Суицидология. 2022. Т. 13, № 3. С. 3–38. DOI [10.32878/suiciderus.22-13-03\(48\)-3-38](https://doi.org/10.32878/suiciderus.22-13-03(48)-3-38). EDN [RKTXZR](https://www.edn.ru/RKTXZR).  
Rozanov V. A. Aggression and auto-aggression (suicide) — analysis from the standpoint of neurobiology. *Suicidology*. 2022;13(3):3–38. (In Russ.). DOI [10.32878/suiciderus.22-13-03\(48\)-3-38](https://doi.org/10.32878/suiciderus.22-13-03(48)-3-38).
27. *Жмуров Д. В.* Криминальная аутоагрессия // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. № 1. С. 45–49. EDN [KZRHPP](https://www.edn.ru/KZRHPP).  
Zhurov D. V. Criminal auto-aggression. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*. 2010;(1):45–49. (In Russ.).
28. *Дюркгейм Э.* Самоубийство: социологический этюд. М. : Мысль, 1994. 399 с.  
Durkheim E. *Le Suicide*. Moscow: Mysl'; 1994. (In Russ.).
29. *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: в 2 т. Т. 2: Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб. : Университетская книга, 2001. 380 с.  
Elias N. *Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen: in 2 vols. Vol. 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation*. Moscow; St. Petersburg: Universitetskaya kniga; 2001. (In Russ.).

30. Eisner M. Long-Term Historical Trends in Violent Crime. *Crime and Justice*. 2003;30:83–142. DOI [10.1086/652229](https://doi.org/10.1086/652229). EDN [HFWXEX](#).
31. Lindelius R. Trends in suicide in Sweden 1749–1975. *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 1979;60(3):295–310. DOI [10.1111/j.1600-0447.1979.tb00278.x](https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1979.tb00278.x).
32. Iemmi V., Bantjes J., Coast E. [et al.] Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. *The Lancet Psychiatry*. 2016;3(8):774–783. DOI [10.1016/S2215-0366\(16\)30066-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30066-9). EDN [XUQNJD](#).
33. Brainerd E. Economic Reform and Mortality in the Former Soviet Union: A Study of the Suicide Epidemic in the 1990s. *European Economic Review*. 2001;45(4-6):1007–1019. DOI [10.1016/S0014-2921\(01\)00108-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00108-8). EDN [LTTQCT](#).
34. Cornia G. A. The Mortality Crisis in Transition Economies. *IZA World of Labor*. 2016:298. DOI [10.15185/izawol.298](https://doi.org/10.15185/izawol.298).
35. Graafsma T., Kerkhof A. J. F. M., Gibson D. [et al.] High rates of suicide and attempted suicide using pesticides in Nickerie, Suriname, South America. *Crisis: the Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*. 2006;27(2):77–81. DOI [10.1027/0227-5910.27.2.77](https://doi.org/10.1027/0227-5910.27.2.77).
36. Shaw Ch., Stuart Ja., Thomas T. [et al.] Pesticides and passion: A qualitative psychological autopsy study of suicide in Guyana. *The Lancet Regional Health – Americas*. 2023;26:100570. DOI [10.1016/j.lana.2023.100570](https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100570). EDN [MNHTZV](#).
37. Hein P., Ch vez-Hern ndez A. M., Padilla G. M. [et al.] Suicide in Later Life in Uruguay: A Suicide Note Analysis. *OMEGA – Journal of Death and Dying*. 2026;92(3):1191–1206. DOI [10.1177/00302228231196928](https://doi.org/10.1177/00302228231196928).
38. Jang H., Lee W., Kim Y. [et al.] Suicide rate and social environment characteristics in South Korea: the roles of socioeconomic, demographic, urbanicity, general health behaviors, and other environmental factors on suicide rate. *BMC Public Health*. 2022;22(1):410. DOI [10.1186/s12889-022-12843-4](https://doi.org/10.1186/s12889-022-12843-4). EDN [BYRXGZ](#).
39. Shah A., Chandia M. The relationship between suicide and Islam: a cross-national study. *Journal of Injury and Violence Research*. 2010;2(2):93–97. DOI [10.5249/jivr.v2i2.60](https://doi.org/10.5249/jivr.v2i2.60).
40. Pritchard C., Iqbal W., Dray R. Undetermined and accidental mortality rates as possible sources of underreported suicides: population-based study comparing Islamic countries and traditionally religious Western countries. *BJPsych Open*. 2020;6(4):e56. DOI [10.1192/bjo.2020.38](https://doi.org/10.1192/bjo.2020.38). EDN [HFJFDL](#).
41. Dandona R., Kumar G. A., Dhaliwal R. S. [et al.] Gender differentials and state variations in suicide deaths in India: the Global Burden of Disease Study 1990–2016. *The Lancet Public Health*. 2018;3(10):e478–e489. DOI [10.1016/S2468-2667\(18\)30138-5](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30138-5). EDN [CELRRW](#).
42. Dandona R., George S., Kumar G. A. [et al.] Sociodemographic characteristics of women who died by suicide in India from 2014 to 2020: findings from surveillance data. *The Lancet Public Health*. 2023;8(5):e347–e355. DOI [10.1016/s2468-2667\(23\)00028-2](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(23)00028-2). EDN [UQXTDQ](#).
43. Merriott D. Factors associated with the farmer suicide crisis in India. *Journal of Epidemiology and Global Health*. 2016;6(4):217–227. DOI [10.1016/j.jegh.2016.03.003](https://doi.org/10.1016/j.jegh.2016.03.003).
44. Pompili M., O'Connor R. C., van Heeringen K. Suicide Prevention in the European Region. *Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*. 2020;41(S1):8–20. DOI [10.1027/0227-5910/a000665](https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000665). EDN [GSQLND](#).
45. Daly M. C., Oswald A. J., Wilson D. [et al.] Dark contrasts: The paradox of high rates of suicide in happy places. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 2011;80(3):435–442. DOI [10.1016/j.jebo.2011.04.007](https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.04.007).

Поступила: 20.04.2026. Доработана: 25.05.2026. Принята: 29.05.2026.

#### Сведения об авторе:

Демидова Елена Евгеньевна, научный сотрудник  
кафедры социально-экономической географии зарубежных стран  
географического факультета, Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия. [edemidova@geogr.msu.ru](mailto:edemidova@geogr.msu.ru)  
Author ID РИНЦ: [309693](#); ORCID: [0000-0003-1719-721X](#)

**E. E. Demidova<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

## SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF LETHAL DEVIANCE: HOMICIDE AND SUICIDE IN A GLOBAL PERSPECTIVE

**Abstract.** The article examines the theoretical and methodological foundations of a sociological analysis of the spatial distribution of lethal forms of social aggression. The study aims to develop an analytical framework for examining the territorial differentiation of avital deviance at the intersection of the sociology of deviant behavior, criminology, suicidology, psychology, and human geography. Within a sociological approach, the article substantiates the possibility of analytically bringing together the concepts of “social aggression” and “social violence” as forms of destructive interaction within the social system that are evaluated through social norms. Intentional homicide and suicide are regarded as extreme manifestations of social aggression and are considered, respectively, as lethal hetero-aggression and extreme auto-aggression. These phenomena differ in the direction of action, social mechanisms, cultural interpretation, and modes of statistical recording; however, they are comparable in terms of the severity of their consequences and their connection with the violation of the life-preserving norm. Drawing on historical and contemporary statistical data, the study identifies significant territorial differences in the distribution of homicide and suicide. It shows that the relationship between these forms of lethal deviance is nonlinear and cannot be reduced to a universal direct or inverse relationship.

**Keywords:** sociology of deviance, social aggression, social violence, extra-aggression, avital deviance, intentional homicide, suicide, hetero-aggression, auto-aggression, spatial distribution, human geography

**For citation:** Demidova E. E. Sociological analysis of the spatial distribution of lethal deviance: homicide and suicide in a global perspective. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):67–85. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.5>

**Acknowledgements:** This work is supported by Lomonosov Moscow State University, project «Multi-scale effects of modern challenges on the socio-economic and political development of countries of the world».

Received: 20.04.2026. Corrected: 25.05.2026. Accepted: 29.05.2026.

### *Author information:*

**Elena E. Demidova**, Researcher,  
Department of Socio-Economic Geography of Foreign Countries,  
Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russia. [edemidova@geogr.msu.ru](mailto:edemidova@geogr.msu.ru)  
ORCID: 0000-0003-1719-721X



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.6](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.6)  
EDN [KGAULN](https://edn.ras.ru/KGAULN)  
УДК 316.624



**И. В. Ангарская<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, Россия

## ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ

**Аннотация.** В статье рассматриваются изменения алкогольных практик в разных социальных группах российского общества на фоне общего снижения распространённости употребления спиртного. Эмпирическую основу исследования составили материалы социологических опросов городского трудоспособного населения в возрасте от 18 до 60 лет, проведённых сектором социологии девиантного поведения ИС ФНИСЦ РАН в 2009–2010, 2017, 2020 и 2024 гг., а также данные исследований студенческой молодёжи 2013, 2016 и 2024 гг. Показано, что сокращение доли употребляющих алкоголь сопровождается неоднородной динамикой алкогольных практик: рост трезвеннических установок сочетается с сохранением регулярного и частого употребления в отдельных группах. Особое внимание уделено гендерным и возрастным различиям. Установлено, что женские алкогольные практики имеют внутренне дифференцированный характер: среди молодых женщин заметнее выражен отказ от алкоголя, тогда как у части женщин среднего возраста более частое употребление связано со стрессом, повседневной нагрузкой и адаптационно-компенсаторными мотивами. На материалах студенческих опросов выявлено увеличение доли не употребляющих алкоголь при сохранении рискованных эпизодов среди части употребляющих студентов. Сделан вывод о том, что современная алкогольная ситуация характеризуется неравномерным снижением вовлечённости в употребление спиртного: расширение трезвеннических практик сочетается с сохранением частого употребления, стрессовой мотивации и рискованных алкогольных эпизодов в отдельных социальных группах.

**Ключевые слова:** потребление алкоголя, алкогольные практики, рискованное употребление алкоголя, гендерные различия, женские алкогольные практики, студенческая молодёжь, социальная адаптация, девиантное поведение

**Для цитирования:** Ангарская И. В. Потребление алкоголя в различных социальных группах российского общества: тенденции и риски // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 86–103. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.6](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.6). EDN [KGAULN](https://edn.ras.ru/KGAULN).

**Введение.** Потребление алкоголя остаётся одной из значимых медико-социальных проблем, затрагивающих здоровье, семейные отношения, занятость, досуг, повседневные формы общения и способы социальной адаптации. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 г. во всём мире около 2,6 млн смертей были связаны с употреблением алкоголя; из них 1,6 млн приходилось на неинфекционные заболевания, 700 тыс. — на травмы и 300 тыс. — на инфекционные заболевания. ВОЗ также указывает, что алкоголь связан более чем с 200 заболеваниями, травмами и иными нарушениями здоровья<sup>1</sup>.

Для России алкогольная проблематика имеет особое значение, поскольку употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени рассматривалось как один из заметных факторов демографических потерь, семейного

<sup>1</sup> Алкоголь: информационный бюллетень // Всемирная организация здравоохранения. 28.06.2024. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/alcohol> (дата обращения: 08.04.2026).

© Ангарская И.В., 2026

неблагополучия, насилия, травматизма и других социальных рисков [1; 2; 3; 4; 5]. В последние десятилетия ситуация заметно изменилась: официальные статистические и социологические источники фиксируют сокращение распространённости употребления алкоголя, рост доли людей, отказывающихся от спиртного, а также более умеренные модели потребления среди молодых поколений. Эти тенденции отражены в данных ВЦИОМ<sup>2</sup>, исследователей НИУ ВШЭ и других специалистов [6; 7; 8; 9].

При этом общие показатели требуют осторожной интерпретации. Снижение доли потребителей алкоголя и уменьшение среднедушевых объёмов потребления ещё не исчерпывают содержания происходящих изменений. Внутри общей положительной динамики сохраняются различия между мужчинами и женщинами, молодёжью и старшими возрастными группами, людьми с разным уровнем образования, материального положения, занятости и семейного статуса [10; 11]. Меняются и сами повседневные алкогольные практики: типы напитков, частота употребления, допустимость опьянения, мотивы обращения к алкоголю, связь спиртного с отдыхом, дружеским общением, одиночеством, стрессом и переживанием жизненных трудностей [12; 13].

В данной статье представлены результаты одного из этапов исследования сектора социологии девиантного поведения ИС ФНИСЦ РАН, посвящённого изменению алкогольной ситуации в России в последние годы. Исследовательский интерес связан с неоднозначностью современных тенденций: на фоне снижения общих показателей употребления алкоголя сохраняются группы риска, меняются мотивы потребления и формы его повседневного оправдания. Поэтому алкогольное поведение рассматривается через связь употребления спиртного с социальными нормами, досугом, стрессом, адаптацией и различиями между группами населения.

Особое значение имеет адаптационная функция алкоголя. В исследованиях девиантного поведения неоднократно отмечалось, что злоупотребление алкоголем среди социально уязвимых групп может выступать способом переживания материальных трудностей, неопределённости, социальной исключённости и повседневного напряжения. Обращение к алкоголю как к средству временного расслабления или эмоциональной разрядки встречается и среди более благополучных групп населения [13]. В таких случаях употребление спиртного может восприниматься как привычный элемент отдыха, коммуникации или компенсации высокой нагрузки. Поэтому анализ алкогольной ситуации требует внимания к разным социальным группам, мотивам потребления и тем повседневным смыслам, которые делают алкоголь социально приемлемым даже при осознании его рисков.

Основная исследовательская проблема статьи связана с неоднозначностью современной алкогольной ситуации в России. По ряду обобщённых показателей она выглядит более благополучной: сокращается доля употребляющих алкоголь, растёт группа не употребляющих спиртное, особенно среди молодёжи. Вместе с тем на уровне отдельных возрастных и гендерных групп, а также в студенческой среде сохраняются регулярные, частые и рискованные формы потребления, связанные со стрессом, эмоциональной разрядкой, досугом и повседневной допустимостью алкоголя.

Цель статьи — выявить особенности алкогольных практик в разных социальных группах российского общества и показать, как на фоне общего сокращения

<sup>2</sup> Новая эпоха трезвости: аналитический обзор // ВЦИОМ. 07.10.2024. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novaja-ehpokha-trezvosti> (дата обращения: 08.04.2026).

распространённости употребления алкоголя сохраняются регулярные, адаптационные и рискованные формы алкогольного поведения.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: охарактеризовать основные тенденции изменения алкогольной ситуации в России; рассмотреть различия алкогольных практик по полу и возрасту; проанализировать частоту употребления алкоголя, структуру предпочитаемых напитков, мотивы потребления и отношение к спиртному; выявить группы, в которых алкоголь сохраняет адаптационно-компенсаторную, коммуникативную или рискованную функцию; рассмотреть особенности алкогольных практик студенческой молодёжи.

**Методолого-методические основания исследования.** В современных социальных исследованиях употребление алкоголя рассматривается как часть повседневной жизни: досуга, общения, семейных и дружеских ритуалов, профессиональной среды и способов переживания напряжения. Такой подход помогает видеть за общими показателями потребления конкретные ситуации: где, с кем, по какому поводу, в каком количестве и с какими ожиданиями человек обращается к спиртному. В этом отношении значима работа П. Мейер, А. Уорда и Дж. Холмса, в которой употребление алкоголя рассматривается через теорию социальных практик. Авторы используют понятие «drinking occasions», то есть эпизодов употребления, различающихся по месту, времени, участникам, мотивам и связи с другими действиями повседневной жизни [14].

Важное значение имеет понятие культуры потребления алкоголя. В работах Р. Рума, М. Савич и других авторов показано, что употребление спиртного регулируется формальными ограничениями, неформальными нормами, представлениями о допустимом опьянении, уместных ситуациях питья, гендерных и возрастных ожиданиях, реакциями ближайшего окружения [15; 16]. Поэтому социальная оценка алкогольного поведения зависит от количества выпитого, ситуации, группы и представлений о допустимом поведении.

Для анализа различий между социальными группами значимы исследования, в которых алкогольное поведение связывается с социальной структурой, возрастом, полом, образованием, материальным положением, занятостью и образом жизни. В российской социологии эта проблематика раскрывается в работах З. В. Котельниковой, В. В. Радаева, Я. М. Рощиной, В. А. Кондратенко и других авторов. З. В. Котельникова анализирует практики употребления алкоголя с учётом социальных различий, типов напитков, регулярности и ситуаций потребления [11]. В. В. Радаев, Я. М. Рощина и В. А. Кондратенко показывают изменение поколенческих моделей употребления алкоголя, структуры напитков и типов потребления, особенно среди молодёжи [7; 8; 17].

В настоящей статье алкогольное поведение рассматривается как социальная практика, в которой соединяются частота употребления, выбор напитков, ситуация потребления, мотивы обращения к алкоголю и нормативная оценка опьянения. Особое внимание уделяется различиям между социальными группами, а также случаям, когда алкоголь сохраняет адаптационную, компенсаторную или коммуникативную функцию.

**Эмпирическую основу статьи** составляют данные авторских социологических исследований сектора социологии девиантного поведения ИС ФНИСЦ РАН. Для анализа алкогольных практик городского трудоспособного население

ния использованы массивы онлайн-опросов: 2009–2010 гг. (N=1200)<sup>3</sup>, 2017 г. (N=1406), 2020 г. (N=1250)<sup>4</sup> и 2024 г. (N=1300). Во всех волнах опрашивались жители 13 крупных городов России в возрасте от 18 до 60 лет: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Омска, Челябинска, Уфы, Сыктывкара, Архангельска, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Тюмени и Перми. Выбор городов был связан с задачей представить разные региональные и социально-экономические типы крупной городской среды. Опросы проводились по многоступенчатой квотной выборке с учётом пола и возраста респондентов. Полученные данные характеризуют обследованные городские группы; их прямое распространение на всё население России требует осторожности.

Отдельный эмпирический блок составляют исследования студенческой молодёжи. Для анализа изменений студенческих алкогольных практик использованы массивы опросов 2013 г. (N=680, Москва, Иваново, Казань, Краснодар, Таганрог, доля женщин 49%), 2016 г. (N=246, Москва, Краснодар, Ярославль, Рыбинск, доля женщин 54%) и 2024 г. (N=266, Москва, Краснодар, Казань, Ярославль, Рыбинск, доля женщин 45%). Все три массива были получены в рамках исследований студенческого образа жизни и поведенческих рисков, что позволяет сопоставлять близкие по содержанию показатели алкогольного поведения.

Сопоставление проводится по вопросам, представленным во всех или в большинстве волн: факт употребления алкоголя, частота потребления, опыт сильного опьянения, отношение к спиртному и отдельные показатели рискованного поведения. Структура предпочитаемых напитков, опыт употребления большего количества алкоголя, чем планировалось, опохмеление и появление на занятиях в нетрезвом виде анализируются по тем волнам, где соответствующие вопросы были представлены в сопоставимом виде. Сравнение проводилось только по вопросам, совпадающим по содержанию или близким по формулировке. При различиях в шкалах и вариантах ответа данные использовались как ориентировочные индикаторы направленности изменений.

С учётом различий в объёме выборок, составе городов и частичных изменений инструментария эти данные используются для анализа направленности изменений в студенческой среде. Полученные результаты характеризуют обследованные группы студентов и не претендуют на строгую репрезентацию всей студенческой молодёжи России. При этом повторяемость ключевых вопросов позволяет выявить важные тенденции: изменение доли употребляющих и не употребляющих алкоголь, трансформацию частоты потребления, сохранение рискованных эпизодов и изменение нормативных оценок алкогольного поведения.

Интенсивность употребления алкоголя оценивалась по частоте потребления. Выделялись группы частого употребления — от одного раза в неделю и чаще; регулярного — от одного до трёх раз в месяц; эпизодического — от одного раза в два-три месяца до нескольких раз в год; редкого — один раз в год и реже. При анализе учитывались пол, возраст, материальное положение, социально-профессиональный статус и другие социально-демографические характеристики.

<sup>3</sup> Массивы 2009 и 2010 гг. объединены вследствие близости сроков проведения опросов, единства методики и отсутствия значимых различий в структуре выборки и распределении ответов по ключевым показателям.

<sup>4</sup> В 2020 г. опрос проводился в период введённого режима самоизоляции в России, поэтому ответы могли частично отражать актуальный опыт кризисного периода. Значения 2020 г. целесообразно рассматривать как кризисную точку ряда, а не как прямое продолжение обычной динамики.

Для более глубокого понимания женских алкогольных практик были использованы материалы количественных измерений мотивов обращения к алкоголю, данные о способах оправдания употребления и связи спиртного со стрессом, одиночеством, профессиональной нагрузкой и семейными обстоятельствами.

Дополнительно использованы статистические и социологические материалы ВОЗ, ВЦИОМ, Минздрава России, РМЭЗ НИУ ВШЭ<sup>5</sup>, а также публикации российских исследователей о динамике алкогольного потребления, различиях между социальными группами и молодёжных алкогольных практиках.

**Вовлечённость городского трудоспособного населения в употребление алкоголя.** В России алкогольная ситуация в последние десятилетия заметно изменилась. Официальные статистические и социологические данные фиксируют сокращение распространённости употребления алкоголя и рост доли тех, кто отказывается от спиртного. По данным ВЦИОМ, за последние 20 лет доля потребителей алкоголя сократилась с 73% до 52%, а доля не употребляющих алкоголь выросла с 27% до 48%<sup>6</sup>. В том же исследовании одной из основных причин злоупотребления алкоголем россияне называют стремление снять стресс и напряжение, что указывает на сохранение адаптационной функции алкоголя в повседневной жизни.

Сходные тенденции выявлены в исследованиях, выполненных на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. В. В. Радаев и Я. М. Рощина показывают, что молодые когорты россиян, родившихся в 1990–2002 гг., употребляют алкоголь реже представителей старших поколений даже при контроле возрастных и периодных эффектов [7]. Материалы НИУ ВШЭ по молодёжи 14–22 лет также свидетельствуют о заметном сокращении доли пьющих с 2006 г.; при этом среди молодёжи меняются объёмы и структура употребления алкоголя [8].

Эти данные требуют осторожной интерпретации. Сокращение доли потребителей алкоголя и снижение среднедушевых объёмов потребления не означают исчезновения алкогольных рисков. Сохраняются различия между мужчинами и женщинами, возрастными группами, людьми с разным уровнем образования, материальным положением, занятостью и семейным статусом. Меняются и сами повседневные алкогольные практики: тип напитка, частота употребления, допустимость опьянения, мотивы обращения к алкоголю, связь спиртного с отдыхом, дружеским общением, одиночеством, стрессом и переживанием жизненных трудностей. В работах В. В. Радаева и Я. М. Рощиной отмечается, что анализ алкогольного потребления должен учитывать не один обобщённый объём выпитого, а частоту употребления, количество алкоголя за один эпизод, тип напитков, обстоятельства потребления и признаки рискованного поведения [6].

Данные опросов городского трудоспособного населения, проведённых сектором социологии девиантного поведения, подтверждают общую тенденцию к росту группы не употребляющих алкоголь. Если в 2009–2010 гг. доля непьющих

<sup>5</sup> Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Сайты обследования RLMS-HSE: <http://www.hse.ru/rhms> и <https://rlms-hse.cpc.unc.edu> (дата обращения: 05.04.2026).

<sup>6</sup> Новая эпоха трезвости: аналитический обзор // ВЦИОМ. 07.10.2024. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novaja-ehpokha-trezvosti> (дата обращения: 08.04.2026).

горожан составляла около 8%, то в 2024 г. она достигла 19%. Это свидетельствует о постепенном изменении культурной нормы: отказ от алкоголя становится более заметной и социально приемлемой моделью поведения. Вместе с тем рост группы непьющих не сопровождается равномерным ослаблением алкогольных практик. По данным исследования, доля часто употребляющих алкоголь — от одного раза в неделю до ежедневного употребления, включая многодневные эпизоды после перерыва, — на протяжении рассматриваемого периода остаётся сравнительно значимой и колеблется в пределах примерно четверти-трети опрошенных. Эта картина позволяет говорить о поляризации потребительских траекторий: часть городского населения исключает алкоголь из повседневной жизни, тогда как другая часть сохраняет его как привычную форму досуга, общения или эмоциональной разрядки.

Сходную неоднозначность демонстрируют и данные алкогольного рынка. По итогам 2025 г. розничные продажи алкогольной продукции без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизились на 9,3%<sup>7</sup>, однако динамика различалась по видам напитков<sup>8</sup>. Поэтому снижение доли пьющих следует рассматривать вместе с частотой употребления, структурой напитков, доступностью алкоголя и распространением домашних или незарегистрированных форм производства спиртного.

Двойственность ситуации проявляется и на уровне общественных установок. С одной стороны, согласно данным опроса сектора, усиливается поддержка трезвости как нормативной модели: утверждение «трезвость — норма жизни» в 2024 г. разделяет около трети респондентов, тогда как в 2009–2010 гг. этот показатель составлял 23%. С другой стороны, около 40% опрошенных допускают злоупотребление алкоголем как личное дело человека или как редкое исключение. Это снижает силу общественного осуждения и переводит часть рискованных практик в зону индивидуального выбора.

Возрастные и гендерные различия показывают, что общая динамика алкогольного потребления неоднородна. Наиболее заметный рост отказа от алкоголя фиксируется среди молодёжи, тогда как в средних возрастных группах сохраняются более частые формы употребления. Мужчины по-прежнему чаще входят в группы регулярного и частого потребления, однако женские алкогольные практики также становятся более дифференцированными. Поэтому далее отдельно рассматриваются гендерные особенности потребления алкоголя и женские группы риска.

**Гендерные особенности и женские практики потребления алкоголя.** Гендер остаётся одним из существенных параметров анализа алкогольного поведения. Международные данные показывают, что мужчины в среднем чаще употребляют спиртное, потребляют больше алкоголя в пересчёте на чистый спирт и чаще сталкиваются с алкоголь-обусловленными последствиями<sup>9</sup>. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 г. алкоголь в течение последних

<sup>7</sup> Статистические сборники «Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции» (2011–2025 гг.) // Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. URL: <https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828> (дата обращения: 05.04.2026).

<sup>8</sup> Продажи алкоголя в России в 2025 году стали минимальными за восемь лет // РБК. 26.01.2026. URL: <https://www.rbc.ru/wine/news/697369f19a794734ccad8deb> (дата обращения: 15.05.2026).

<sup>9</sup> Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders // World Health Organization. 25.06.2024. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096745> (accessed: 31.05.2026).

12 месяцев употребляли 52% мужчин и 35% женщин. Среднедушевое потребление чистого алкоголя составляло 8,2 л среди мужчин и 2,2 л среди женщин. Алкоголь также вносил большой вклад в мужскую смертность: с его употреблением были связаны 6,7% всех смертей среди мужчин и 2,4% среди женщин<sup>10</sup>. Международные исследования фиксируют постепенное сокращение гендерного разрыва в алкогольном поведении, особенно в молодых поколениях. Систематический обзор Т. Слейд и соавторов показал, что у поколений, родившихся позже, различия между мужчинами и женщинами постепенно уменьшаются по трём группам показателей: факту употребления алкоголя, проблемным формам потребления и алкоголь-обусловленным последствиям [18]. Поэтому женские алкогольные практики требуют отдельного рассмотрения: за обобщёнными показателями могут скрываться разные возрастные модели потребления — от полного отказа от спиртного до регулярного употребления и эпизодов выраженного опьянения.

Российские исследования также показывают, что мужские и женские алкогольные практики различаются по частоте употребления, структуре напитков и нормативной оценке опьянения. Так, данные ВШЭ свидетельствуют, что среди молодёжи 14–22 лет различия по полу проявляются прежде всего в структуре потребления: юноши чаще ориентированы на пиво, вино и водку или крепкие напитки, тогда как среди девушек более заметны пиво, вино и алкогольные коктейли [8]. При этом структура алкогольного потребления в России становится более смешанной: выбор напитков уже труднее объяснять только социальным классом или прежним делением на «простые» мужские и женские модели [17]. Данные ВЦИОМ 2024 г. сохраняют гендерную специфику предпочтений: мужчины чаще выбирают пиво и крепкий алкоголь, женщины — вино<sup>11</sup>. Однако такие различия уже не исчерпывают всей картины, поскольку женщины включены и в более частые, и в более рискованные формы употребления.

Сравнение авторских опросов трудоспособного городского населения за 2009–2010, 2017, 2020 и 2024 гг. показывает изменение мужских и женских алкогольных практик по двум направлениям: расширяется группа не употребляющих алкоголь и сохраняется гендерное различие по частым формам употребления. Среди мужчин доля не употребляющих алкоголь выросла с 9,7% в 2009–2010 гг. до 21,1% в 2024 г., среди женщин — с 5,8% до 24,3%. При этом мужчины чаще остаются в группе частого потребления: в 2024 г. раз в неделю и чаще употребляли алкоголь 32,6% мужчин и 21,5% женщин (см. табл. 1).

Данные таблицы 1 показывают, что к 2024 г. женщины немного чаще мужчин входят в группу не употребляющих алкоголь и одновременно сохраняют заметную вовлечённость в регулярное и частое употребление. Мужчины на всём протяжении наблюдения чаще относятся к группе частого потребления, хотя разрыв по этому показателю к 2024 г. становится менее выраженным, чем в 2009–2010 гг.

Анализ возрастных групп уточняет эту картину. Уменьшение различий между мужчинами и женщинами наиболее заметно среди молодёжи. В группе 18–23 лет частое употребление снизилось у представителей обоих полов: среди мужчин — с 33,0% в 2009–2010 гг. до 12,0% в 2024 г., среди женщин — с 22,9% до 10,8%.

<sup>10</sup> Алкоголь // Всемирная организация здравоохранения. 28.06.2024. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/alcohol> (дата обращения: 05.04.2026).

<sup>11</sup> Новая эпоха трезвости: аналитический обзор // ВЦИОМ. 07.10.2024. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novaja-ehpokha-trezvosti> (дата обращения: 08.04.2026).

Таблица 1

## Частота употребления алкоголя мужчинами и женщинами, %

Год	Пол	Не употребляют	Частое употребление	Регулярное употребление	Эпизодическое употребление	Редкое употребление
2009/2010	Мужчины	9,7	37,4	33,3	17,5	2,1
	Женщины	5,8	20,4	36,3	35,4	2,1
2017	Мужчины	12,0	35,0	31,5	19,7	1,8
	Женщины	11,7	24,8	29,1	30,9	3,5
2020	Мужчины	13,6	43,8	28,9	13,7	0,0
	Женщины	19,2	21,8	35,5	23,4	0,2
2024	Мужчины	21,1	32,6	25,2	16,6	4,5
	Женщины	24,3	21,5	23,8	22,8	7,6

Сокращение оказалось более выраженным среди молодых мужчин, поэтому к 2024 г. показатели частого употребления у молодых мужчин и женщин почти сравнялись. Такая динамика хорошо соотносится с выводами В. В. Радаева и Я. М. Рощиной о том, что молодые когорты россиян, родившихся после 1990 г., употребляют алкоголь реже старших поколений даже при контроле возрастных и периодных эффектов [7].

Дальнейший анализ позволяет подробнее рассмотреть женское потребление. В таблице 2 представлены две группы показателей: доля женщин, не употребляющих алкоголь, и доля женщин, входящих в группу частого и регулярного потребления.

Таблица 2

## Динамика алкогольного поведения женщин по возрастным группам, %

Возраст	Показатель	2009/2010	2017	2020	2024
18–23 года	Не употребляют	6,1	13,1	24,8	33,1
	Частое + регулярное	64,1	47,7	56,9	36,3
24–29 лет	Не употребляют	7,3	11,8	21,5	24,4
	Частое + регулярное	55,3	58,6	54,7	45,8
30–39 лет	Не употребляют	4,1	11,8	15,3	23,5
	Частое + регулярное	57,4	56,7	61,6	48,2
40–49 лет	Не употребляют	4,7	9,2	15,1	20,7
	Частое + регулярное	53,3	52,9	66,3	51,7
50+ лет	Не употребляют	7,1	11,7	19,4	14,9
	Частое + регулярное	51,5	46,8	43,1	48,5

Как видно из таблицы 2, женские алкогольные практики заметно различаются по возрасту. Среди молодых женщин 18–23 лет наиболее выражен рост отказа от алкоголя: доля не употребляющих увеличилась с 6,1% в 2009–2010 гг. до 33,1% в 2024 г. Доля частого и регулярного употребления в этой группе снизилась с 64,1% до 36,3%. Это позволяет говорить о более широком распространении трезвеннических и эпизодических моделей потребления среди молодых женщин.

В группах 24–29 и 30–39 лет также растёт доля не употребляющих алкоголь, однако частое и регулярное потребление сохраняется у значительной части респонденток. В 2024 г. эти формы отмечались у 45,8% женщин 24–29 лет и у 48,2% женщин 30–39 лет. Наиболее показательной является группа 40–49 лет: доля не употребляющих здесь выросла с 4,7% до 20,7%, но частое и регулярное употребление в 2024 г. сохраняется у 51,7% респонденток. Кроме того, именно в этой возрастной группе зафиксирован самый высокий среди женщин показатель частого употребления — 35,6%.

Такой результат можно объяснить сочетанием поколенческого и жизненного факторов. Женщины 40–49 лет в 2024 г. относятся к поколениям 1975–1984 гг. рождения; их подростковая социализация и ранняя взрослость пришлись на конец 1980-х, 1990-е и начало 2000-х гг. — период высокой распространённости алкогольных практик, резких социальных изменений и более выраженной культурной нормализации потребления. Часть привычек могла закрепляться ещё в молодости. В среднем возрасте к этому добавляются профессиональная, семейная и бытовая нагрузка, забота о детях и старших родственниках, усталость и хроническое напряжение. В таких условиях алкоголь может сохранять значение привычного способа отдыха, эмоциональной разрядки или временного снятия стресса.

Мотивы употребления алкоголя среди женщин (массив 2024 г.) также различаются по возрасту. Среди женщин, употребляющих спиртное, во всех возрастных группах наиболее распространённым остаётся объяснение, связанное с личным желанием и возможностью позволить себе алкоголь (около 70%). Значимым мотивом является желание хорошо провести время, повеселиться, поддержать общение. Среди молодых женщин он выражен сильнее — 54%, тогда как в группах 24–49 лет встречается реже — около 40%.

Наряду с досуговыми мотивами сохраняется обращение к алкоголю как к средству снятия напряжения и плохого настроения. Среди употребляющих алкоголь женщин 18–23 лет этот мотив отметили 23%. В более старших группах он выражен заметнее: среди женщин 24–29 лет его называла примерно каждая третья, среди женщин 40–49 лет — примерно каждая четвёртая. Таким образом, для части молодых женщин алкоголь чаще связан с общением и развлечением, а в средних возрастных группах заметнее его адаптационно-компенсаторная функция.

Дополнительно эта связь прослеживается в ответах на другой вопрос — о способах преодоления стресса, плохого настроения или тяжёлой жизненной ситуации. Здесь расчёт проводился уже по всей женской части выборки, поэтому значения ниже. В целом среди женщин алкоголь как один из таких способов назвали 14,1% респонденток. Наиболее высокий показатель зафиксирован в группе 40–49 лет — 20,9%; среди женщин 18–23 лет он составил 14,6%, 24–29 лет — 15,0%, 30–39 лет — 10,9%, 50 лет и старше — 11,7%. Эти данные позволяют рассматривать женщин 40–49 лет как группу, где частое употребление алкоголя чаще связано с эмоциональным напряжением и повседневной нагрузкой.

Такое распределение мотивов соотносится с исследованиями, в которых женское проблемное употребление алкоголя рассматривается в связи с эмоциональным напряжением, семейными и социальными трудностями [19]. В этом смысле частое употребление у части женщин среднего возраста может быть связано с попыткой временно снизить эмоциональное напряжение, усталость и ощущение повседневной перегрузки.

Рассмотрим рискованные алкогольные практики: состояние сильного опьянения, опыт опохмеления, употребление спиртного специально ради опьянения и превышение запланированного количества выпитого. Эти показатели характеризуют качество алкогольного эпизода и позволяют различать модели потребления по степени риска: сохранению контроля над количеством выпитого, ориентации на выраженное опьянение, тяжести последствий и повторяемости проблемных ситуаций. Показатели рискованных практик рассчитаны среди респондентов, употребляющих алкоголь и давших валидный ответ на соответствующий вопрос; при пересчёте на всю половозрастную группу, включая не употребляющих алкоголь, значения будут ниже.

По ряду показателей мужчины сохраняют более высокую вовлечённость в рискованные формы алкогольного поведения. В 2017 г. сильное алкогольное опьянение за последний год отмечали 38,1% мужчин и 20,3% женщин из числа употребляющих алкоголь и давших валидный ответ на соответствующий вопрос. В 2024 г. мужской показатель почти не изменился и составил 38,5%, среди женщин он вырос до 25,2%. Гендерный разрыв сохраняется: мужчины чаще сообщают об опыте выраженного опьянения. При этом женский показатель также заметен: примерно каждая четвёртая женщина из числа употребляющих алкоголь и ответивших на вопрос имела такой опыт за последний год.

Сходная картина видна по опыту опохмеления. В 2024 г. когда-либо опохмелялись 59,6% мужчин и 34,6% женщин, время от времени или чаще — 31,5% мужчин и 10,9% женщин. Эти данные указывают на более тяжёлые формы алкогольного опыта среди мужчин. Среди женщин подобные практики распространены слабее, хотя их уровень также нельзя считать незначительным.

Женская группа при этом внутренне неоднородна. Наиболее высокий показатель сильного опьянения в 2024 г. зафиксирован среди женщин 18–23 лет, употребляющих алкоголь: 42,6% ответивших сообщили, что за последний год хотя бы раз испытывали состояние, при котором «не могли держаться на ногах». Этот результат характеризует пьющую часть молодых женщин; при пересчёте на всю возрастную группу, включая не употребляющих алкоголь, показатель составляет 26,9%. Опыт опохмеления среди молодых женщин также заметен. В 2024 г. среди употребляющих алкоголь женщин 18–23 лет когда-либо опохмелялись 37,8%, а время от времени или чаще — 16,8%. Это самый высокий показатель повторяющегося опохмеления среди женских возрастных групп.

Данные показатели требуют осторожной интерпретации, поскольку в массиве отсутствовали специальные вопросы о конкретных ситуациях сильного опьянения и опохмеления. Тем не менее они указывают на наличие эпизодически интенсивной модели потребления внутри пьющей части молодых женщин. С учётом данных о мотивах можно предположить, что такие эпизоды чаще связаны с досугом, общением, праздничными ситуациями и стремлением к эмоциональной разрядке.

В целом полученные данные подтверждают неоднородность женских алкогольных практик. Рост доли женщин, не употребляющих алкоголь, сочетается с сохранением регулярного и частого употребления в отдельных возрастных группах и с рискованными эпизодами внутри группы употребляющих. У молодых женщин риск чаще проявляется через сильное опьянение и опохмеление, у женщин среднего возраста — через частое употребление, связанное со стрессом, усталостью и повседневной нагрузкой. Поэтому женское алкогольное

поведение нельзя оценивать только по доле пьющих и непьющих: необходимо учитывать возраст, частоту употребления, мотивы обращения к алкоголю и характер алкогольного эпизода.

**Алкогольные практики студенческой молодёжи.** Отдельный блок эмпирических данных касается студенческой молодёжи. Для анализа использованы материалы исследования сектора социологии девиантного поведения за 2013 г. (N=680), 2016 г. (N=246) и 2024 г. (N=266). Сопоставление этих данных позволяет рассмотреть, как менялись частота употребления алкоголя, структура предпочитаемых напитков, установки по отношению к спиртному и отдельные рискованные практики.

В 2013 г. алкоголь занимал заметное место в студенческой повседневности. Не употребляли алкоголь 16% опрошенных. Среди употребляющих спиртное студентов частое употребление — от одного до семи раз в неделю — отмечали 25%, ещё 3% указывали, что могут употреблять спиртное несколько дней подряд. Регулярное употребление — от одного до нескольких раз в месяц — фиксировалось у 31% употребляющих спиртное студентов, эпизодическое употребление по праздникам или несколько раз в год — у 32%, редкое употребление, один раз в год и реже, — у 9% (табл. 3). В 2016 г. данные показывали схожую картину: 18% студентов не употребляли алкоголь, но потребление немного смягчилось. Среди употребляющих спиртное студентов частое употребление — от одного до семи раз в неделю — отмечали 19%, 1% могли пить несколько дней подряд. Регулярное потребление фиксировалось у 35% употребляющих спиртное студентов, эпизодическое — у 39%, редкое употребление — у 6%.

Таблица 3

Частота употребления алкоголя студентами в 2013, 2016 и 2024 гг., %

Показатель	2013 г.	2016 г.	2024 г.
Частое употребление среди употребляющих	25	19	18
Регулярное употребление среди употребляющих	31	35	30
Эпизодическое употребление среди употребляющих	32	39	44
Редкое употребление среди употребляющих	9	6	7
Периодические длительные употребления среди пьющих	3	1	1
Не употребляют алкоголь	16	18	40

*Примечание:* Показатели частого, регулярного, эпизодического, редкого и периодического длительного употребления рассчитаны среди студентов, употребляющих алкоголь. Доля не употребляющих алкоголь рассчитана от всего массива соответствующей волны.

В 2024 г. группа не употребляющих алкоголь заметно увеличилась. На вопрос о факте употребления спиртного около 40% студентов сообщили, что не употребляют алкоголь или отказались от него. Среди употребляющих алкоголь стали преобладать нерегулярные модели: по праздникам или несколько раз в год — 44%. Доля регулярно употребляющих алкоголь — от одного до нескольких раз в месяц — снизилась до 30%, доля часто употребляющих — до 18%. По сравнению с 2013 и 2016 гг. увеличилась доля отказа от алкоголя, однако среди продолжающих употреблять алкоголь сохраняются регулярные и частые формы потребления (табл. 3).

Современная картина становится более неоднородной, а группа студентов более поляризованной. Часть студентов исключает алкоголь из повседневности, другая часть продолжает употреблять его в ситуациях общения, отдыха, праздников и эмоциональной разрядки.

Особого внимания требуют рискованные характеристики алкогольного поведения. Соответствующие показатели рассчитаны среди студентов, употребляющих алкоголь и давших валидный ответ на вопрос. В исследовании 2013 г. каждый пятый студент отмечал, что употребляет спиртное специально для достижения состояния опьянения; почти каждый третий (31%) за последний год испытывал сильное алкогольное опьянение, при котором «не мог держаться на ногах»; 38% сообщали, что регулярно выпивают больше, чем планировали. Эти данные показывают, что риск был связан не только с частотой потребления, но и с характером алкогольного эпизода: стремлением к опьянению, потерей контроля над количеством выпитого и выраженными последствиями употребления.

В 2016 г. эти показатели сохранялись. Употребление спиртного специально ради чувства опьянения отмечали 17%. Сильное алкогольное опьянение за последний год фиксировалось у 29% ответивших (23% сообщали, что это случилось один-два раза, 7% — более двух раз). Употребление большего количества алкоголя, чем планировалось, отмечали 35% ответивших.

В 2024 г. опыт сильного опьянения за последний год отметили 26% ответивших (21% сообщили, что это случилось один-два раза, 5% — более двух раз). Показатель чуть ниже, чем в 2016 г., однако его уровень остаётся значимым: примерно каждый четвёртый из ответивших студентов имел опыт выраженного алкогольного опьянения за последний год.

Показатель появления на занятиях в нетрезвом виде особенно важен, поскольку показывает проникновение алкогольных практик в образовательную среду. В 2013 г. 17% студентов признавались, что посещали занятия в нетрезвом виде; среди часто употребляющих алкоголь этот показатель был существенно выше (42%). В 2016 г. доля студентов, имевших такой опыт, снизилась до 12%, при этом 9% указали, что это случилось один-два раза, 2% — несколько раз, 0,4% — часто. Среди часто пьющих студентов на занятия в нетрезвом виде приходил почти каждый третий (29%). Даже сниженный показатель остаётся высоким для студенческой среды, поскольку речь идёт уже не о досуговом эпизоде, а о нарушении границ учебной повседневности. В 2024 г. в нетрезвом виде на занятия приходили 9% студентов.

Структура предпочитаемых напитков также менялась. В 2013 г. наиболее распространённым напитком среди студентов оставалось пиво — 51%, далее следовали шампанское — 43%, сладкое и полусладкое вино — 40%, виски/текила — 39%, коньяк — 29%, водка — 24%. Эти данные показывают, что уже в 2013 г. студенческое потребление имело достаточно разнообразный характер: наряду с пивом заметное место занимали вино, шампанское, а также крепкие и статусно маркированные напитки (табл. 4).

В 2016 г. несколько увеличилась доля студентов, выбирающих сладкое и полусладкое вино, при одновременном снижении доли пива и ряда крепких напитков. Этот результат может быть связан как с особенностями состава массива, так и с изменением студенческих предпочтений, поэтому интерпретировать его следует осторожно. Сладкое и полусладкое вино выбирали 45,7% опрошенных, пиво — 44,3%, шампанское — 36,7%, виски — 25,7%, водку — 20,8%. К 2024 г.

заметно снизилась распространённость ряда крепких напитков, в первую очередь коньяка и виски, в меньшей степени — водки; при этом доля женщин в массе 2024 г. составляла 45%.

Таблица 4

**Структура алкогольных напитков, употребляемых студентами, 2013, 2016 и 2024 гг.,  
% от числа опрошенных\***

Напитки	2013 г.	2016 г.	2024 г.
Пиво	51,0	44,3	42,2
Шампанское	43,0	36,7	38,0
Сладкое/полусладкое вино	40,0	45,7	30,2
Виски	39,0**	25,7	19,8
Водка	24,0	20,8	18,7
Сухое вино	21,0	19,2	11,4
Коньяк	29,0	13,5	9,3
Вермут/мартини	23,0	13,5	11,2
Коктейли покупные	20,4	13,1	11,1
Коктейли индивидуального приготовления	18,0	15,9	10,0
Домашние наливки/домашнее вино	15,0	6,9	3,1
Ликёры	14,0	10,6	9,0
Самогон/чача	3,0	3,3	3,2

*Примечания:* \* Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответа; проценты рассчитаны от числа опрошенных в соответствующей волне и не суммируются до 100%.

\*\* В данных 2013 г. категория была обозначена как «виски, текила, ром»; в 2016 г. «виски» и «джин, текила, ром» фиксировались отдельно, поэтому сопоставление по этой позиции носит ориентировочный характер.

Данные о напитках показывают ослабление пивной доминанты и сохранение разнообразной структуры студенческого потребления. Пиво остаётся одним из наиболее распространённых напитков, но его преимущество снижается. Одновременно заметную роль сохраняют вина, шампанское и часть крепкого алкоголя. Эти результаты позволяют говорить скорее о диверсификации студенческого потребления, чем о прямом переходе к какой-либо одной модели употребления спиртного. Уменьшение доли отдельных напитков само по себе не свидетельствует о переходе к менее рискованным формам потребления. Алкоголь продолжает присутствовать в разных досуговых ситуациях, а риск связан с частотой употребления, количеством выпитого, мотивом обращения к спиртному и способностью контролировать алкогольный эпизод.

Данные ВЦИОМ 2024 г. показывают, что у самых молодых поколений алкогольные предпочтения заметно отличаются от старших возрастных групп. Среди представителей цифрового поколения, родившихся в 2001 г. и позднее, 54% не употребляют алкоголь; среди тех, кто выбирает спиртные напитки, чаще называется пиво — 27%, реже вино — 13%, тогда как водка практически отсутствует в структуре предпочтений — 1%. У младших миллениалов 1992–2000 гг. доля непьющих ещё выше — 61%, а среди употребляющих спиртное чаще называются пиво и вино<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Новая эпоха трезвости: аналитический обзор // ВЦИОМ. 07.10.2024. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novaja-ehpokha-trezvosti> (дата обращения: 08.04.2026).

Отношение студентов к алкоголю также демонстрирует двойственность. В 2013 г. более трети студентов ориентировались на трезвость или максимально редкое употребление спиртного, ещё 42% поддерживали умеренное употребление по случаю праздника или в хорошей компании. В совокупности 78% опрошенных на уровне деклараций выбирали трезвость или умеренное употребление. В 2016 г. трезвеннически-осторожные установки были выражены сильнее: 18,8% выбрали позицию полной трезвости, 25,5% — установку «лучше пить как можно реже», вместе — 44,3%. В 2024 г. этот показатель остаётся близким: 25,2% выбрали полную трезвость, 20,5% — максимально редкое употребление, вместе — 45,7%. Модель умеренного употребления по праздникам или в компании в 2016 г. поддерживали 33,5%, в 2024 г. — 31,3%.

В 2024 г. дополнительно фиксируется достаточно выраженное осуждение неумеренного употребления алкоголя: 64,5% студентов считают, что такое поведение нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. При этом 19,5% называют это личным делом каждого, 8,5% считают допустимым в некоторых случаях, 3,0% предлагают относиться снисходительно. Следовательно, большинство студентов осуждает неумеренное употребление, но часть молодёжи сохраняет установку на индивидуальную допустимость или ситуативное оправдание такого поведения.

Сравнение трёх волн позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, в 2024 г. заметно увеличивается группа студентов, отказавшихся от алкоголя. Во-вторых, среди употребляющих сохраняются регулярные и частые формы потребления. В-третьих, рискованные практики становятся менее распространёнными по ряду индикаторов, но сохраняют значимый уровень: сильное опьянение за последний год отмечает примерно четверть ответивших студентов. В-четвёртых, алкоголь остаётся частью досуга, общения и эмоциональной разрядки для части студенческой молодёжи. Поэтому современную ситуацию в студенческой среде целесообразно описывать как более неоднородную: растёт группа трезвости и редкого употребления, но внутри группы употребляющих сохраняются регулярные и рискованные модели поведения.

**Заключение.** Проведённый анализ показывает, что современная алкогольная ситуация в России становится более неоднородной. Общая тенденция к снижению распространённости употребления спиртного подтверждается ростом доли людей, исключаящих алкоголь из повседневной жизни, и усилением трезвеннических установок, особенно среди молодёжи. При этом регулярные, частые и рискованные формы потребления сохраняются прежде всего среди части мужчин, женщин среднего возраста, а также внутри пьющей части молодых и студенческих групп.

Полученные данные позволяют рассматривать алкогольное поведение как часть повседневных социальных практик. Значение имеют частота употребления, выбор напитков, отношение к опьянению, мотивы обращения к алкоголю и ситуации потребления. В одних группах закрепляется отказ от спиртного или редкое употребление, в других алкоголь сохраняет место в досуге, общении, эмоциональной разрядке и совладании с напряжением.

Женские алкогольные практики отличаются выраженной внутренней дифференциацией. Среди молодых женщин 18–23 лет наиболее заметен отказ от спиртного: в 2024 г. не употребляли алкоголь 33% респонденток этой группы. Вместе с тем внутри пьющей части молодых женщин фиксируются эпизоды

сильного опьянения и опохмеления. Среди женщин среднего возраста, особенно в группе 40–49 лет, заметнее связь частого употребления со стрессом, усталостью, повседневной нагрузкой и адаптационно-компенсаторными мотивами. Это указывает на разные основания вовлечённости в алкогольные практики в зависимости от возраста.

Материалы студенческих опросов также показывают расслоение алкогольных практик. Среди студентов увеличивается доля не употребляющих алкоголь, усиливаются установки на трезвость и умеренность. Одновременно среди употребляющих сохраняются регулярные формы потребления, опыт сильного опьянения, появление на занятиях в нетрезвом виде и досуговые модели употребления.

Таким образом, современная алкогольная ситуация характеризуется поляризацией потребительских моделей. Расширение трезвеннических установок сочетается с сохранением регулярного, стрессового и эпизодически интенсивного употребления в конкретных возрастных и гендерных подгруппах. Поэтому улучшение обобщённых показателей не устраняет социальных рисков, связанных с алкоголем.

Полученные данные показывают ограниченность универсальных профилактических подходов. Профилактика должна быть более адресной и учитывать реальные модели потребления. Для молодёжи значимы меры, направленные на снижение эпизодов сильного опьянения, работу с групповыми нормами досуга и недопущение переноса алкогольных практик в образовательную среду. Для женщин среднего возраста требуется внимание к стрессу, перегрузке, эмоциональному истощению и доступным способам совладания без обращения к спиртному. Для групп регулярного и частого потребления необходима работа, направленная на преодоление нормализации опьянения, терпимости к злоупотреблению и представления об алкоголе как привычном способе отдыха. Такая профилактика должна учитывать различия между поколениями, мужчинами и женщинами, молодёжью и средними возрастными группами, а также ситуации, в которых алкоголь сохраняет привлекательность как средство общения, расслабления и временного снятия напряжения.

### Библиографический список

1. Немцов А. В. Российская смертность в свете потребления алкоголя // Демографическое обозрение. 2015. Т. 2, № 4. С. 111–135. DOI [10.17323/demreview.v2i4.1770](https://doi.org/10.17323/demreview.v2i4.1770). EDN [VSBBERD](#).
2. Немцов А. В., Терехин А. Т. Размеры и диагностический состав алкогольной смертности в России // Наркология. 2007. Т. 6, № 12. С. 29–36. EDN [PXMQZD](#).
3. Leon D. A., Shkolnikov V. M., McKee M. Alcohol and Russian mortality: a continuing crisis // Addiction. 2009. Vol. 104, No. 10. P. 1630–1636. DOI [10.1111/j.1360-0443.2009.02655.x](https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02655.x). EDN [MYCEZH](#).
4. Pridemore W. A. Vodka and Violence: Alcohol Consumption and Homicide Rates in Russia // American Journal of Public Health. 2002. Vol. 92, No. 12. P. 1921–1930. DOI [10.2105/AJPH.92.12.1921](https://doi.org/10.2105/AJPH.92.12.1921). EDN [MEHWGN](#).
5. Медико-социальные и экономические последствия злоупотребления алкоголем в России / Е. А. Кошкина, Н. И. Павловская, Р. И. Ягудина [и др.] // Социальные аспекты здоровья населения. 2010. № 2(14). С. 3. EDN [MQPXGR](#).
6. Радаев В. В., Рощина Я. М. Измерение потребления алкоголя как методологическая проблема // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2019. № 48. С. 7–57. EDN [DSPNRJ](#).
7. Radaev V., Roshchina Y. Young cohorts of Russians drink less: age-period-cohort modelling of alcohol use prevalence 1994–2016 // Addiction. 2019. Vol. 114, No. 5. P. 823–835. DOI [10.1111/add.14535](https://doi.org/10.1111/add.14535). EDN [RUHZCS](#).

8. *Кондратенко В. А.* Структура и типы потребления алкоголя российской молодёжью и их родителями в 2006–2019 гг. // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). 2022. Вып. 12. С. 150–177. DOI [10.19181/rlms-hse.2022.5](https://doi.org/10.19181/rlms-hse.2022.5). EDN [ZGRTCK](#).
9. Структура употребления алкоголя в России по данным исследования ЭССЕ-РФ: есть ли «ковидный след»? / С. А. Максимов, С. А. Шальнова, Ю. А. Баланова [и др.] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023. Т. 22, № 8S. С. 30–43. DOI [10.15829/1728-8800-2023-3786](https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3786). EDN [XJKKMN](#).
10. *Радаев В. В., Котельникова З. В.* Изменение структуры потребления алкоголя в контексте государственной алкогольной политики в России // Экономическая политика. 2016. Т. 11, № 5. С. 92–117. DOI [10.18288/1994-5124-2016-5-05](https://doi.org/10.18288/1994-5124-2016-5-05). EDN [XAIEJF](#).
11. *Котельникова З. В.* Взаимосвязь практик потребления алкоголя с социальной структурой современной России // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 105–112. EDN [TRRQOB](#).
12. *Позднякова М. Е., Брюно В. В.* Трансформация девиантного поведения в условиях социальной тревожности современного российского общества // Россия реформирующаяся. 2025. Вып. 23. С. 62–94. DOI [10.19181/ezheg.2025.3](https://doi.org/10.19181/ezheg.2025.3). EDN [HIDZUO](#).
13. *Позднякова М. Е., Брюно В. В.* Особенности употребления алкоголя женщинами-горожанками с различным социально-профессиональным статусом // Социологическая наука и социальная практика. 2021. Т. 9, № 3. С. 148–166. DOI [10.19181/snsp.2021.9.3.8439](https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.3.8439). EDN [UZLXSB](#).
14. *Meier P. S., Warde A., Holmes J.* All drinking is not equal: how a social practice theory lens could enhance public health research on alcohol and other health behaviours // *Addiction*. 2018. Vol. 113, No. 2. P. 206–213. DOI [10.1111/add.13895](https://doi.org/10.1111/add.13895).
15. *Room R.* Normative Perspectives on Alcohol Use and Problems // *Journal of Drug Issues*. 1975. Vol. 5, No. 4. P. 358–368. DOI [10.1177/002204267500500407](https://doi.org/10.1177/002204267500500407).
16. Defining “drinking culture”: A critical review of its meaning and connotation in social research on alcohol problems / *M. Savic, R. Room, J. Mugavin [et al.]* // *Drugs: Education, Prevention and Policy*. 2016. Vol. 23, No. 4. P. 270–282. DOI [10.3109/09687637.2016.1153602](https://doi.org/10.3109/09687637.2016.1153602).
17. *Рощина Я. М., Кондратенко В. А.* «Скажи мне, что ты пьешь, и я скажу тебе, кто ты»: как изменялась взаимосвязь между социальным классом и типом потребления алкоголя в России // *Мир России*. 2024. Т. 33, № 1. С. 56–83. DOI [10.17323/1811-038X-2024-33-1-56-83](https://doi.org/10.17323/1811-038X-2024-33-1-56-83). EDN [FNIRUP](#).
18. Birth cohort trends in the global epidemiology of alcohol use and alcohol-related harms in men and women: Systematic review and metaregression / *T. Slade, C. Chapman, W. Swift [et al.]* // *BMJ Open*. 2016. Vol. 6, No. 10. Art. e011827. DOI [10.1136/bmjopen-2016-011827](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011827). EDN [YAUEHT](#).
19. *Киржанова В. В., Бабушкина Е. И.* Особенности женского алкоголизма // *Медицина*. 2024. Т. 12, № 4. С. 119–132. DOI [10.29234/2308-9113-2024-12-4-119-132](https://doi.org/10.29234/2308-9113-2024-12-4-119-132). EDN [CWJNAL](#).

Поступила: 09.04.2026. Доработана: 23.05.2026. Принята: 29.05.2026.

#### **Сведения об авторе:**

**Ангарская Ирина Викторовна**, научный сотрудник,  
Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия. [iraangarskaya@mail.ru](mailto:iraangarskaya@mail.ru)  
Author ID РИНЦ: [940686](#); ORCID: [0000-0002-4449-4933](#)

## ALCOHOL CONSUMPTION IN DIFFERENT SOCIAL GROUPS OF RUSSIAN SOCIETY: TRENDS AND RISKS

**Abstract.** The article examines changes in alcohol consumption practices across various social groups in Russian society against the background of a general decline in the prevalence of alcohol use. The empirical basis of the study comprises sociological survey data on the urban working-age population aged 18–60, collected by the Deviant Behavior Sociology Sector of the Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, in 2009–2010, 2017, 2020, and 2024, as well as survey data on university students collected in 2013, 2016, and 2024. The article shows that the decline in the share of alcohol users is accompanied by heterogeneous dynamics of drinking practices: the spread of abstinence-oriented attitudes coexists with the persistence of regular and frequent alcohol use in particular groups. Special attention is paid to gender and age differences. The study finds that women's drinking practices are internally differentiated: abstinence from alcohol is more pronounced among young women, whereas among some middle-aged women more frequent drinking is associated with stress, everyday burden, and adaptive-compensatory motives. Based on student survey data, the article reveals an increase in the proportion of non-drinkers alongside the persistence of risky drinking episodes among some students who consume alcohol. The article concludes that the contemporary alcohol situation is characterized by an uneven decline in involvement in alcohol use: the expansion of abstinence-oriented practices coexists with the persistence of frequent drinking, stress-related motives, and risky drinking episodes in particular social groups.

**Keywords:** alcohol consumption; drinking practices; risky alcohol use; gender differences; women's drinking practices; university students; social adaptation; deviant behavior

**For citation:** Angarskaya I. V. Alcohol consumption in different social groups of Russian society: trends and risks. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):86–103. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.6>

### References

1. Nemtsov A. V. Mortality in Russia in light of the in alcohol consumption. *Demographic Review*. 2015;2(4):111–135. (In Russ.). DOI [10.17323/demreview.v2i4.1770](https://doi.org/10.17323/demreview.v2i4.1770).
2. Nemtsov A. V., Terekhin A. T. Dimension and diagnostic structure of alcohol mortality in Russia. *Narcology*. 2007;6(12):29–36. (In Russ.).
3. Leon D. A., Shkolnikov V. M., McKee M. Alcohol and Russian mortality: a continuing crisis. *Addiction*. 2009;104(10):1630–1636. DOI [10.1111/j.1360-0443.2009.02655.x](https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02655.x).
4. Pridemore W. A. Vodka and violence: alcohol consumption and homicide rates in Russia. *American Journal of Public Health*. 2002;92(12):1921–1930. DOI [10.2105/AJPH.92.12.1921](https://doi.org/10.2105/AJPH.92.12.1921).
5. Koshkina E. A., Pavlovskaya N. I., Yagudina R. I. [et al.] Health and social and also economic consequences of alcohol abuse in the Russian Federation. *Social Aspects of Population Health*. 2010;(2):3. (In Russ.).
6. Radaev V. V., Roshchina Ya. M. Measuring alcohol consumption as a methodological problem. *Sociology: methodology, methods, mathematical modeling*. 2019;(48):7–57. (In Russ.).
7. Radaev V., Roshchina Y. Young cohorts of Russians drink less: age-period-cohort modelling of alcohol use prevalence 1994–2016. *Addiction*. 2019;114(5):823–835. DOI [10.1111/add.14535](https://doi.org/10.1111/add.14535).
8. Kondratenko V. A. Alcohol Consumption by Russian Youth and Their Parents in 2006–2019. *Russian Longitudinal Monitoring Survey Bulletin (RLMS-HSE)*. 2022;(12):150–177. (In Russ.). DOI [10.19181/rlms-hse.2022.5](https://doi.org/10.19181/rlms-hse.2022.5).
9. Maksimov S. A., Shalnova S. A., Balanova Yu. A. [et al.] Alcohol consumption patterns in Russia according to the ESSE-RF study: is there a COVID-19 trace? *Cardiovascular Therapy and Prevention*. 2023;22(8S):30–43. (In Russ.). DOI [10.15829/1728-8800-2023-3786](https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3786).

10. Radaev V. V., Kotelnikova Z. V. Changes in alcohol consumption and governmental alcohol policy in Russia. *Economic Policy*. 2016;11(5):92–117. (In Russ.). DOI [10.18288/1994-5124-2016-5-05](https://doi.org/10.18288/1994-5124-2016-5-05).
11. Kotelnikova Z. V. Relationship of alcohol consumption with social structure of contemporary Russia. *Sociological Studies*. 2015;(4):105–112. (In Russ.).
12. Pozdnyakova M. E., Bruno V. V. The transformation of deviant behavior in the context of social anxiety in contemporary Russian society. *Russia in Transition*. 2025;(23):62–94. (In Russ.). DOI [10.19181/ezheg.2025.3](https://doi.org/10.19181/ezheg.2025.3).
13. Pozdnyakova M. E., Bruno V. V. Peculiarities of alcohol consumption by urban women with different socio-professional status. *Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika*. 2021;9(3):148–166. (In Russ.). DOI [10.19181/snsp.2021.9.3.8439](https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.3.8439).
14. Meier P. S., Warde A., Holmes J. All drinking is not equal: how a social practice theory lens could enhance public health research on alcohol and other health behaviours. *Addiction*. 2018;113(2):206–213. DOI [10.1111/add.13895](https://doi.org/10.1111/add.13895).
15. Room R. Normative perspectives on alcohol use and problems. *Journal of Drug Issues*. 1975;5(4):358–368. DOI [10.1177/002204267500500407](https://doi.org/10.1177/002204267500500407).
16. Savic M., Room R., Mugavin J. [et al.] Defining “drinking culture”: a critical review of its meaning and connotation in social research on alcohol problems. *Drugs: Education, Prevention and Policy*. 2016;23(4):270–282. DOI [10.3109/09687637.2016.1153602](https://doi.org/10.3109/09687637.2016.1153602).
17. Roshchina Ya. M., Kondratenko V. A. “Tell me what you drink, and I will tell you who you are”: how the interrelation between social class and type of alcohol consumed in Russia has changed. *Universe of Russia*. 2024;33(1):56–83. (In Russ.). DOI [10.17323/1811-038X-2024-33-1-56-83](https://doi.org/10.17323/1811-038X-2024-33-1-56-83).
18. Slade T., Chapman C., Swift W. [et al.] Birth cohort trends in the global epidemiology of alcohol use and alcohol-related harms in men and women: systematic review and metaregression. *BMJ Open*. 2016;6(10):e011827. DOI [10.1136/bmjopen-2016-011827](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011827).
19. Kirzhanova V. V., Babushkina E. I. Features of female alcoholism. *Medicine*. 2024;12(4):119–132. (In Russ.). DOI [10.29234/2308-9113-2024-12-4-119-132](https://doi.org/10.29234/2308-9113-2024-12-4-119-132).

Received: 09.04.2026. Corrected: 23.05.2026. Accepted: 29.05.2026.

**Author information:**

**Irina V. Angarskaya**, Researcher,  
Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia. [iraangarskaya@mail.ru](mailto:iraangarskaya@mail.ru)  
ORCID: [0000-0002-4449-4933](https://orcid.org/0000-0002-4449-4933)



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.7](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.7)  
EDN [JLJVZC](https://edn.org/JLJVZC)  
УДК 316.346.32-053.9:614.2



К. А. Галкин<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН. Санкт-Петербург, Россия

## ПРАКТИКИ ОБРАЩЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ К КОМПЛЕМЕНТАРНЫМ СПОСОБАМ ЛЕЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

**Аннотация.** В современном российском контексте параллельно с доказательной медициной и системой медико-санитарной помощи населению функционирует широкий спектр дополняющих и частично заменяющих методов лечения, методологическая неоднородность которых требует анализа не столько самих систем, сколько способов их повседневного использования. В рамках настоящего исследования мы определяем подобные методы как комплементарные и рассматриваем их как гибридные формы, соединяющие биомедицинские методы и разовое или несистематическое дополнение терапии другими практиками (траволечение, проверенные народные средства и др.), которые воспринимаются не как альтернатива официальной медицине, а как её содержательное дополнение. Центральный исследовательский вопрос связан с тем, каким образом пожилые люди справляются с трудностями понимания биомедицинских методов лечения и возникающим к ним недоверием. Особое внимание уделяется рассмотрению того, как обращение к комплементарным способам лечения способствует формированию чувства спокойствия, определённости и психологической устойчивости у пожилых жителей сельской местности. Эмпирическую основу исследования составили глубинные интервью с представителями старших возрастных групп, проживающими в сельских районах Ленинградской области и Республики Карелия. Для обработки данных применялся метод тематического анализа, позволивший выделить ключевые темы и продемонстрировать значимость гибридизации лечения среди представителей старшего возраста. Выявлено, что комплементарные способы лечения легитимируются вследствие кризиса доверия к биомедицине и качеству медицинской помощи в сельской местности, а также ввиду большей понятности и доступности привычных способов поддержания здоровья. Основными темами, выявленными в интервью, стали практики обращения к комплементарным методам лечения, доверие к медицинской помощи в сельской местности, сохранение значимости лечения с использованием биомедицинских методов, а также отношение к биомедицине как к основному, но не единственному способу терапии.

**Ключевые слова:** комплементарные способы лечения, пожилые люди, сельская местность, альтернативные способы лечения, гибридные практики лечения, медиализация, выбор способов лечения

**Для цитирования:** Галкин К. А. Практики обращения пожилых людей к комплементарным способам лечения в сельской местности // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 104–121. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.7](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.7). EDN [JLJVZC](https://edn.org/JLJVZC).

**Введение.** На протяжении последнего столетия ведущей формой медицинской помощи в большинстве стран мира является биомедицина — медицинская система европейского происхождения, характеризующаяся развитой технологической базой, наличием специализированных исследовательских центров, системой профессионального образования и высоким уровнем экспертного знания. Биомедицинская модель лечения обладает значительным потенциалом

для диагностики и терапии широкого спектра заболеваний с использованием современных научных методов. В западной антропологической традиции доказательная медицина рассматривается как биомедицина или ортодоксальная медицина, тогда как иные терапевтические практики интерпретируются в качестве социокультурных моделей лечения [1; 2]. Одной из ключевых характеристик данной системы выступает доказательный метод, предполагающий сложную процедуру проверки научных гипотез и формирование многоуровневой системы подтверждения диагнозов. Подобная модель диагностики и лечения признается научно обоснованной и наиболее надёжной, однако её логика и используемые профессиональные объяснительные модели не всегда оказываются понятными для пациентов. Именно биомедицина выступает в качестве конвенциональной, то есть официально признанной государственной системы медицинской помощи. Вместе с тем опыт включения биомедицинских практик в повседневные стратегии лечения в различных странах существенно различается, и наряду с ними могут использоваться альтернативные подходы. В частности, в 1976 году специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения, в состав которой входили исследователи и практикующие врачи, обратила внимание на значимость использования ресурсов народной и традиционной медицины, включая китайскую и арабскую медицинские системы [3]. Отмечалась возможность интеграции некоторых эффективных методов в практику биомедицины, особенно в тех странах, где традиционные формы медицинской помощи исторически выступали основными и где населению было сложно адаптироваться к переходу на биомедицинскую модель [4]. Современное понимание альтернативной или народной медицины не предполагает полного замещения биомедицинских методов. Напротив, данные практики чаще рассматриваются как способы расширения терапевтических возможностей и дополнения существующих медицинских подходов [5].

В настоящем исследовании мы рассматриваем преимущественно способы лечения с использованием различных методов, непризнанных в биомедицине, в качестве комплементарных и позиционируем их как дополняющие и расширяющие биомедицинские процедуры. Существует множество причин, обуславливающих обращение к комплементарным методам лечения. Среди них исследователи — прежде всего антропологи, рассматривающие культурное влияние и специфику распространения альтернативных практик — выделяют ряд особенностей. Особое место среди паттернов мотивации занимают социокультурные особенности развития тех или иных обществ. В обществах, где исторически сформировалась разветвлённая система традиционной медицины, население в большей степени склонно доверять альтернативным методам, обращаться к ним самостоятельно либо сочетать их с биомедицинскими способами терапии [6; 7]. В подобных условиях формируются устойчивые симбиотические модели, в которых используются различные практики поддержания здоровья и преодоления заболеваний. Ещё одним значимым паттерном выступает большая доступность комплементарных методов для понимания. Особенно ярко это проявляется в культурных традициях, где народная медицина исторически достигла значительных результатов. Существенную роль в данном случае играют и поколенческие особенности. Сохранение успешных практик лечения тех или иных заболеваний, характерное преимущественно для представителей старшего поколения, позволяет формировать более высокий уровень доверия к процессу лечения и использовать проверенные временем способы поддержания здоровья [8; 9].

Особое значение приобретает возможность дополнения биомедицинских методов практиками, не связанными напрямую с доказательной медициной. В этом контексте комплементарная медицина выступает как форма расширения биомедицинского лечения и связана с разнообразными сочетаниями традиционных способов лечения и современных медицинских подходов. Ещё одним фактором обращения к комплементарным методам являются медиализация и сложность языка доказательной медицины. Непонимание нередко возникает даже в обществах, где доказательная медицина традиционно развита значительно сильнее [10]. Это может быть связано как с трудностями выстраивания комфортной коммуникации между врачом и пациентом, так и с невозможностью понять механизм лечения и ожидаемый эффект от него, особенно в тех случаях, когда он не достигается либо не может быть достигнут в необходимой форме.

Феномен медиализации — это использование специализированного научного языка, ориентированного на применение профессиональной терминологии и научных методов описания заболеваний [10; 11]. Подобный язык широко используется как в процессе диагностики, так и в коммуникации между врачами и пациентами. Для многих пациентов он оказывается трудным для восприятия, что приводит к возникновению коммуникативных барьеров и затрудняет формирование доверительных отношений [12]. Проблема коммуникации между врачом и пациентом неоднократно рассматривалась в отечественных и зарубежных исследованиях, посвящённых вопросам доверия в медицинской сфере [11; 13]. Непонимание медицинских объяснительных моделей способно существенно влиять на формирование доверия. В ситуациях, когда представления пациента о причинах и характере заболевания отличаются от профессиональной интерпретации врача, а используемый медицинский язык остаётся непонятным, уровень доверия к специалисту может снижаться [14].

Следует отметить, что вопрос интеграции отдельных элементов традиционной медицины в систему биомедицины обсуждался на международном уровне. Несмотря на активное развитие биомедицины и её институционализацию, в мире по-прежнему сохраняется значительное влияние традиционной медицины и сочетание традиционных и альтернативных практик лечения, что во многом определяется культурными особенностями конкретных обществ. В ряде государств основными способами лечения по-прежнему признаются именно традиционные и альтернативные методы, тогда как биомедицина воспринимается как относительно более поздняя и институционально закреплённая форма медицинской помощи [15].

В связи с этим перед исследователями, в частности социологами, возникает важная исследовательская задача. В отличие от антропологов, которые предлагают собственные подходы к интерпретации альтернативной медицины, социологический анализ предполагает изучение социальных причин сохранения традиционных практик. Речь идёт о стремлении использовать доступные и знакомые средства, которые нередко воспринимаются как более простые и понятные по сравнению с фармакологическими препаратами, применяемыми в биомедицине. Медицинские и медико-психологические исследования, посвящённые данной проблеме, как правило, рассматривают использование альтернативных методов преимущественно в контексте потенциальной угрозы для здоровья и жизни пациента [14]. При этом значительно реже анализируются социальные мотивации, побуждающие людей обращаться к подобным практикам. В этой связи одной из важных задач социологического исследования становится изу-

чение роли комплементарных способов лечения в повседневной жизни, а также выявление факторов, выступающих препятствием для обращения к биомедицине или формирования доверия к ней. Следует также учитывать, что различные возрастные когорты по-разному оценивают эффективность альтернативных методов лечения. Результаты ранее проведённых исследований показывают, что наиболее лояльную к подобным практикам социальную группу составляют представители старших возрастных категорий, проживающие в сельской местности и сохраняющие традиционные представления и «знания» о лечении [16].

Взаимодействие пожилых людей с биомедицинской системой здравоохранения в России, особенно в сельской местности, сопровождается рядом структурных трудностей. Одной из наиболее распространённых проблем является ограниченная доступность медицинской помощи. Фельдшеры в сельской местности, как правило, обслуживают обширные территории, которые нередко охватывают населённые пункты, расположенные на расстоянии десяти и более километров друг от друга. При этом медицинские работники располагают ограниченными ресурсами и медикаментами, что снижает возможности оказания своевременной и полноценной помощи [17]. В результате пожилые люди вынуждены искать дополнительные способы поддержания здоровья и лечения заболеваний, включая различные формы комплементарных практик. Дополнительным фактором выступают процессы оптимизации системы сельского здравоохранения, происходящие в последние годы в России. В ряде регионов наблюдается сокращение числа фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), что снижает доступность первичной медицинской помощи для жителей сельских территорий. Подобное сокращение инфраструктуры не только создаёт логистические трудности, но и способствует кризису институциональной легитимности официальной медицины, что закономерно подталкивает население к выработке неформальных стратегий здоровья и усиливает зависимость от альтернативных способов её поддержания [1]. При этом следует подчеркнуть, что в отечественном научном дискурсе проблема организации первичной медико-санитарной помощи для пожилых жителей сельской местности остаётся недостаточно изученной, что затрудняет понимание реальных потребностей данной социальной группы и формирование эффективных механизмов медицинской поддержки.

В настоящей статье ставится исследовательский вопрос о том, каким образом пожилые люди преодолевают трудности понимания биомедицинских методов лечения и возникающее недоверие к ним. Особое внимание уделяется анализу того, как использование комплементарных способов лечения способствует формированию чувства спокойствия, уверенности и определённости. Целью исследования является анализ различных практик обращения к комплементарным способам лечения, которые используются в качестве дополнения к биомедицинским подходам в повседневной жизни пожилых людей, проживающих в сельской местности.

**Обзор исследований.** Современные отечественные и зарубежные исследования активно анализируют процессы организации пациентами собственного выбора в сфере лечения. Учёные подчёркивают, что современная система здравоохранения не может функционировать как жёстко контролирующий механизм, полностью основанный исключительно на принципах доказательной медицины [18; 19]. В связи с этим возрастает значимость изучения специфики выбора терапевтических практик, а также того, какие способы лечения воспринимаются

пациентами как приемлемые в рамках научно обоснованных подходов, а какие — как категорически неприемлемые. Подобное неприятие нередко приводит к поиску альтернативных вариантов лечения. С момента появления первых клинических экспериментов Джеймса Линда по предотвращению цинги, доказательная медицина неизменно сопровождается стремлением закрепить монополию в области лечения и утвердить научный метод как основной инструмент медицинской практики [20]. Это стремление выражается, в том числе, в контроле над процессами диагностики, терапии и профилактики заболеваний. Однако подобная доминирующая позиция доказательной медицины зачастую становится объектом критики, что особенно заметно в условиях развитой институциональной базы здравоохранения и широких возможностей её популяризации в медиа. Негативные оценочные суждения усилились в период пандемии COVID-19, когда научное сообщество столкнулось со значительными трудностями в быстром реагировании на глобальный кризис и оперативной разработке эффективной вакцины [21]. В современных работах всё чаще отмечается, что стандартизированный характер доказательной медицины предполагает постоянный контроль над терапевтическими процессами [12; 22], не предоставляя пациентам достаточного количества альтернативных вариантов лечения, что создаёт жёсткую структуру распределения власти в медицинской сфере. Большинство мировых медицинских систем, включая советскую и последующую российскую, развивались именно в указанном контексте, внутри которого проводилось чёткое разграничение методов терапии. Если определённые подходы из традиционной или альтернативной медицины демонстрируют эффективность, они интегрируются в клиническую практику и обозначаются как «комплементарные», то есть дополнительные методы. Однако наряду с официальными классификациями существует и неофициальная система ориентиров: пациенты часто применяют собственные методы и средства лечения, формируя индивидуальные терапевтические маршруты. Исследования показывают, что спектр альтернативных подходов чрезвычайно широк, а границы между официальной и неофициальной медициной остаются подвижными, поскольку многие направления альтернативной медицины взаимно пересекаются, влияя на восприятие пациентами терапевтических возможностей [23].

На уровне научной теории разграничение между традиционными, альтернативными и доказательными методами осложняется различиями в системах здравоохранения разных стран. Некоторые традиционные практики могут быть официально признаны и даже интегрированы в систему медицинского обслуживания, тогда как другие остаются за пределами легитимизированного поля [24]. В этом смысле граница между признанным и альтернативным нередко носит политический характер и зависит от распределения власти в медицинской сфере. М. Сакс подчёркивает, что отнесение лечебных практик к альтернативным или официальным напрямую связано со степенью их легитимации [24]. Следовательно, само определение альтернативной медицины во многом является социальным конструктом, зависящим от политических решений, форм регулирования медицинской деятельности и установленных культурных нормативов. Следует отметить, что в современном научном дискурсе существует значительное количество подходов к определению понятий «альтернативная медицина», «народная медицина» и «традиционная медицина». В различных исследовательских традициях данные категории интерпретируются по-разному в зависимости от культурных, исторических и институциональных особенностей

развития систем здравоохранения. Во многих странах исследователи придерживаются разграничения конвенциональной и неконвенциональной медицины. Под неконвенциональной медициной понимаются медицинские практики, не основанные на биомедицинских методах диагностики и лечения. В рамках данной категории принято выделять два основных направления: комплементарную (дополнительную) и альтернативную медицину. Подобная классификация используется в том числе в документах Всемирной организации здравоохранения [25]. Хотя комплементарная и альтернативная медицина в ряде исследований рассматриваются как взаимозаменяемые категории, между ними существуют принципиальные различия. Альтернативная медицина ориентирована на использование самостоятельных терапевтических практик, которые развиваются вне рамок биомедицинской модели лечения и нередко противопоставляются ей. В данном случае альтернативные методы рассматриваются как самостоятельная система лечения заболеваний [26]. Комплементарная медицина, напротив, предполагает использование терапевтических практик (например, фитотерапии), способных дополнять биомедицинские методы и оказывать поддерживающее воздействие совместно с ними. В русскоязычном научном дискурсе термин «комплементарная медицина» используется сравнительно редко из-за фонетической близости к слову «комплимент», что нередко вызывает семантические затруднения в повседневном употреблении. Чаще используются термины «народная» или «альтернативная» медицина [27]. При этом понятие народной медицины в ряде случаев оказывается наиболее близким по содержанию к комплементарной медицине, поскольку подобные практики нередко выполняют поддерживающую и дополняющую функцию по отношению к биомедицинскому лечению. В рамках настоящего исследования основное внимание уделяется именно комплементарной медицине. Используемые практики рассматриваются как способы, дополняющие биомедицинские методы лечения и, в ряде случаев, воспринимаемые как более понятные, комфортные и поддерживающие формы терапевтического воздействия. В данной работе используется концептуальная модель, в которой комплементарные способы лечения рассматриваются как дополнительные, формирующие гибридные формы терапии. Они включают в себя различные практики, воспринимаемые самими представителями старшего возраста не как замена основного лечения, а как его дополнение в рамках биомедицинской системы. Таким образом, комплементарная медицина, включающая элементы традиционной и народной медицины, рассматривается нами как гибридная форма лечения, связанная с разнообразными практиками поддержания здоровья в сельской местности в условиях разреженной инфраструктуры.

Значительную роль в распространении комплементарной медицины играет региональный контекст. В сельской местности границы между доказательной и комплементарной медициной часто размыты: назначенное врачом лечение дополняется народными средствами, а помощь местных знахарей может восприниматься как естественная часть лечебного процесса. В городах такие практики более формализованы, представлены в виде платных услуг и нередко являются элементами неформальной экономики, поскольку не регулируются государственными нормами. Такие практики можно определить как формы «неформального здравоохранения», существующие вне сферы официального контроля. Современные исследования комплементарной медицины уделяют внимание гибридным формам терапии, возникающим при сочетании различных методов лечения. Анализ подобных пограничных зон позволяет сформировать более

целостное представление о разнообразии лечебных стратегий и о том, как пациенты комбинируют официальные и неофициальные подходы. Особый интерес представляет изучение мотивов и обстоятельств, определяющих выбор конкретной стратегии лечения, а также роли личного опыта и культурных факторов в процессе принятия решений.

Особую значимость приобретает изучение повседневных практик, в рамках которых люди старшего поколения включают комплементарные способы лечения в свою медицинскую траекторию. Эти практики часто формируются как ответ на ограничения биомедицинской системы, сложности доступа к качественной помощи или ощущение недостаточного внимания со стороны врачей [28]. Для многих представителей старших возрастов комплементарные способы лечения становятся средством сохранить чувство автономии и использовать собственный жизненный опыт в решении проблем со здоровьем. Такие практики могут включать использование народных рецептов, травничество, мануальные техники, различные виды домашнего ухода и методы, передаваемые от старших родственников. Зачастую они становятся частью гибридных лечебных стратегий, в которых биомедицинские и традиционные методы переплетаются, создавая индивидуальные, ситуативно обусловленные и динамичные схемы лечения [13; 29]. Эти гибридные формы представляют научный интерес, поскольку позволяют увидеть, как пожилые люди выстраивают своё понимание здоровья, болезни и собственного тела. Кроме того, обращение к комплементарным способам лечения нередко выполняет важную эмоциональную функцию. Это может быть стремление снизить тревожность, получить ощущение заботы, восстановить утраченное доверие к медицинской системе или вернуть контроль над собственным телом. Все эти элементы делают повседневные практики лечения значимым и сложным объектом исследования.

**Методология исследования и эмпирическая база.** Исследование осуществлялось в период с мая по октябрь 2025 года и было сосредоточено на сельских районах Республики Карелия и Ленинградской области. Эмпирическая база сформирована на основе 40 глубинных интервью с пожилыми жителями небольших населённых пунктов данных регионов.

Выбор Республики Карелия в качестве основной локации проведения исследования имеет методологическое обоснование. В данном регионе наряду с относительно развитой системой биомедицины исторически сохранялись и активно использовались различные формы народной медицины, в частности, траволечение, использование настоев лекарственных растений и природных средств. Например, в ряде сельских населённых пунктов традиционно применялись растительные средства для облегчения зубной боли и лечения стоматологических проблем. Сохранение подобных практик во многом связано с особенностями территориальной организации региона и удалённостью отдельных населённых пунктов от крупных медицинских центров. В результате в отдалённых районах Республики Карелия и в настоящее время наблюдается сочетание биомедицинских методов лечения с практиками народной медицины. Подобное сосуществование различных терапевтических подходов делает данный регион особенно интересным для анализа повседневных стратегий обращения к различным формам медицинской помощи. Полевое исследование проводилось в двух районах Республики Карелия — Пряжинском и Питкярантском. Пряжинский район характеризуется относительно более благоприятными условиями оказания первичной

медико-санитарной помощи: здесь функционируют фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, обеспечивающие более стабильный доступ к медицинским услугам. Питкярантский район, напротив, отличается более сложными условиями организации и меньшей доступностью медицинской инфраструктуры. Сопоставление этих двух районов позволило выявить различия в практиках обращения к биомедицинским и альтернативным способам лечения.

Дополнительной исследовательской локацией стала Ленинградская область. Предполагалось, что близость сельских территорий к крупному городскому центру — Санкт-Петербургу — и наличие значительного числа сезонных жителей могут оказывать влияние на распространённость альтернативных лечебных практик. Исходная гипотеза предполагала более низкую степень использования альтернативных методов лечения в сельских населённых пунктах, расположенных вблизи мегаполиса.

Для проведения исследования в Ленинградской области был выбран Лужский район. Данный район является одним из наиболее удалённых от Санкт-Петербурга и характеризуется значительной долей постоянно проживающего населения старших возрастных групп. Это обстоятельство позволило включить в исследование информантов, обладающих длительным опытом проживания в сельской местности и устойчивыми представлениями о различных практиках лечения. Всего в исследовании приняли участие 40 информантов, среди которых преобладали женщины старшего возраста (28 женщин и 12 мужчин). Среди участников были представлены лица с различным уровнем образования (как с высшим образованием, так и без него). Подобная структура выборки позволила выявить устойчивые тематические линии, в рамках которых участники исследования описывали способы сочетания официальных медицинских методов лечения и альтернативных практик.

В процессе обработки интервью использовался метод тематического анализа. Данный метод предполагает изучение социальных структур через анализ последовательностей действий и взаимодействий, описываемых информантами в нарративах интервью [30; 31]. Согласно данному подходу, социальные структуры проявляются в повседневных практиках и формируют системы смыслов, которые отражаются в рассказах участников исследования. На первом этапе анализа были идентифицированы фрагменты интервью, отражающие ключевые темы исследования. К таким темам относились: лечение хронических заболеваний у людей старших возрастных групп; практики обращения за медицинской помощью; использование комплементарных способов лечения; обращение к различным формам целительства. На следующем этапе анализа изучались циклы, присутствующие в выявленных фрагментах интервью. В рамках этого этапа рассматривалась избирательность обращения к различным способам лечения, а также устанавливались связи между характером заболевания, частотой обращения к биомедицинским методам и использованием комплементарных способов лечения.

Второй аналитический этап был связан с изучением контекста обращений к различным способам лечения и ожиданий, которые информанты связывали с использованием биомедицинских и комплементарных методов. Особое внимание уделялось интерпретациям самих участников исследования, отражающим их представления о результативности различных методов лечения. Третий этап анализа был направлен на выделение ключевых субтем, с помощью которых информанты описывали собственный опыт обращения к комплементарным

способам лечения. К таким субтемам были отнесены: «поиск наиболее понятных способов лечения»; «поддержание здоровья различными методами»; «знание и использование комплементарных способов лечения заболевания»; «сохранение лечения с использованием биомедицинских методов»; «проблемы медицинской помощи в сельской местности»; «отношение к практикам целительства»; «доверие различным способам лечения». Выделение данных субтем осуществлялось методом группировки эмпирических данных в соответствии с их смысловым содержанием. Указанные субтемы легли в основу дальнейшего анализа и были использованы при описании результатов исследования. На заключительном этапе проводился обобщающий анализ интервью, позволивший выявить тематические структуры, в рамках которых информанты описывали обращение к комплементарным способам лечения. Особое внимание уделялось тем ситуациям, в которых использование подобных практик способствовало формированию у участников исследования ощущения большей определённости и психологической устойчивости в процессе лечения заболеваний.

**Дополнение лечения альтернативными практиками.** Использование комплементарных способов лечения информанты преимущественно описывали как дополнительную практику, применяемую параллельно с назначениями, полученными в районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Основным мотивом обращения к ним выступало стремление повысить эффективность терапии, назначенной врачами, а также ускорить процесс восстановления. Участники исследования подчёркивали, что диагностика и постановка диагноза осуществлялись исключительно в рамках официальной медицины, однако действие назначенных препаратов не всегда соответствовало их ожиданиям:

*«Сейчас лекарств много и у меня назначений лекарств, как видите, тоже хватает, но, конечно, всё равно не всегда эффекты от тех же таблеток быстро приходят. Да и потом использовать можно, в принципе, много чего, но всё равно химии во всех лекарствах предостаточно. Вот поэтому и приходится как-то разбавлять своё лечение чем-то более понятным, что ли. Лично я сама не очень во всех травах понимаю, но у нас тут недалеко в райцентре есть человек, которая сама эти травы делает, и когда в райцентр едешь, то непременно заходишь к ней и, конечно, там что-то берёшь. На прошлой неделе спина болела из-за того, что когда убирала всё перед ноябрём на огороде, надорвалась. Так вот она помогла мне мазь подобрать — там сложный состав, и перец есть, и корень лопуха, и ещё что-то. Я намазала и сразу почувствовала, как спине хорошо стало — просто все боли ушли, и всё стало намного лучше. Так что это работает, и не всегда стоит химии всякой доверять» (ж., 78 лет, Ленинградская область).*

Информанты применяли комплементарные способы в основном для решения остро возникающих проблем со здоровьем, которые, по их мнению, было сложно быстро облегчить средствами официальной медицины, особенно если препараты воспринимались как «чересчур химические». В подобных ситуациях комплементарные способы — чаще всего использование трав, мазей, витаминных комплексов на растительной основе — выступали не основным, а вспомогательным средством, однако занимали важное место в личных стратегиях ухода за здоровьем.

Результаты исследования показывают, что комплементарные способы лечения в повседневных практиках пожилых людей чаще всего использовались не как полноценная замена биомедицинским методам, а как средства поддержания психологического спокойствия и субъективного ощущения контроля над состоянием здоровья. Для многих информантов подобные практики оказывались более понятными и привычными по сравнению со сложными биомедицинскими схемами лечения, которые нередко воспринимались как избыточно формализованные и трудные для интерпретации.

*«Я не думаю, что лечение с помощью трав там и других методов может серьёзно помочь тебе выздороветь. Нет, понятное дело, что мимо того, что имеет медицина пройти всё же сложно и сложно игнорировать развитие медицины, которое достаточно очевидное. Но, пожалуй, понимаешь, с этими лекарствами, которые я покупаю в аптеке, я не чувствую себя защищённой, что ли, на все сто процентов, как говорится, потому что ведь неизвестно полностью, как они работают, а траву ты пьёшь и пьёшь её с удовольствием и вполне себе понимаешь, что вот полевые цветочки вред твоему здоровью не нанесут, вот что важно на самом деле» (ж., 74, Ленинградская область).*

Для информантов, проживающих в сельских населённых пунктах Ленинградской области, комплементарные способы лечения воспринимались прежде всего как средства поддержания общего самочувствия и укрепления организма. Участники исследования подчёркивали, что не связывали с подобными методами ожиданий полного излечения серьёзных заболеваний. Они выполняли скорее поддерживающую и терапевтическую функцию, дополняя обращение к биомедицинским методам. Значимым фактором становилось длительное знакомство с теми или иными практиками. Наиболее востребованными оказывались методы, проверенные временем, например, употребление фиточаёв или сборов, известных по предыдущему опыту. Информанты подчёркивали, что предпочтительнее отдавали тем средствам, в действенности которых были уверены, а также тем, о которых имели положительные отзывы:

*«Я бы не рисковала использовать что-то непроверенное, но, конечно, вполне могу себе какой-то чай заварить или что-то приготовить именно для дополнения своего лечения. Но в целом я всегда стараюсь всё же проверять всё это и у врача спрашивать — так не пойми чем лечиться тоже плохо» (ж., 74 года, Ленинградская область).*

Иная ситуация наблюдалась среди информантов из Республики Карелия, особенно проживающих в Питкярантском районе. В условиях ограниченной доступности медицинской инфраструктуры использование комплементарных способов лечения нередко становилось важной частью стратегии терапии заболеваний. В отдельных случаях подобные практики могли применяться даже вопреки необходимости обращения к биомедицинским методам.

*«Так что у нас в селе считайте теперь всё закрыто. Фельдшер предыдущая умерла, а новую так никто и не смог найти и в итоге получилось, что пришлось нам в общем-то как-то самим что-то решать. У меня прабабка и бабка знахарками были, вот их опыт ценным и оказался, и его я и использовала*

*и это, надо сказать, мне хотя бы позволило хоть как-то избавиться от болей в позвоночнике ненавистных, а иначе было никак, потому что ехать куда в клинику — далеко, да и толк от лечения как и от самой медицины в клинике, он вообще может быть нулевым, вот и искала в итоге альтернативные пути»* (ж., 83, Республика Карелия).

В подобных ситуациях жители удалённых сельских населённых пунктов Карелии могли использовать альтернативные способы лечения в качестве основных. Подобная практика иногда оказывала негативное влияние на течение заболеваний, поскольку отказ от биомедицинских методов мог приводить к ухудшению состояния здоровья и отсутствию необходимой медицинской диагностики.

Анализ интервью показал, что в подобных случаях происходило постепенное смещение от комплементарных практик к традиционным формам лечения, которые воспринимались как самостоятельные способы терапии. Комплементарные способы лечения переставали интерпретироваться исключительно как поддерживающие или успокаивающие практики и начинали рассматриваться как единственно доступные формы лечения. Подобная ситуация во многом была связана с разрушением или недостаточной развитостью инфраструктуры медицинской помощи в сельской местности.

Как информанты из Ленинградской области, так и участники исследования из Республики Карелия нередко упоминали негативный опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями. Однако в сельских населённых пунктах данный опыт усиливался дополнительными факторами, связанными с ограниченной доступностью медицинской помощи. Для информантов из Республики Карелия использование комплементарных способов лечения не ограничивалось применением фиточаёв или аптечных растительных препаратов. Участники исследования часто использовали самостоятельно приготовленные травяные настои, а также различные лечебные средства, рекомендованные родственниками или передаваемые в рамках семейного опыта. Важную роль играло представление о «проверенности» подобных средств и их домашнем происхождении. Домашние и народные практики лечения нередко противопоставлялись фармакологическим препаратам, воспринимаемым как «химические» средства, происхождение и действие которых оставались для информантов менее понятными.

*«Кто знает, что полезно и что нет. Я не знаю, можно ли досконально вообще доверять лекарству, ведь оно тоже из химии делается и полностью неизвестно даже, что лучше, может быть использование таблеток или траволечение»* (м., 73, Республика Карелия).

Подобные представления формировали у информантов ощущение большей безопасности и предсказуемости комплементарных способов лечения. Знакомство с подобными практиками и их укоренённость в повседневном опыте создавали ощущение доверия и психологического комфорта.

Таким образом, ключевым условием обращения к комплементарным способам лечения являлось наличие проверенных и знакомых методов, прошлый положительный опыт их применения, доверие к источнику получения средств, а также осознание их совместимости с назначениями официальной медицины. Такие практики воспринимались как надёжное дополнение, способное поддер-

жать организм, ускорить выздоровление и смягчить воздействие «химических» лекарственных препаратов.

Рассмотрение ситуаций обращения к комплементарным способам лечения показывает, что постепенные изменения самочувствия — как улучшения, так и ухудшения — сами по себе редко становятся причиной усиленного использования подобных практик. Вместе с тем внезапные и резкие ухудшения состояния здоровья выступают значимыми мотивами для обращения к комплементарным способам лечения, особенно в условиях ограниченного доступа к оперативной медико-санитарной помощи. В ходе тематического анализа были выделены несколько ключевых субтем, регулярно встречавшихся в нарративах интервью: «поддержание здоровья различными методами»; «знание и использование комплементарных способов лечения заболевания»; «сохранение лечения с использованием биомедицинских методов»; «проблемы медицинской помощи в сельской местности». Наиболее часто в интервью упоминалась проблема ограниченной доступности медицинской помощи в сельской местности. Недостаток медицинской инфраструктуры и сложность получения своевременной помощи становились важными факторами, побуждающими пожилых людей обращаться к комплементарным способам лечения. Подобные практики воспринимались как более понятные и доступные формы поддержания здоровья и создавали для информантов ощущение определённости и психологической устойчивости в процессе лечения заболеваний.

**Обращение к целителям в ситуациях неконтролируемой боли.** Обращение к практикам целительства не может в полной мере рассматриваться как медицинский способ лечения заболеваний в классическом понимании. Однако в рамках нашей концептуальной модели, описывающей лечение как гибридную практику, целительство воспринималось информантами как одна из форм поддержки и относилось к комплементарным способам в контексте дополнения биомедицинских методов терапии. Важно подчеркнуть, что под практиками целительства в данном исследовании понимаются именно лечебные практики, например, консультации по приготовлению различных отваров для лечения заболеваний, рекомендации по использованию целебных трав и советы об особенностях их применения и приготовления.

В случаях резкого усиления болей, особенно при онкологических заболеваниях на нетерминальной стадии, информанты нередко обращались к помощи целителей или знахарей. Это связано с тем, что бригады скорой помощи могут не приезжать на вызовы такого рода: боли носят хронический характер, транспортная доступность ограничена, а дефицит машин и высокая нагрузка являются обыденной ситуацией для сельских территорий. Целители в таких случаях консультируют по телефону или лично, особенно если проживают в той же деревне. Они дают рекомендации, в том числе обучают приготовлению простых средств для снятия болей:

*«...обычные таблетки не действуют! Вот тогда и приходится мне звонить Марине, она знает несколько отваров... я раньше не верил, что они способны помочь, но, оказывается, помогают...» (м., 73 года, Республика Карелия).*

Анализ интервью показывает, что обращение к практикам целительства происходило преимущественно в ситуациях, когда другие способы облегчения боли оказывались недоступными или не приносили ожидаемого результата.

Нередко подобные решения были обусловлены ощущением безвыходности или принимались по совету родственников или знакомых, которые рекомендовали попробовать данный способ лечения. Как отмечается в ряде исследований, подобные практики могут представлять значительную угрозу для здоровья, поскольку часто выходят за рамки как комплементарной, так и народной медицины и оказываются связаны с действиями, не имеющими отношения к медицинской практике. В результате применение подобных методов может причинять существенный вред. В отдельных случаях информанты рассматривали обращение к целителям как практически полную замену биомедицинскому лечению, воспринимая эту стратегию как единственно возможную в их ситуации.

*«Я просто отчаялась. Это бывает в жизни наступает такой этап, когда ты уже ни во что не веришь и никому уже не можешь доверять, потому что знаешь, что шансов у тебя уже практически нет ни на что. Но человек так устроен, что надежда уходит последней. Поэтому я, практически ни на что не надеясь, и обратилась к целителям — можно сказать, это была последняя надежда. И когда результаты были, когда я сама видела эти результаты, это, бесспорно, меня радовало и вдохновляло. Но потом, конечно, спустя время, когда ухудшения идут за ухудшениями и тебе уже ничего не помогает, ты начинаешь понимать, что это не выход» (ж., 79, Ленинградская область).*

Со временем у информантов нередко возникало разочарование в подобных практиках. Отсутствие устойчивых результатов лечения приводило к снижению доверия к целительству и иногда — к утрате уверенности в возможности эффективного лечения в целом, включая биомедицинские методы.

Экстренное использование комплементарных способов лечения чаще встречается в отдалённых деревнях Республики Карелия, где скорость приезда скорой помощи существенно ниже. Здесь комплементарные способы нередко становятся единственным доступным вариантом облегчения состояния, и информанты прибегают к непроверенным средствам, руководствуясь срочностью ситуации и отсутствием выбора. Важно отметить, что экстренное обращение не ограничивается приёмом отдельных народных препаратов. Оно включает целый комплекс действий: обращение к специалисту-целителю, получение от него рекомендаций, изготовление и применение средства. Успешность подобной практики зависит от признанности целителя в местном сообществе, уровня его экспертности и наличия точного диагноза, позволяющего корректно подобрать средства траволечения.

В нарративах интервью информантов из Ленинградской области также фиксировались разовые обращения к целителям. Даже участники с серьёзными хроническими заболеваниями иногда рассматривали это как возможность попробовать дополнительные способы лечения, чаще всего — под влиянием советов родственников или знакомых.

*«Ну не то чтобы я в это верила, но считаю, что почему бы не попробовать все методы, которые существуют. Использовать разные способы — это, в целом, не так уж плохо. Потому что с моей спиной ничего не помогало, и лекарства не давали результата. Попробовала — и поняла, что это, так сказать, просто развод на деньги. В итоге мне пришлось отказаться от этого, но теперь я знаю, что такое лечение не работает» (ж., 76, Ленинградская область).*

Если подобные обращения оказывались безуспешными, информанты, как правило, отказывались от дальнейшего использования таких практик. Особенно это было характерно для жителей Ленинградской области, которые чаще воспринимали обращение к целителям как экспериментальную попытку поиска помощи.

В большинстве случаев обращение к практикам целительства происходило в ситуациях резкого или регулярного ухудшения самочувствия. Дополнительным фактором становилось отсутствие ясного медицинского объяснения причин. В таких условиях подобные практики могли восприниматься как возможность найти объяснение происходящему и получить хотя бы временное облегчение.

*«Я думаю, все мы, когда находимся в отчаянии, стремимся что-то найти, куда-то обратиться и реально найти помощь, которая тебе необходима. Найти место или человека, который сможет помочь. Так и получается: в такой ситуации ты начинаешь метаться. Со мной такое тоже было. Если кто-то скажет, что есть проверенный способ и стоит обратиться к ним (к целителям. — прим. интервьюера), ты обращаешься и ищешь у них помощи. В итоге это может быть сиюминутный порыв, но в ситуации, когда становится тяжело и душе, и телу, это воспринимается как едва ли не единственная возможность как-то себе помочь» (ж., 73, Ленинградская область).*

Полученные данные показывают, что важным фактором обращения к подобным практикам является состояние экстренности и эмоционального напряжения. В ходе тематического анализа были выделены ключевые субтемы, встречающиеся в нарративах интервью: «проблемы медицинской помощи в сельской местности»; «особенности отношения к целительству и принятие или непринятие подобных практик»; «доверие различным методам лечения». Анализ субтем показывает, что важными характеристиками обращения к практикам целительства выступают уровень доверия к биомедицине, индивидуальное отношение к подобным практикам и личный опыт оценки их результативности.

**Заключение.** В доминирующем на сегодняшний день научном дискурсе основное внимание сосредоточено на биомедицине, тогда как альтернативные и народные способы лечения нередко остаются объектом внимания антропологов, изучающих культурные особенности их повседневного использования. В социологических дебатах подобные методы чаще рассматриваются как лишённые институционального признания и представляющие потенциальную угрозу для здоровья. Вместе с тем исследования последних лет всё чаще критикуют и саму биомедицину за проблемы с качеством лечения отдельных заболеваний, процессы медикализации, усиление контроля над пациентами и ограничения в получении медицинской помощи.

Следует отметить, что современные исследования фиксируют трудности прежде всего в определении самих альтернативных способов лечения, которые могут быть официально признаны в одних странах и, напротив, находиться под запретом в других. Существует и достаточно серьёзная путаница в определении категорий медицины — альтернативной, традиционной, народной, что нередко затрудняет концептуализацию исследовательского поля и определение научной новизны проводимых исследований.

Опираясь на подход М. Сакса о том, что соотнесение тех или иных способов лечения к официально признанным методам зависит от их легитимации, мы обращаемся к сравнительно новому для отечественных исследований концепту комплементарной медицины. Это позволило показать, что подобное дополнение лечения различными практиками носит гибридный характер и нередко связано с инфраструктурными возможностями, доступом к биомедицине и пониманием самого процесса терапии.

Рассматривая одну из наиболее интересных групп с точки зрения сочетания различных способов лечения — представителей старшего возраста, — на основании тематического анализа мы приходим к выводу, что обращение к комплементарным способам лечения и дополнение ими основной терапии зависит от степени легитимации подобных методов и может существенно варьироваться в зависимости от готовности самих пациентов к их использованию, а также от уровня развития конкретных территорий.

Проведённый тематический анализ с выделением ключевых тем показал, что практики обращения к комплементарным способам лечения существенно варьируются в зависимости от тяжести заболевания, региона проживания, доступности медицинской инфраструктуры и особенностей индивидуального опыта взаимодействия с системой здравоохранения. Полученные результаты позволяют утверждать, что в большинстве случаев комплементарные способы лечения действительно выполняют функцию дополнения к биомедицине, помогая пожилым людям снизить тревожность и обрести уверенность в условиях неопределённости, вызванной состоянием здоровья. Подобная практика особенно характерна для сельской местности, где разреженность инфраструктуры первичной медицинской помощи создаёт дополнительные трудности при получении своевременного лечения. В таких условиях неформальные стратегии здоровья, включая обращение к комплементарным способам лечения, выступают как одна из стратегий адаптации к существующим ограничениям системы здравоохранения и как ответ на кризис институциональной легитимности и изменение границ допустимого в медицинской сфере. Результаты исследования согласуются с выводами других научных работ, где альтернативные методы рассматриваются в качестве дополнительных, а не направленных на полную замену биомедицинских методов терапии.

Наиболее значимым выводом, представляющим научную новизну, выступает понимание того, каким образом следует анализировать использование комплементарных способов лечения. Комплексы мер по лечению тех или иных заболеваний необходимо рассматривать как сложные конструкции, связанные с легитимацией множества способов поддержания здоровья. Ключевым здесь является признание тех или иных методов лечения и акцент на эффективном их использовании в зависимости от различных состояний здоровья пациента.

### **Библиографический список / References**

1. Галкин К. А. Режимы заботы и самозаботы при отдельном проживании пожилых людей в периферийных поселениях // Социологические исследования. 2020. № 9. С. 70–78. DOI [10.31857/S013216250009290-2](https://doi.org/10.31857/S013216250009290-2). EDN YTGDKR.  
Galkin K. A. Modes of Self-Care and Care of the Elderly People Living Separately in Peripheral Settlements. *Sociological Studies*. 2020;(9):70–78. (In Russ.). DOI [10.31857/S013216250009290-2](https://doi.org/10.31857/S013216250009290-2).
2. Ismail Z., Mohamed R., Mohd Hassan M. H. [et al.] Usage of traditional medicines among elderly and the prevalence of prednisolone contamination. *Malaysian Journal of Medical Sciences*. 2005;12(2):50–55. PMID [22605958](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22605958/).

3. Правовые основы народной медицины и целительства в Российской Федерации : По материалам IV междунар. конгресса «Нар. медицина России — прошлое, настоящее, будущее» / Под ред. Я. Г. Гальперина. М. : ПМАНЦР, 2000. 156 с.  
Gal'perin Ya. G. [ed.] The legal foundations of traditional medicine and healing in the Russian Federation: on the materials of the IV International Congress "Traditional medicine of Russia — past, present, and future". Moscow: PMANCR; 2000. (In Russ.).
4. Харитонов В. И. Народная и традиционная медицина: возможности интеграции медицинских систем, практик и методов в условиях современной Тувы // Новые исследования Тувы. 2018. № 4. С. 1. DOI [10.25178/nit.2018.4.1](https://doi.org/10.25178/nit.2018.4.1). EDN YRNVVJ.  
Kharitonova V. I. Folk and traditional medicine: On the possibility of integrating medical systems, practices and methods in contemporary Tuva. *The New Research of Tuva*. 2018;(4):1. (In Russ.). DOI [10.25178/nit.2018.4.1](https://doi.org/10.25178/nit.2018.4.1).
5. Харитонов В. И. Трансформация традиционных восточных медицинских практик в современном мире // Вестник антропологии. 2024. № 4. С. 356–372. DOI [10.33876/2311-0546/2024-4/356-372](https://doi.org/10.33876/2311-0546/2024-4/356-372). EDN HUMFBX.  
Kharitonova V. I. Transformation of Traditional Oriental Medicine in the Modern World. *Herald of Anthropology*. 2024;(4):356–372. (In Russ.). DOI [10.33876/2311-0546/2024-4/356-372](https://doi.org/10.33876/2311-0546/2024-4/356-372).
6. Baer H. A. Medical pluralism: An evolving and contested concept in medical anthropology. In: Singer M., Erickson P. I., Abadía-Barrero C. E. (eds.) *A companion to medical anthropology*. John Wiley & Sons; 2022. P. 342–357. DOI [10.1002/9781119718963.ch19](https://doi.org/10.1002/9781119718963.ch19).
7. Barry C. A. The role of evidence in alternative medicine: Contrasting biomedical and anthropological approaches. *Social Science & Medicine*. 2006;62(11):2646–2657. DOI [10.1016/j.socscimed.2005.11.025](https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.11.025).
8. Khalil A. H., Gobbens R. J. J. What if the clinical and older adults' perspectives about frailty converge? A call for a mixed conceptual model of frailty: a traditional literature review. *Healthcare*. 2023;11(24):3174. DOI [10.3390/healthcare11243174](https://doi.org/10.3390/healthcare11243174). EDN WMNHFK.
9. Rahman M. M., Ghoshal U. C., Rangunath K. [et al.] Biomedical research in developing countries: Opportunities, methods, and challenges. *Indian Journal of Gastroenterology*. 2020;39(3):292–302. DOI [10.1007/s12664-020-01056-5](https://doi.org/10.1007/s12664-020-01056-5). EDN TQUUWK.
10. Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. *Medicine, Health Care and Philosophy*. 2016;19(2):253–264. DOI [10.1007/s11019-016-9693-6](https://doi.org/10.1007/s11019-016-9693-6). EDN KFFCNW.
11. Conrad P. The shifting engines of medicalization. *Journal of Health and Social Behavior*. 2005;46(1):3–14. DOI [10.1177/002214650504600102](https://doi.org/10.1177/002214650504600102).
12. Busfield J. The concept of medicalisation reassessed. *Sociology of Health & Illness*. 2017;39(5):759–774. DOI [10.1111/1467-9566.12538](https://doi.org/10.1111/1467-9566.12538).
13. Che C. T., George V., Ijini T. P. [et al.] Traditional medicine. In: McCreath S. B., Clement Y. N. (eds.) *Pharmacognosy*. Academic Press; 2024. P. 11–28. DOI [10.1016/B978-0-443-18657-8.00037-2](https://doi.org/10.1016/B978-0-443-18657-8.00037-2).
14. Hornsey M. J., Lobera J., Díaz-Catalán C. Vaccine hesitancy is strongly associated with distrust of conventional medicine, and only weakly associated with trust in alternative medicine. *Social Science & Medicine*. 2020;255:113019. DOI [10.1016/j.socscimed.2020.113019](https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113019). EDN LYNGLG.
15. Пауяппаллимана У. Роль традиционной медицины в первичной помощи. *Yokohama Journal Of Social Sciences*. 2010;14(6):57–75.
16. Jacob J. D., Gagnon M., McCabe J. From distress to illness: a critical analysis of medicalization and its effects in clinical practice. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*. 2014;21(3):257–263. DOI [10.1111/jpm.12078](https://doi.org/10.1111/jpm.12078).
17. Богданова Е. А., Галкин К. А., Низамова А. Н. Этика соседской заботы о пожилых в российском селе: на пути к общинному менеджериализму // Социологическое обозрение. 2024. Т. 23, № 3. С. 285–313. DOI [10.17323/1728-192x-2024-3-285-313](https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-3-285-313). EDN FIPAIC.  
Bogdanova E., Galkin K., Nizamova A. Ethics of Neighborly Care for the Elderly in the Russian Village: Towards Community Managerialism. *Russian Sociological Review*. 2024;23(3):285–313. (In Russ.). DOI [10.17323/1728-192x-2024-3-285-313](https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-3-285-313).
18. Приз Е. В., Фисенко В. Л. Изучение отношений между врачом и пациентом методами социологии медицины // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2011. № 3(163). С. 116–118. EDN NXPACB.

- Priz E. V., Fisenko V. L. Studying of relations between the doctor and the patient with medical sociology's methods. *Bulletin of higher educational institutions. North Caucasus region. Natural science*. 2011;(3):116–118. (In Russ.).
19. *Нартова М. А.* Эволюция методологии клинических исследований // Философия науки. 2025. No 1. С. 42–55. DOI [10.15372/PS20250104](https://doi.org/10.15372/PS20250104). EDN [DZTCHJ](https://edn.ru/DZTCHJ).  
Nartova M. A. Evolution of the methodology of clinical trials. *Filosofiya nauki*. 2025;(1):42–55. (In Russ.). DOI [10.15372/PS20250104](https://doi.org/10.15372/PS20250104).
  20. Woolliscroft J. O. Innovation in response to the COVID-19 pandemic crisis. *Academic medicine*. 2020;95(8):1140–1142. DOI [10.1097/acm.0000000000003402](https://doi.org/10.1097/acm.0000000000003402). EDN [JNPXSF](https://edn.ru/JNPXSF).
  21. Williams S. J., Calnan M. The 'limits' of medicalization?: modern medicine and the lay populace in 'late' modernity. *Social science & medicine*. 1996;42(12):1609–1620. DOI [10.1016/0277-9536\(95\)00313-4](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00313-4). EDN [HAKPEX](https://edn.ru/HAKPEX).
  22. Sackett D. L., Rosenberg W. M. C. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *BMJ: British Medical Journal: International Edition*. 1996;312(7023):71–72. DOI [10.1136/bmj.312.7023.71](https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71). EDN [CFIBRV](https://edn.ru/CFIBRV).
  23. Fries C. J. Older adults' use of complementary and alternative medical therapies to resist biomedicalization of aging. *Journal of Aging Studies*. 2014;28:1–10. DOI [10.1016/j.jaging.2013.11.001](https://doi.org/10.1016/j.jaging.2013.11.001).
  24. Saks M. Bringing together the orthodox and alternative in health care. *Complementary Therapies in Medicine*. 2003;11(3):142–145. DOI [10.1016/S0965-2299\(03\)00074-8](https://doi.org/10.1016/S0965-2299(03)00074-8).
  25. *Харитонова В. И.* Неконвенциональная медицина в современной России // Медицинская антропология и биоэтика. 2014. № 1(7). С. 1. EDN [ZSMNQZ](https://edn.ru/ZSMNQZ).  
Kharitonova V. I. Non-conventional medicine in contemporary Russia. *Medical anthropology and bioethics*. 2014;(1):1. (In Russ.).
  26. *Головской Б. В.* К вопросу об альтернативной медицине // Клиническая медицина. 2012. Т. 90, № 7. С. 70–72. EDN [RBINMN](https://edn.ru/RBINMN).  
Golovskoy B V. On the question of alternative medicine. *Clinical Medicine (Russian Journal)*. 2012;90(7):70–71. (In Russ.).
  27. *Шигаева Е. С.* Научная и народная медицина: анализ понятий, особенности и общие черты // Актуальные проблемы образования и воспитания в современной России: сборник. Вып. 12. Екатеринбург : РГППУ, 2007. С. 42–49.  
Shigaeva E. S. Scientific and folk medicine: analysis of concepts, features and common traits. In: Current problems of education and upbringing in modern Russia: coll. of papers. Issue 12. Ekaterinburg: RGPPU; 2007. P. 42–49. (In Russ.).
  28. Zhou S. Research on the Role of Traditional Chinese Medicine in the Elderly Care Industry. *Financial Economics Research*. 2025;2(2):1–6. DOI [10.70267/fer.250202.0106](https://doi.org/10.70267/fer.250202.0106). EDN [OPOWXU](https://edn.ru/OPOWXU).
  29. *Лехцьер В. Л.* Эффекты медикализации и апология патоса // Topos. 2006. № 1. С. 114–126.  
Lekhtsier V. L. Effects of medicalization and the apology of pathos. *Topos*. 2006;(1):114–126. (In Russ.).
  30. Alhojailan M. I. Thematic analysis: A critical review of its process and evaluation. *West East Journal of Social Sciences*. 2012;1(1):39–47.
  31. Braun V., Clarke V. Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*. 2022;9(1):3–26. DOI [10.1037/qp0000196](https://doi.org/10.1037/qp0000196). EDN [IZPWGB](https://edn.ru/IZPWGB).

Поступила: 29.12.2025. Доработана: 30.04.2026. Принята: 08.05.2026.

#### Сведения об авторе:

**Галкин Константин Александрович**, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия. [Kgalkin1989@mail.ru](mailto:Kgalkin1989@mail.ru)  
Author ID РИНЦ: [850737](https://elibrary.ru/850737); ORCID: [0000-0002-6403-6083](https://orcid.org/0000-0002-6403-6083)

**K. A. Galkin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Sociological Institute of FCTAS RAS. St. Petersburg, Russia

## THE PRACTICE OF TURNING TO COMPLEMENTARY METHODS OF TREATMENT BY OLDER PEOPLE IN RURAL AREAS

**Abstract.** In the modern Russian context, alongside evidence-based medicine and the public health-care system, there operates a wide range of complementary and partially substitute treatment methods, whose methodological heterogeneity requires analyzing not the systems themselves, but rather the ways they are used in everyday life. In this study, we define such methods as complementary and consider them as hybrid forms that combine biomedical methods with a one-time or non-systematic addition of therapy with other practices (herbal medicine, proven folk remedies, etc.), which are perceived not as an alternative to official medicine, but as their meaningful complement. The central research question concerns how older people cope with difficulties in understanding biomedical treatment methods and the distrust arising towards them. Particular attention is paid to considering how turning to complementary treatment methods contributes to the formation of a sense of calm, certainty, and psychological stability among older residents of rural areas. The empirical basis of the study comprised in-depth interviews with representatives of older age groups living in rural areas of the Leningrad Region and the Republic of Karelia. Thematic analysis was used for data processing, which allowed identifying key themes and demonstrating the significance of treatment hybridization among older people. It was found that complementary treatment methods are legitimized due to a crisis of trust in biomedicine and the quality of medical care in rural areas, as well as due to the greater comprehensibility and accessibility of familiar ways of maintaining health. The main themes identified in the interviews were practices of turning to complementary treatment methods, trust in medical care in rural areas, the preserved significance of treatment using biomedical methods, as well as the perception of biomedicine as the primary, but not the only mode of therapy.

**Keywords:** complementary treatment methods, older people, rural areas, alternative treatment methods, hybrid treatment practices, medicalization, the choice of treatment methods

**For citation:** Galkin K. A. The practice of turning to complementary methods of treatment by older people in rural areas. *Science. Culture. Society.* 2026;32(2):104–121. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.7>

Received: 29.12.2025. Corrected: 30.04.2026. Accepted: 08.05.2026.

### *Author information:*

**Konstantin A. Galkin**, Candidate of Sociology, Senior researcher,  
Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg Russia. [Kgalkin1989@mail.ru](mailto:Kgalkin1989@mail.ru)  
ORCID: 0000-0002-6403-6083



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.8](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.8)  
EDN [IRKMEB](https://edn.rkmeb.ru)  
УДК 316.334:61



П. С. Ерошик<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Российский государственный гуманитарный университет. Москва, Россия

## ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

**Аннотация.** В условиях масштабной трансформации системы здравоохранения Российской Федерации проблема профессиональной автономии врача приобретает особую значимость. Стандартизация медицинской помощи, внедрение цифровых технологий, усиление контрольно-надзорных механизмов и изменение модели взаимодействия с пациентами формируют противоречивую среду, где традиционные представления о врачебной самостоятельности сталкиваются с жёсткими регуляторными требованиями. Для определения оптимальной модели функционирования отечественной медицины как социального института в статье проводится оценка текущего состояния и субъектов регулирования врачебной автономии. Методологическую основу исследования составляют концепции «гибридного профессионализма» М. Ноордеграафа и подходы к изучению профессиональной автономии в зарубежной и отечественной социологии. Эмпирическую базу составили данные Росстата о структуре медицинских организаций, а также системный анализ нормативно-правовой базы РФ в сфере охраны здоровья и образования. В ходе исследования установлено, что в России профессиональная автономия врачей реализуется преимущественно в рамках модели «регулируемой самостоятельности», где ведущая роль в формировании политики сохраняется за государством, а профессиональные сообщества выполняют лишь дополняющие функции. Выявлены ключевые факторы, ограничивающие автономию на индивидуальном и групповом уровнях: трансформация восприятия врача пациентом на фоне свободного доступа к медицинской информации; развитие сервисов искусственного интеллекта; рассогласованность в ожиданиях врача и пациента; опосредованное влияние сообщества на образовательные программы, а также законодательные инициативы, сужающие карьерную мобильность молодых специалистов. Сделан вывод о том, что для улучшения социального положения медицинских работников и роста престижа профессии необходимо смещение акцентов в регулировании. Усиление позиций врачебных сообществ и расширение их реального влияния на этический контроль и образовательные стандарты возможно при принятии управленческих мер, легитимизирующих новые формы равноправного взаимодействия профессиональных ассоциаций с государственными органами.

**Ключевые слова:** клиническая автономия врача, организационная автономия, экономическая автономия, здравоохранение, цифровизация, бюрократизация медицины, профессиональная автономия

**Для цитирования:** Ерошик П. С. Трансформация профессиональной автономии российских врачей в условиях новой реальности // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 122–139. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.8](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.8). EDN [IRKMEB](https://edn.rkmeb.ru).

**Введение.** Профессиональная автономия врача — один из составляющих элементов профессионализма, который предполагает выполнение различных трудовых задач с вариативным способом решения и предполагаемым, хотя и неопределённым заранее итогом этой деятельности. Она присуща профессиям как высокостатусным занятиям, имеющим ряд признаков, таких как высокая

степень интеллектуального труда, опора на научные знания, выстроенная система обучения и квалификации, личная ответственность и заинтересованность профессионалов в поддержании общественного благополучия [1; 2, с. 583–584; 3, с. 13; 4, с. 39]. Автономия рассматривается исследователями не только как принцип медицинской этики и организации здравоохранения, предполагающий право и способность медицинского работника самостоятельно принимать клинические решения на основе профессиональных знаний, опыта и этических норм, но и как основа саморегулирования профессии. В современной России этот принцип сталкивается с комплексом вызовов, обусловленных изменением модели взаимодействия врача с пациентом и социальными институтами, трансформацией системы здравоохранения, усилением регуляторных механизмов и цифровизацией медицины.

Актуальность исследования продиктована рядом трансформационных процессов, происходящих в сфере здравоохранения в последнее десятилетие. К ним относятся реформирование здравоохранения, включающее внедрение новых стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, систем контроля качества и электронного документооборота, которые существенно меняют условия профессиональной деятельности врача, ограничивая пространство для самостоятельных решений. Рост правовой грамотности пациентов, развитие института информированного согласия и медицинских споров повышают ответственность врача и одновременно усиливают давление на его профессиональную автономию. Цифровизация (электронные медкарты, телемедицина, ИИ-ассистенты) трансформирует процесс принятия решений, требуя переосмысления границ самостоятельности врача.

Исследовательская проблема заключается в необходимости поиска оптимального уровня выраженности профессиональной автономии. Такой уровень должен поддерживать авторитет врачебного сообщества, усиливать его влияние на формирование политики в области здравоохранения на государственном и региональном уровнях, а также повышать престиж профессии. Это необходимо для устойчивого воспроизводства кадров и успешного удовлетворения потребностей общества в профилактике, лечении заболеваний и сохранении здоровья.

В связи с этим возникает необходимость оценки состояния профессиональной автономии врачей, влияния на неё различных институциональных и организационных факторов и поиска возможных путей её расширения.

### **Автономия врача: исторический аспект и структурные элементы понятия.**

Врачебная автономия как право и возможность врача действовать на основе своих профессиональных знаний и убеждений, а не под давлением внешних сил (государства, страховых компаний, администрации, фармацевтических фирм и т.д.) не раз становилась предметом исследования отечественных и зарубежных социологов. Во второй половине XX в. преимущественно американскими и британскими социологами были определены основные характеристики понятия профессиональной автономии, рассмотрена её динамика в разных государствах и выдвинуты утверждения о взаимосвязи политической и экономической систем, господствующих в данном государстве, с организацией здравоохранения и условиями труда врачей [5, с. 47–48; 6, с. 42–45; 7, с. 13–16]. В советской науке рассмотрение автономии как одного из основных явлений, отражающих состояние условий труда врачей, не входило в поле зрения социологов в связи с господством социально-экономической и политической модели общества,

проявлявшей признаки государственного патернализма по отношению к труду граждан [8, с. 364]. В настоящее время тема врачебной автономии вновь становится актуальной в связи с реформированием системы подготовки медицинских работников, кадровым кризисом, трансформацией отношений между врачом и пациентом.

Согласно исследованиям американского социолога Эллиота Фрейдсона, профессиональная автономия врача базируется на технической автономии — обладании специальными знаниями, навыками и способами осуществления практической деятельности, которые столь сложны, что недоступны обывателям и не-членам профессиональной общности. Фрейдсон считает именно техническую автономию базой, на которой представители профессии получают автономию в других областях — политической, экономической и др. Обладая экспертным знанием в области медицины, профессионалы имеют возможность, действуя в очерченных законодательством рамках, изменять границы этих рамок вопреки установкам руководящих и планирующих органов [9, с. 25–26].

Изучая состояние медицинской автономии в США, Британии и Советском Союзе в 60-х гг. XX в., Фрейдсон отмечал три различных подхода к её формированию. Он выделил высокую степень медицинской автономии в США, которую профессиональное сообщество завоевало благодаря открытой политике государственной власти, делегировавшей решение многих вопросов профессиональной ассоциации медицинских специалистов — Американской медицинской ассоциации. Этот орган, действующий через своих представителей, избираемых из числа её членов, ответственен за формирование методических основ лечебного процесса, а также за производство медикаментов, разработку медицинских инструментов и за регулярный пересмотр кодекса этики врача. Немаловажным направлением работы также являлось лицензирование и допуск врачей к практической деятельности. Таким образом, именно профессиональное сообщество было ответственно за регулирование всей медицинской деятельности в стране исходя из рыночной ситуации и имевшейся потребности во врачах.

Британская модель организации здравоохранения, построенная на взаимодействии медицинской ассоциации и министерства здравоохранения, предоставляла меньший объём автономии врачам, оставляя им свободу в клинической и научной работе, но исключив возможность самостоятельно организовывать свой труд в связи с принятием государственных планов по оказанию медицинской помощи и её финансированию. Данная модель представляет собой компромисс между интересами участников системы здравоохранения, который удовлетворяет интересы государства и общества в потреблении медицинских услуг и предоставляет врачам право на отстаивание своих интересов и их лоббирование в органах власти.

Советская модель здравоохранения представляется Фрейдсону как предоставляющая наименьшую автономию врачам в связи с плановым характером экономики, подчиняющим себе все отрасли народного хозяйства. Организационно медицинская деятельность регулируется министерством здравоохранения, включая заработные платы и объём рабочей нагрузки, определяемый бюрократической медицинской системой. При этом в стране отсутствовали частные медицинские ассоциации, которые могли бы представлять интересы врачей перед государством и пациентами и регулировать их деятельность. Таким образом, советское государство обладало монополией на установление организационной и экономической зависимости врачей при осуществлении медицинской

деятельности, оставляя лишь простор для принятия клинических решений на уровне лечебного процесса [9, с. 27–45]. В современной России сформирована модель здравоохранения, вобравшая черты британской и советской, которая сохраняет определённую подчинённость врачебного сообщества государственным органам, предоставляя возможность представителям сообщества формировать клиническую политику системы здравоохранения.

Д. Сальваторе утверждает, что профессиональная автономия врачей включает в себя три компонента — клиническую автономию на индивидуальном уровне практики, социально-экономическую автономию и организационную автономию [10, с. 2]. Подход автора позволяет оценить социальное положение врачей в процессе их трудовой деятельности и степень их влияния на принятие решений внутри медицинской организации и на формирование общих принципов и рамок здравоохранения. Схожей позиции, хотя и в отношении профессиональной группы учителей, придерживается М. Фростенсон, который выделяет три формы автономии: общую профессиональную автономию как способность профессиональной группы определять рамки преподавательской деятельности, коллегиальную профессиональную автономию как способность регулировать вопросы практической деятельности на уровне образовательных организаций, и индивидуальную автономию как способность самостоятельно выбирать способы и формы педагогической работы [11]. А. В. Прокофьев рассматривает автономию профессионала в аспектах отношений с клиентами с позиции субъекта, обладающего исключительными знаниями, недоступными клиенту, и отношений с обществом, которое стремится подчинить профессионалов внешнему контролю путём установки критериев оценки их деятельности [3].

Исследователи отмечают разрушение представлений о профессионализме, господствовавших в XX веке, и предлагают современные концепции профессионализма и профессиональной автономии. Так, М. Ноордеграаф утверждает, что деятельность врачей в настоящее время подвергается давлению извне и определяется принципами рациональности расходования средств, эффективности, конкурентоспособности, опоры на маркетинг из-за влияния позиций менеджериализма [12, с. 7; 13, с. 207].

Способность врача принимать лечебные решения самостоятельно, исходя из принципов наибольшей эффективности и наименьшего вреда для пациента, является одной из основ профессиональной автономии врача. Право на принятие самостоятельных клинических решений регламентировано законодательством. Ряд действий, таких как проведение диагностики, установление диагноза и лечение пациента проводит лечащий врач, который, однако, имеет право не ограничиваться только своим мнением, а пригласить для консультации врачей-специалистов, и, таким образом, организовать междисциплинарное обследование пациента. При этом выбор средств для диагностики и лечения также остаётся за врачом, с тем лишь ограничением, которое накладывают разработанные профессиональным сообществом клинические рекомендации и установленные порядки оказания медицинской помощи. Так, в целях применения наиболее действенных методов и средств лечения различных групп заболеваний, врачебные экспертные сообщества формируют регламентирующие документы, ограничивая применение неэффективных и вредных методов. Такое вынужденное снижение автономии является необходимым и действенным приёмом для поддержания высокого качества оказания медицинской помощи и недопущения выбора врачами экспериментальных и неодобренных вариантов лечения.

Вместе с тем, для соблюдения баланса прав пациента и врача законодательство разрешает врачу действовать без добровольного согласия пациента лишь в ограниченных случаях — при состоянии здоровья, имеющем непосредственную угрозу жизни пациента, а также в отношении граждан, страдающих социально значимыми, психическими заболеваниями, совершивших преступления, при проведении судебно-медицинской экспертизы, и при оказании паллиативной помощи лицу, которое по своему состоянию не способно выразить свою волю<sup>1</sup>. В остальных случаях на каждое вмешательство необходимо согласие пациента.

Социальная и экономическая автономия врача — это возможность быть свободным от управленческого контроля, самостоятельно устанавливать себе уровень рабочей нагрузки, составлять расписание и выделять приоритеты в работе, а также формировать свой доход. Данный компонент разнится между странами, имеющими разные подходы к организации системы здравоохранения.

Согласно положениям представителя неомарксистского подхода в социологии Винсента Наварро, сектор медицины значительно контролируется и управляется держателями капитала, через которых протекают большие объёмы финансовых средств, распределяемых среди участников системы здравоохранения — это страховые компании и фонды [14, с. 150]. Влияние страховых компаний заключается в аккумуляции средств от медицинских страховок, установлении тарифов на выплаты за оказанную медицинскую помощь. Являясь связующим звеном между пациентом и врачом, страховые компании принимают решение о заключении договора с медицинскими организациями на основании соглашения о тарифах, которые могут быть ниже для страховой организации, чем для частных пациентов, не имеющих полиса страхования. У страховых компаний, следовательно, возникает возможность решать, будут ли медицинская организация или частнопрактикующий врач подключены к системе платного страхования или нет. Таким образом, распределяя деньги пациентов, страховые компании находятся в доминирующем положении.

Влияние на профессиональную автономию выражается путём контроля со стороны страховых медицинских организаций и фондов обязательного медицинского страхования, оплачивающих лечение пациентов. Переход к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, т.е. стандартизация подходов к выбору форм и методов лечения, обусловленная необходимостью достижения экономической эффективности, не позволяет врачу свободно выбирать тактику, а диктует готовые варианты лечения, разработанные профессиональным сообществом совместно с Минздравом. Отход от данных рекомендаций может являться поводом для проведения медико-экономических экспертиз оказания медицинской помощи, в рамках которых оценивается применение тех или иных методов лечения с точки зрения целесообразности расходования денежных средств фондов медицинского страхования. Таким образом, внешний контроль со стороны страховых организаций-плательщиков за лечением граждан оказывает значимое влияние на выбор тактики лечения врачами с целью минимизации нежелательных последствий за нецелевое расходование средств.

Организационная автономия определяет возможность врачей влиять на принятие решений внутри медицинской организации, которая зависит от

<sup>1</sup> Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2025) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026). URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_121895/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/) (дата обращения: 01.05.2026).

установленного в организации типа управления, строгости иерархии должностей. Уровень организационной автономии в бюрократических организациях, как правило, невысок, в связи с тем, что полномочиями принимать управленческие решения наделён в соответствии с занимаемой должностью лишь ограниченный круг административно-управленческого персонала — руководитель организации, его заместители, и в меньшей степени — заведующие отделениями. Рядовые сотрудники зачастую не допускаются к принятию управленческих решений, однако согласно нормативным актам организации, могут участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на общее рассмотрение руководством учреждения. Возможность оказывать влияние зависит не только от должности, но и от личностно-профессионального статуса, который представляет собой степень включенности индивида в отношения профессиональной группы, уровень квалификации и мастерства, признания в профессиональной среде, уровень развития профессионального самосознания [15, с. 87].

**Регулируемая самостоятельность профессионалов.** На межгосударственном уровне необходимость закрепления профессиональной автономии врача впервые нашла отражение в двух документах конца XX в.: Декларация о независимости и профессиональной свободе врача, принятая 38-й Всемирной Медицинской Ассамблеей в октябре 1986 г., закрепила свободу от вмешательства посторонних лиц в лечебный процесс, установив независимость решений врача<sup>2</sup>. Мадридская декларация о профессиональной автономии и самоуправлении врачей 1987 г. явилась логическим продолжением предыдущего документа и закрепила ключевые положения о свободе действия профессиональных медицинских ассоциаций и их обязательствах по обеспечению оказания качественной медицинской помощи<sup>3</sup>. Роль данных документов заключалась в формировании общих принципов деятельности врачей: независимости от общественного влияния, автономности принятия решений в рамках клинической деятельности и формирования ценовой политики при организации медицинской помощи, которые в дальнейшем могут быть приняты за основу национальными профессиональными сообществами для определения рамок автономии медицинской деятельности.

В современной России модель здравоохранения характеризуется значительным преобладанием государственного сектора, финансируемого за счёт средств региональных и федерального бюджетов, а также взносов на обязательное медицинское страхование. Основные показатели и направления деятельности также определяются Минздравом РФ. Так, соотношение государственных и негосударственных больничных медицинских организаций составляет 89,4% против 10,6%, амбулаторных медицинских организаций — 68,33% государственных против 31,66% негосударственных [16, с. 87, 93]. В настоящее время деятельность врачей весьма бюрократизирована. Система здравоохранения состоит из больших структурных элементов — медицинских

<sup>2</sup> Декларация о независимости и профессиональной свободе врача. Принята 38-й Всемирной Медицинской Ассамблеей (Ранчо Мираж, Калифорния, США, октябрь 1986 г.). URL: <https://spb-medcom.ru/publ/info/1104> (дата обращения: 13.08.2025).

<sup>3</sup> Мадридская декларация о профессиональной автономии и самоуправлении врачей. Принята 39-й Всемирной Медицинской Ассамблеей (Мадрид, Испания, октябрь 1987 г.). URL: [https://e-stomatology.ru/star/info/2010/madrid\\_declaration.htm](https://e-stomatology.ru/star/info/2010/madrid_declaration.htm) (дата обращения: 27.08.2025).

учреждений, которые выполняют некоторые виды социального контроля над работниками: в них устанавливаются общие цели деятельности, чётко определяется должность и функционал каждого сотрудника путём установления иерархии и внедрения локальных нормативных актов медицинского учреждения [17, с. 164–165]. Выполнение задач в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи предопределяет ограничение автономии врача вследствие государственного прогнозирования и планирования объёмов этих услуг. Утверждённые планы по квотированию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи устанавливают лимит медицинских вмешательств, превысить который врач не может, и по исчерпанию финансируемых квот оказание медицинской помощи в указанном периоде прекращается. Данная ситуация ограничивает права пациентов, вынужденных ждать выделения новых квот, и одновременно ограничивает возможности врачей, не способных реализовать свои умения и навыки при оказании медицинской помощи.

Врачебная деятельность подвержена значительному влиянию менеджеров, организаторов здравоохранения и исполнительных органов власти в сфере здравоохранения — региональных и федеральных министерств и ведомств, которые ограничивают автономию профессионального сообщества в определении норм профессиональной деятельности, подготовки специалистов и оценки качества их образования. Процедурные документы, регламентирующие правила осуществления медицинской деятельности, выражены в форме нормативных актов Минздрава РФ или федеральных законов.

Контроль над деятельностью медицинских работников и медицинских организаций осуществляют: со стороны государства — Росздравнадзор, оценивающий доступность и качество медицинской помощи на соответствие нормативным стандартам и порядкам оказания медицинской помощи<sup>4</sup>; со стороны общества — Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ, уполномоченные по правам человека, ребёнка и малочисленных народов РФ, по защите прав предпринимателей и иные субъекты общественного контроля [18, с. 6].

Субъектами обеспечения профессиональной автономии являются многочисленные общероссийские и региональные общественные организации — врачебные ассоциации, создаваемые по отраслям медицины или по территориальному признаку. Наиболее крупными сообществами врачей, распространяющими свою деятельность на всю страну, являются Национальная медицинская палата и Общество врачей России. Направления и рамки их деятельности очерчены федеральным законодательством — это участие в законотворческой деятельности, совместная разработка организационных и финансовых планов медицинской деятельности с Министерством здравоохранения РФ и создание условий для саморегулирования деятельности врачей.

Формы участия профессиональных врачебных сообществ закреплены статьёй 76 Федерального закона от 21.12.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которой такие сообщества разрабатывают клинические рекомендации, которые, однако, проходят ре-

<sup>4</sup> Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 (ред. от 24.10.2025) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026). URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_48299/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48299/) (дата обращения: 01.05.2026).

цензирование и одобрение в научно-практическом совете, создаваемым Минздравом России и включающим представителей научных, образовательных, медицинских организаций, согласно ст. 37 означенного закона, что обеспечивает многоэтапную проверку проектов клинических рекомендаций и предполагает вероятность их отклонения. Закон уточняет, что участие профессиональных объединений в решении вопросов охраны здоровья осуществляется «в установленном законодательством РФ порядке», т.е. в определённых формах, которые государство признает действенными и эффективными, иные механизмы участия не признаются легитимными. Законодательство не предусматривает взаимодействие главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения РФ с профессиональными объединениями специалистов<sup>5</sup>, что уменьшает возможность оперативного решения вопросов обеспечения кадрами, их подготовки, повышения качества медицинской помощи. Таким образом, деятельность профессиональных ассоциаций является содержательной и направленной на развитие здравоохранения, но ограниченной рамками законодательства и подверженной внешнему контролю.

Одним из способов выражения автономии профессионального сообщества является осуществление социального контроля самим сообществом в отношении его участников. В России моральные и этические нормы деятельности врача устанавливает Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации<sup>6</sup> — документ, разработанный одной из крупнейших врачебных ассоциаций России. Он, однако, не устанавливает меры контроля над исполнением этих норм и санкции за их нарушение, кроме случаев нарушения российского законодательства при осуществлении медицинской деятельности, тем самым оставляя за врачом право решать, следовать им или нет. Вследствие этого профессиональный контроль осуществляется не на общепрофессиональном, региональном либо отраслевом уровне, а на уровне медицинских организаций. В них функционируют комиссии по медицинской этике и деонтологии, которые рассматривают случаи нарушения профессиональной этики, конфликтных ситуаций, а также создают условия для соблюдения профессиональных норм<sup>7</sup>. Профессиональные ассоциации не имеют достаточных возможностей для осуществления экспертного контроля над врачами, а лишь декларируют основные рамки их деятельности. Основные формы профессионального контроля реализуются коллективами и руководством медицинских организаций, а не представителями профессиональных ассоциаций. Создание этических комиссий на уровне отраслевых или региональных профессиональных объединений врачей могло бы способствовать усилению их экспертного влияния на повседневные практики работы врачей.

<sup>5</sup> Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 октября 2012 г. № 444 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70152230/>; Приказ Минздрава России от 19.04.2021 N 374 (ред. от 09.07.2024) «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации». URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_386256/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386256/) (дата обращения: 01.03.2026).

<sup>6</sup> Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации от 05 октября 2012. URL: <https://docs.cntd.ru/document/561281077> (дата обращения: 01.03.2026).

<sup>7</sup> Положение о комиссии по медицинской (профессиональной) этике и деонтологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» Минздрава России. URL: [https://ncagp.ru/upload/files/polozhenie\\_o\\_komissii.pdf](https://ncagp.ru/upload/files/polozhenie_o_komissii.pdf); Положение о комиссии по медицинской этике – ГБУЗ РК «Нижегородская РБ». URL: <https://nizhgor-rb.ru/protivodejstvie-korrupsii/polozhenie-o-komissii-po-meditsinskoj-etike/> (дата обращения) 02.03.2026).

В ходе проведения периодической аккредитации специалистов, согласно соответствующему Положению<sup>8</sup>, медицинские профессиональные некоммерческие организации формируют заключение в отношении врача, проходящего данную процедуру, и передают его в центральную аккредитационную комиссию, которая в дальнейшем выносит решение о прохождении или непрохождении аккредитации. Исходя из формулировки документа, данное заключение предоставляется дополнительно к сведениям о трудовой деятельности специалиста. На этом основании можно предположить, что заключение в некоторой степени носит рекомендательный характер, поскольку принятие решения остаётся за аккредитационной комиссией, оценивающей отчёт специалиста о профессиональной деятельности за истекший период.

Происходящие изменения в сфере практической работы и подготовки врачей вызваны зачастую инициативами органов власти, которые определяют условия, формы и содержание деятельности в сфере здравоохранения, а не профессионального сообщества. В числе последних законодательных изменений — публикация Федерального закона №424-ФЗ от 17.11.2025 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно в федеральные законы № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которые закрепили обязательство по прохождению выпускниками медицинских вузов наставничества в течение не более 3 лет в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий, а для обучающихся, заключивших договор о целевом обучении, — в медицинских организациях, являющихся работодателем по договору о целевом обучении<sup>9</sup>. Также данный закон обязывает обучающихся по программам ординатуры за счёт бюджетных средств заключить договоры о целевом обучении с организациями на период обучения. Этот нормативный акт был разработан в условиях нехватки кадров в государственной системе здравоохранения и призван обеспечить медицинские учреждения специалистами, оказывающими помощь населению в рамках обязательного медицинского страхования.

Таким образом, в России выстроена многоуровневая система организации медицинской деятельности и контроля над ней, в которой основными субъектами выступают не представители врачебного сообщества, а государственные и общественные организации. Внесение в нормативные акты поправок о расширении форм участия профессиональных объединений позволит узаконить новые практики взаимодействия профессиональных ассоциаций с государственными органами, образовательными и медицинскими организациями в целях более качественного управления сферой здравоохранения.

**Выраженность профессиональной автономии у современного врачебного сообщества России.** В России на уровне практической деятельности специалиста происходит изменение характера взаимоотношений врачей и пациентов в течение более чем 20 лет. Оно проявляется в трех аспектах:

<sup>8</sup> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» (зарег. 30.11.2022 № 71224). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211300021> (дата обращения: 02.03.2026).

<sup>9</sup> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.03.2026 № 167н «Об утверждении Положения о наставничестве в сфере здравоохранения» (зарег. 27.03.2026 № 85762). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202603270019> (дата обращения: 02.03.2026).

1. *Деградация доминирования врача как профессионала.* Традиционно отношения «врач-пациент» асимметричны по возможностям влияния друг на друга, оценки предмета отношений — состояния здоровья пациента и способов это состояние изменить [3, с. 14], однако развитие цифровых сообществ пациентов и широкое наполнение сети Интернет информацией медицинского характера, опубликованной зачастую в упрощённой и доступной обывателю форме, способствует формированию у пациентов иллюзии компетентности, сопоставимой по уровню с компетентностью врача. Осведомлённость, основанная на отрывочных фактах о протекании того или иного заболевания, провоцирует снижение доверия к врачу как к носителю специфических знаний и способствует возникновению конфликтных ситуаций, связанных с несовпадением ожиданий пациента с предлагаемой специалистом тактикой лечения. Это ставит доктора перед необходимостью доказывать пациенту, как экзаменатору, правильность и обоснованность принятых им решений, рискуя стать объектом проверки со стороны контролирурующих организаций в случае подачи пациентом жалобы на некачественную медицинскую помощь. Врач уже не является безусловным авторитетом, обладающим полной автономией в выборе тактики лечения, в том числе из-за модели взаимодействия, основанной на информированном согласии пациента, в рамках которой пациент может отказаться от предлагаемых медицинских вмешательств. Недосток доверия к врачу, а также тенденция к формированию негативного общественного мнения о медицинском персонале приводят к формированию синдрома эмоционального выгорания, которое, в свою очередь является одной из причин ухода врачей из профессии [19, с. 45].

2. *Смена характера отношения врача к пациенту.* Современный инструментарий врача создаёт опосредованность при взаимодействии с пациентом. Использование высокотехнологичного оборудования для диагностики состояния здоровья вместо традиционного осмотра с применением контактных техник взаимодействия формирует у врача представление о пациенте как о наборе данных, уменьшая значимость для врача отношения пациента к своему недугу. Ситуация усугубляется высокой загруженностью, особенно в амбулаторном звене здравоохранения, и нарастающей интенсивностью межличностных конфликтов во время взаимодействия врача и пациента. Существует рассогласованность в восприятии взаимоотношений врачами и пациентами. Врачи склонны переоценивать своё отношение к пациенту, в то время как пациенты испытывают недостаточное внимание к своему недугу, излишнюю холодность и отчуждённость врача, безразличие [20, с. 114]. В условиях кризиса доверия к врачу как профессионалу поддержание врачебной автономии в немалой степени зависит от умения наладить контакт и установить взаимопонимание с пациентом, убедить его в необходимости тех или иных лечебно-диагностических мероприятий, для чего потребуются дополнительная работа по формированию коммуникативной компетентности у докторов, которую могли бы проводить профессиональные ассоциации. Поскольку каждая патология — неврологическая, стоматологическая, эндокринологическая и т.д. — приносит пациенту индивидуальные физические неудобства и моральные страдания, рациональным было бы создание лидерами мнений в каждой отрасли медицины специализированных руководств по развитию эмпатии и навыков коммуникации с учётом специфики различных видов заболеваний. Один из путей сохранения автономии врачебного сообщества — это поддержание этических норм в деятельности специалистов. Соблюдение профессиональных норм и их трансляция в общество обеспечивают доминиро-

вание профессионального врачебного сообщества в сфере лечения пациентов над неспециалистами — знахарями, целителями и иными лицами, не имеющими профильного образования, но относящими себя к сфере медицины [21, с. 72].

3. *Возрастание роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в медицине.* В условиях реализации стратегического направления развития здравоохранения — его цифровизации — осуществляется переход к широкому использованию медицинских информационных систем в процессе работы врачей. В целях снижения документальной нагрузки на врачей происходит формирование единого цифрового контура здравоохранения: медицинские учреждения переходят на заполнение медицинской документации в электронном виде. Парадоксально, но цифровизация здравоохранения на первых этапах реализации проекта приводит не к снижению, а к увеличению бюрократической нагрузки на врачей из-за дублирования электронного документооборота бумажным, несовершенства информационных систем, в которых работают врачи. Вкупе с невозможностью выбора врачами медицинской информационной системы, часть документооборота может и в дальнейшем вестись в бумажном виде из-за ограниченного функционала используемой системы [22, с. 184–186]. В связи с этим необходима унификация медицинских информационных систем с возможностью бесшовного обмена данными между медицинскими организациями и специалистами в целях ускорения процесса работы с документацией.

Внедрение в медицину основанных на искусственном интеллекте систем, осуществляющих поддержку врача в процессе диагностики, лечения и реабилитации, позволяет снизить нагрузку на врача и повысить скорость его работы за счёт выполнения компьютером рутинных вычислительных операций. В условиях стратегического развития и увеличения количества медицинских ИИ-систем, применяемых в каждой государственной медицинской организации до 12 единиц к 2030 году<sup>10</sup>, влияние данных систем на автономию врача в процессе лечения становится значительным. Несмотря на положительную оценку врачами и пациентами эффектов от внедрения ИИ-инструментов в медицину [23, с. 539; 24, с. 63], алгоритмы работы искусственного интеллекта имеют некоторую вероятность постановки неверного диагноза, тем самым предоставив врачу ложную информацию о состоянии здоровья пациента [25, с. 27], что приведёт к необходимости дополнительной проверки полученных данных и их верификации. Расширение их функционала и повышение точности работы способно через несколько десятилетий значительно поменять модель врачевания. В новой модели основным субъектом будет не врач как носитель знаний, а интеллектуальные системы, обученные на массиве данных пациентов и сведений о заболеваниях, что может привести к постепенной утрате у специалистов знаний и навыков проведения диагностических, лечебных процедур, постановки диагнозов [26, с. 78–79]. Вероятен сценарий, при котором врачи станут воспринимать информацию от ИИ-помощников с низкой степенью критики, и, таким образом, специалисты будут играть роль операторов медицинских интеллектуальных систем, осуществляя технические процедуры — внесение жалоб и объективных данных о состоянии пациента в систему, получение диагноза и назначений, выписку рецептов на лекарства и направлений на процедуры. Критическое отношение врача к цифровым диагностическим сервисам является необходимым

<sup>10</sup> Стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2024 № 959-р). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404190016> (дата обращения: 24.02.2026).

условием их использования, поскольку ответственность за состояние здоровья пациента, в том числе юридическая, полностью ложится на специалиста.

Развитие сервисов искусственного интеллекта как консультантов по медицинским вопросам для пациентов также способно снизить автономию врача, поскольку пациенты будут апеллировать к заключению ИИ, который не обладает профессиональной интуицией и способностью верно поставить диагноз на основе запроса пользователя в сложных случаях с размытой клинической картиной. Опираясь на материалы из общедоступных источников, такой сервис способен дать разнообразную информацию, которую пациент в дальнейшем волен интерпретировать в зависимости от совпадения тех или иных симптомов, описанных в сформированном ответе на запрос. В дальнейшем это может вести к усилению процесса, описанного в пункте 1 настоящего раздела статьи.

Обучение специалистов работе с медицинскими системами с искусственным интеллектом и обязательное рассмотрение возможных погрешностей в работе таких систем позволит сохранить за врачом основную роль в процессе лечения пациентов и повысить качество медицинской помощи. Этому может способствовать также ограничение выдачи пациентам специализированной информации искусственным интеллектом и предоставление только базовых рекомендаций по оказанию первой помощи до посещения врача.

Затрагивая вопрос социально-экономической автономии врачей, связанный с кадровым обеспечением отрасли здравоохранения, необходимо отметить, что государство, исполняя обязательства по обеспечению населения доступной медицинской помощью, принимает решения, ограничивающие автономию врача на начальном этапе его профессионального и карьерного пути. Поскольку ими созданы условия, вынуждающие выпускников-специалистов работать по трудовому договору в определённых медицинских организациях с целью набора необходимого срока наставничества. Несмотря на то, что законом прямо не запрещается ведение индивидуальной предпринимательской деятельности или работа в иных медицинских организациях, при недостатке необходимого срока наставничества специалист будет направлен по окончании срока действия аккредитации на повторное прохождение первичной (первичной специализированной) аккредитации с прохождением оценочных процедур в виде тестирования, практической демонстрации приобретённых навыков и решения ситуационных задач<sup>11</sup>. В случае прохождения наставничества в течение установленного срока, специалист допускается до прохождения периодической аккредитации, которая проводится в формате оценки портфолио с основными результатами трудовой и образовательной деятельности за прошедший период<sup>12</sup>.

Проведённая реформа влечёт за собой некоторые риски: во-первых, возникает риск качественного изменения состава абитуриентов медицинских вузов. Если традиционно конкурсные группы на бюджетные места состоят, в первую очередь, из абитуриентов с наивысшими баллами и индивидуальными достижениями, а на платные места претендуют, как правило, кандидаты с более низкими результатами, то после вступления закона в силу, часть абитуриентов, на-

---

<sup>11</sup> Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 октября 2022 г. № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов». URL: <https://base.garant.ru/405842919/> (дата обращения: 08.03.2026).

<sup>12</sup> Федеральный закон от 17.11.2025 N 424-ФЗ (ред. от 08.03.2026) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_518989/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_518989/) (дата обращения: 08.03.2026).

бравших высокие баллы и желающих строить свой трудовой путь самостоятельно, может подавать документы на платное обучение, обходя требование закона. Этому способствуют доступные образовательные кредиты с государственной поддержкой. Менее успешные обучающиеся займут бюджетные места, в том числе из-за гарантии трудоустройства в медицинское учреждение. Одновременно может понизиться средний проходной балл по вузам. Таким образом, типичные составы конкурсных групп могут поменяться местами. Часть абитуриентов может выбрать обучение в зарубежных университетах без обязательств по отработке, что понизит общую численность практикующих врачей в России.

Во-вторых, учитывая опцию выбора места работы, существует вероятность, что ординаторы будут стремиться заключать договоры о целевом обучении с организациями в крупных городах и региональных центрах и выбирать те учреждения, где условия оплаты труда и социальной поддержки будут выше. Часть медицинских организаций может остаться невостребованной как из-за экономической непривлекательности, так и из-за территориального расположения, например, в малом населённом пункте с посредственно развитой инфраструктурой для проживания.

Кроме того, существует вероятность, что по истечении срока отработки, молодые врачи будут искать себе новое место работы, наиболее отвечающее их потребностям, покидая целевого работодателя. Это потребует от медицинской организации вновь искать работника и ожидать, пока молодой специалист закончит обучение и будет готов приступить к выполнению обязанностей.

Описанные меры являются следствием проблемы кадрового дефицита в здравоохранении, причины которой лежат в поле социологии управления и экономики. Способы устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы исходят из теорий мотивации и должны быть направлены на удовлетворение потребностей врачей, однако их перечень не ограничивается лишь материальным и нематериальным стимулированием, а включает глобальное создание условий в населённых пунктах для творческой реализации личности, что возможно лишь путём комплексного развития территорий. Развитие цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта, способно уменьшить нагрузку на специалистов за счёт делегирования части рутинных операций информационным системам, а развитие практики применения телемедицины в части увеличения объёмов дистанционных врачебных консультаций позволит, хотя и не заменить отсутствующих специалистов, но частично скомпенсировать дефицит кадров в региональных медицинских организациях за счёт использования альтернативного канала предоставления медицинской помощи.

На региональном уровне важно влияние врачебных ассоциаций на подход к образованию специалистов, поскольку ассоциации являются источниками и аккумуляторами актуальной информации о текущих вызовах и проблемах, стоящих в отрасли медицины, которую представляет ассоциация — терапии, кардиологии, нейрохирургии и пр. В настоящее время каждое образовательное учреждение составляет основные профессиональные образовательные программы высшего образования — программы ординатуры самостоятельно на основе профессионального стандарта, утверждая их внутри учреждения и в ряде случаев проводя рецензию внешними экспертами, в т.ч. работодателями. Влияние профессиональных врачебных сообществ на этот процесс опосредовано и выражается через механизм разработки клинических рекомендаций и профессиональных стандартов, которые в дальнейшем используются специалистами об-

разовательных учреждений при создании образовательных программ. Экспертная методическая поддержка и постоянное взаимодействие профессиональных объединений и образовательных организаций позволит создавать и обновлять программы ординатуры, содержательное наполнение которых будет наиболее полно соответствовать используемым в здравоохранении практикам. Это позволит повысить качество подготовки специалистов.

Описанные вызовы отражают изменения в профессиональной автономии отдельных специалистов и социальной группы врачей в целом и требуют многоуровневого ответа: от обучения врачей работе с цифровыми инструментами и развития их коммуникативных навыков для повышения авторитета профессионалов среди населения до внедрения компенсаторных механизмов предоставления медицинской помощи с использованием современных технологий и создания условий труда, удовлетворяющих специалистов. Это потребует участия как органов власти, так и представителей профессиональных объединений. При этом необходимо признать, что достижение баланса между интересами государства как представителя населения и интересами специалистов является трудно достижимым по причине проведения политики «социального государства», наделённого ответственностью за предоставление социальных гарантий гражданам, в том числе — на получение качественной и доступной медицинской помощи, вследствие чего врачи, работающие в бюджетном секторе здравоохранения, будут испытывать ряд ограничений при возникновении кризисных ситуаций в отрасли.

**Заключение.** В настоящее время произошёл переход от безусловной автономии, как она воспринималась в XX в., к ограниченной и регулируемой автономии, влияние на которую оказывают сообщество пациентов и государственные органы. Влияние профессиональных ассоциаций на контроль в отрасли уменьшилось, поскольку право осуществлять профессиональный контроль законодательно закреплено преимущественно за исполнительными органами власти.

Для выражения интересов врачей созданы и функционируют профессиональные ассоциации, и, согласно законодательству, члены данных организаций имеют возможность участия в разработке профессиональных стандартов медицинских специальностей, в оценке выпускников при проведении аккредитации специалистов, в разработке проектов клинических рекомендаций, однако эта деятельность законодательно ограничена. В связи с этим врачи сталкиваются с жёсткими рамками при реализации своей организационной, а в некоторых случаях и клинической автономии из-за регулирования отрасли государством. Кроме того, протекающие процессы снижения престижа профессии и ухудшения доверия населения к специалистам создают дополнительные барьеры, препятствующие качественному исполнению профессиональных обязанностей.

Технологии искусственного интеллекта, внедряемые в клиническую практику, в настоящее время занимают противоречивую позицию: с одной стороны, они облегчают процесс работы врачей, с другой, — способны в перспективе занять ведущую позицию в осуществлении лечебно-диагностических функций. Цифровые технологии способны выступить механизмом компенсации дефицита врачебных кадров, который в настоящее время пытается преодолеть Правительство РФ обязывая выпускников работать в бюджетных медицинских организациях в течение нескольких лет, тем самым обеспечивая доступ населения к медицинской помощи.

Развитие коммуникативных навыков специалистов позволит повысить клиническую автономию в контексте взаимоотношений врача с пациентом, поскольку будет способствовать лучшему пониманию врачом пациента и формированию способности эффективно донести необходимую информацию до него.

Усиление позиций врачебных ассоциаций возможно путём их непосредственного участия в разработке программ ординатуры по медицинским специальностям, соответствующим их профилю, что будет способствовать повышению качества образования и его ориентации на актуальные проблемы медицины.

Осуществление социального контроля силами самого профессионального сообщества возможно через создание отраслевых или региональных этических комиссий и наделения исключительными полномочиями по расследованию случаев нарушения врачебной этики вне рамок медицинских организаций, а также по вынесению компетентных заключений о соблюдении или несоблюдении норм профессионального кодекса. Дальнейшее укрепление профессиональной автономии требует институционализации такого этического контроля на уровне отраслевых ассоциаций. Это могло бы выразиться в создании прозрачных механизмов оценки профессиональной репутации, альтернативных стихийной системе отзывов пациентов о врачах.

В результате реализации изложенных предложений представляется возможным расширение влияния профессионального сообщества на сферу медицины.

### **Библиографический список / References**

1. Parsons T. The Professions and Social Structure. *Social Forces*. 1939;17(4):457–467. DOI [10.2307/2570695](https://doi.org/10.2307/2570695).
2. Flexner A. Is Social Work a Profession? In: Proceedings of the National Conference of Charities and Correction at the Forty-second annual session held in Baltimore, Maryland May 12–19, 1915. Chicago: Hildmann; 1915. P. 576–590.
3. Прокофьев А. В. Автономия профессионала и автономия профессии // Ведомости прикладной этики. 2017. № 50. С. 9–29. EDN [ZEYWZJ](https://www.edn.ru/ZEYWZJ).  
Prokofiev A. V. The Autonomy of the Professional and the Autonomy of the Profession. *Semestrial Papers of Applied Ethics*. 2017;(50):9–29. (In Russ.).
4. Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий. История, методология и практика исследований // Социологические исследования. 2009. № 8. С. 36–45. EDN [KTUKMN](https://www.edn.ru/KTUKMN).  
Mansurov V. A., Yurchenko O. V. Sociology of professions. History, methodology, research practices. *Sociological studies*. 2009;(8):36–45. (In Russ.).
5. Larson M. S. The Rise of Professionalism. Berkeley: University of California Press; 1977. DOI [10.1525/9780520323070](https://doi.org/10.1525/9780520323070).
6. Wolinsky F. D. The Professional Dominance Perspective, Revisited. *The Milbank Quarterly*. 1988;66(S2):33–47. DOI [10.2307/3349913](https://doi.org/10.2307/3349913).
7. Hafferty F. W., McKinlay J. B. (eds.) The Changing medical profession: an international perspective. New York: Oxford University Press; 1993.
8. Mansurov V. A., Yurchenko O. V. The Anglo-American and Russian Sociology of Professions: Comparisons and Perspectives. In: Mansurov V. A. (ed.) *Russian Sociology in Turbulent Times*. Moscow: RSS; 2011. P. 54–68.
9. Freidson E. *Profession of Medicine*. New York: Dodd, Mead & co.; 1970.
10. Salvatore D., Numerato D., Fattore G. Physicians' professional autonomy and their organizational identification with their hospital. *BMC Health Services Research*. 2018;18(1):775. DOI [10.1186/s12913-018-3582-z](https://doi.org/10.1186/s12913-018-3582-z). EDN [LLLUCP](https://www.edn.ru/LLLUCP).
11. Frostenson M. Three forms of professional autonomy: de-professionalisation of teachers in a new light. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*. 2015;(2):28464. DOI [10.3402/nstep.v1.28464](https://doi.org/10.3402/nstep.v1.28464).

12. Noordegraaf M. Hybrid professionalism and beyond: (New) Forms of public professionalism in changing organizational and societal contexts. *Journal of Professions and Organization*. 2015;2(2):187–206. DOI [10.1093/jpo/jov002](https://doi.org/10.1093/jpo/jov002).
13. Noordegraaf M. Protective or connective professionalism? How connected professionals can (still) act as autonomous and authoritative experts. *Journal of Professions and Organization*. 2020;7(2):205–223. DOI [10.1093/jpo/joa011](https://doi.org/10.1093/jpo/joa011). EDN JICRSL.
14. Navarro V. *Medicine under Capitalism*. New York: Prodist; 1976.
15. Филиогло Л. Д. Социология профессий и профессиональных групп. Тольятти: Изд-во ТГУ; 2014. 147 с.  
Filioglo L. D. *Sociology of Professions and Professional Groups*. Tolyatti: Tolyatti State University Press; 2014. (In Russ.).
16. Здравоохранение в России. 2025: Статистический сборник. М. : Росстат, 2025. 149 с.  
Healthcare in Russia. 2025: Statistical Collection. Moscow: Rosstat; 2025. (In Russ.).
17. McKinlay J. B., Arches J. Towards the Proletarianization of Physicians. *International Journal of Social Determinants of Health and Health Services*. 1985;15(2):161–195. DOI [10.2190/JBMN-C0W6-9WFQ-Q5A6](https://doi.org/10.2190/JBMN-C0W6-9WFQ-Q5A6).
18. Методические рекомендации по осуществлению общественного контроля в сфере здравоохранения в форме общественной проверки за деятельностью медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения, иных медицинских организаций, оказывающих в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. М. : Общественная палата Российской Федерации, 2024. 30 с.  
Methodological Recommendations for the Implementation of Public Control in Healthcare in the Form of Public Inspection of the Activities of Medical Organizations Included in the State and Municipal Healthcare Systems, and Other Medical Organizations Providing Medical Care in Accordance with the Legislation of the Russian Federation within the Framework of the Program of State Guarantees for Free Medical Care to Citizens. Moscow: Public Chamber of the Russian Federation; 2024. (In Russ.).
19. Анализ распространенности и факторов профессионального выгорания медицинских работников в Нижегородской области: пилот программы «Забота о медиках» Фонда «ВБлагодарность» / Р. А. Хальфин, В. В. Мадьянова, П. С. Твилле [и др.] // Национальное здравоохранение. 2024. Т. 5, № 1. С. 38–49. DOI [10.47093/2713-069X.2024.5.1.38-49](https://doi.org/10.47093/2713-069X.2024.5.1.38-49). EDN AFTHCP.  
Khalfin R. A., Madyanova V. V., Tuillet P. S. [et al.] Occupational burnout prevalence and associated factors among healthcare workers in Nizhny Novgorod region: The Foundation “VBlagodarnost” pilot program “Taking care of healthcare”. *National Health Care (Russia)*. 2024;5(1):38–49. (In Russ.). DOI [10.47093/2713-069X.2024.5.1.38-49](https://doi.org/10.47093/2713-069X.2024.5.1.38-49).
20. Бuzин В. Н., Бузина Т. С. Взаимоотношения врача и пациента в информационном обществе // Профилактическая медицина. 2020. Т. 23, № 5. С. 111–116. DOI [10.17116/profmed202023051111](https://doi.org/10.17116/profmed202023051111). EDN BBCBBI.  
Buzin V. N., Buzina T. S. The relationship between doctor and patient in the information society. *Russian Journal of Preventive Medicine*. 2020;23(5):111–116. (In Russ.). DOI [10.17116/profmed202023051111](https://doi.org/10.17116/profmed202023051111).
21. Соловьева С. В., Мухранова О. О. Этическое кодифицирование деятельности врача как инструмент власти и автономии профессионального сообщества // Аспирантский вестник Поволжья. 2023. Т. 23, № 3. С. 69–74. DOI [10.55531/2072-2354.2023.23.3.69-74](https://doi.org/10.55531/2072-2354.2023.23.3.69-74). EDN NGWPCU.  
Solovyova S. V., Mukhranova O. O. Medical code of ethics as an instrument of power and autonomy of the professional community. *Aspirantskiy Vestnik Povolzhiya*. 2023;23(3):69–74. (In Russ.). DOI [10.55531/2072-2354.2023.23.3.69-74](https://doi.org/10.55531/2072-2354.2023.23.3.69-74).
22. Галицкая В. А., Мещерякова Н. Н. «Цифровые парадоксы» в системе здравоохранения // Вопросы государственного и муниципального управления. 2022. № 4. С. 176–196. DOI [10.17323/1999-5431-2022-0-4-176-196](https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-4-176-196). EDN FSWCFT.  
Galitskaya V. A., Meshcheryakova N. N. “Digital paradoxes” in health care system. *Public Administration Issues*. 2022;(4):176–196. (In Russ.). DOI [10.17323/1999-5431-2022-0-4-176-196](https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-4-176-196).

23. Borges do Nascimento I. J., Abdulazeem H. M., Vasanthan L. T. [et al.] The global effect of digital health technologies on health workers' competencies and health workplace: an umbrella review of systematic reviews and lexical-based and sentence-based meta-analysis. *Lancet Digital Health*. 2023;5(8):534–544. DOI [10.1016/S2589-7500\(23\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00092-4).
24. Назаров М. М. Использование технологий искусственного интеллекта в здравоохранении: ожидания населения // Вопросы управления. 2025. Т. 19, № 2. С. 58–71. EDN [WTNRHA](https://www.edn.ru/WTNRHA).  
Nazarov M. M. The use of artificial intelligence technologies in healthcare: public expectations. *Management Issues*. 2025;19(2):58–71. (In Russ.).
25. Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении : аналитический доклад / И. В. Толмачев, И. С. Каверина, М. О. Плешков [и др.]. Томск : СибГМУ, 2022. 94 с. DOI [10.20538/978-5-98591-164-0](https://doi.org/10.20538/978-5-98591-164-0). EDN [HMQTQP](https://www.edn.ru/HMQTQP).  
Tolmachev I. V., Kaverina I. S., Pleshkov M. O. [et al.] Artificial Intelligence in Medicine and Healthcare: Analytical Report. Tomsk: Siberian State Medical University; 2022. (In Russ.). DOI [10.20538/978-5-98591-164-0](https://doi.org/10.20538/978-5-98591-164-0).
26. Введенская Е. В. Трансформация взаимоотношений врача и пациента: от биоэтики к робоэтике // Человек. 2023. Т. 34, № 6. С. 65–83. DOI [10.31857/S023620070029305-2](https://doi.org/10.31857/S023620070029305-2). EDN [LQEJGB](https://www.edn.ru/LQEJGB).  
Vvedenskaya E. V. Transformation of the Physician-patient Relationship: From Bioethics to Roboethics. *Chelovek*. 2023;34(6):65–83. (In Russ.). DOI [10.31857/S023620070029305-2](https://doi.org/10.31857/S023620070029305-2).

Поступила: 27.11.2025. Доработана: 01.05.2026. Принята: 15.05.2026.

#### Сведения об авторе:

**Ерошик Павел Сергеевич**, аспирант кафедры политической социологии и социальных технологий, Российский государственный гуманитарный университет.  
Москва, Россия. [webpavel20@hotmail.com](mailto:webpavel20@hotmail.com)  
ORCID: [0009-0005-0167-2049](https://orcid.org/0009-0005-0167-2049)

**P. S. Eroshik<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Russian State University for the Humanities. Moscow, Russia

## TRANSFORMATION OF THE PROFESSIONAL AUTONOMY OF RUSSIAN DOCTORS IN THE NEW REALITY

**Abstract.** In the context of the large-scale transformation of the Russian healthcare system, the issue of physician professional autonomy acquires particular significance. The standardization of medical care, the introduction of digital technologies, the strengthening of regulatory and oversight mechanisms, and changes in patient interaction models are creating a contradictory environment where traditional notions of physician autonomy clash with strict regulatory requirements. To determine the optimal model for the functioning of domestic medicine as a social institution, this article assesses the current state and the main actors regulating physician autonomy. The methodological basis of the study consists of M. Noordegraaf's concepts of "hybrid professionalism" and approaches to studying professional autonomy in both international and domestic sociology. The empirical basis comprises data from Rosstat (the Federal State Statistics Service of the Russian Federation) on the structure of medical organizations, as well as a systematic analysis of the Russian regulatory and legal framework in the field of public health and education. The study reveals that in Russia, physicians' professional autonomy is realized primarily within the framework of a "regulated independence" model, where the state retains the leading role in policymaking, while professional communities perform only complementary functions. Key factors limiting autonomy at both individual and group levels have been identified: the transformation of the patient's perception of the physician from an expert to a service provider against the backdrop of free access to medical information; the development of artificial intelligence services; a mismatch in the expectations of physicians and patients; the indirect influence of the professional community on educational programs; and legislative initiatives that narrow the career mobility

of young specialists. It is concluded that improving the social status of healthcare workers and enhancing the profession's prestige requires a shift in regulatory focus. Strengthening the position of medical communities and expanding their real influence on ethical oversight and educational standards is possible through the adoption of administrative measures that legitimize new forms of equal interaction between professional associations and government bodies.

**Keywords:** physician clinical autonomy, organizational autonomy, economic autonomy, healthcare, digitalization, bureaucratization of medicine, professional autonomy

**For citation:** Eroshik P. S. Transformation of the professional autonomy of Russian doctors in the new reality. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):122–139. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.8>

Received: 27.11.2025. Corrected: 01.05.2026. Accepted: 15.05.2026.

***Author information:***

**Pavel S. Eroshik**, Postgraduate student of the Department of Political Sociology and Social Technologies, Russian State University for the Humanities. Moscow, Russia.

[webpavel20@hotmail.com](mailto:webpavel20@hotmail.com)

ORCID: [0009-0005-0167-2049](https://orcid.org/0009-0005-0167-2049)

# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.9](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.9)  
EDN [UFFHNM](https://edn.urfhn.ru/)  
УДК 316.334:378.14



**В. В. Ковалёв**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, Россия

## СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕНЕДЖЕРИСТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РОССИИ

**Аннотация.** В статье проведён анализ социальных эффектов менеджеристского управления высшим образованием в России. Цель исследования: разработать типологию негативных эффектов, возникших вследствие применения менеджеристских инструментов, определить их масштаб, соотнести с ожидаемыми от реформ достижениями и оценить целесообразность продолжения преобразований. Эмпирическая база для выводов формировалась на протяжении четырёх лет: с 2022 по 2025 гг. Это массовые опросы, глубинные интервью, анализ документов. В основу типологии положен принцип соотнесения результатов менеджеристского управления с деятельностью трёх основных акторов института высшего образования: преподавателей, учёных и эффективных менеджеров. К негативным эффектам, воздействующим на профессиональную деятельность преподавателей, относятся: равнодушие руководства к образовательному процессу, рост бессмысленного активизма и ликвидация образовательной среды для обучения талантов. Негативные эффекты, воздействующие на профессиональную деятельность учёных, проявляются в исчезновении тематической специализации и разрушении ценности науки как социального института, ответственного за приращение нового знания. Негативные эффекты, разрушающие профессиональную деятельность университетской администрации, ведут к возникновению в академическом сообществе особого типа бюрократов, утративших признаки классической бюрократии и действующих исключительно ради достижения своих корпоративных интересов, антагонистичных и обществу, и государству. В статье сделан вывод о несостоятельности менеджеристских реформ высшего образования. Автор предлагает отказаться от действующей модели управления и перейти к затратному методу финансирования тех университетов и образовательных направлений, где обучают не рыночным специальностям: педагогике, медицине, военному делу и т.п.

**Ключевые слова:** высшее образование, менеджеризм, менеджеристское управление, университетская бюрократия, социальные эффекты

**Для цитирования:** Ковалёв В. В. Социальные эффекты менеджеристского управления высшим образованием в России // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 140–154. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.9](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.9). EDN [UFFHNM](https://edn.urfhn.ru/).

**Введение.** В российской системе высшего образования складывается парадоксальная ситуация: слово «менеджеризм» давно стало нарицательным, обозначающим неудачный опыт административной работы, а управление, основанное на его принципах, вытеснено из общественного дискурса множеством эвфемизмов, которые размывают ответственность власти за провалы, допущенные в руководстве высшей школой. В массовом общественном мнении множатся представления о том, что во всём виноваты не правила, из которых складывается управленческая модель, а полумифическая группа эффективных менеджеров, разрушающих социальные институты из-за своих непомерных appetites и порочных наклонностей. Согласно этим стереотипам, они «пилят бюджет», сознательно устраняют от власти профессионалов и даже по заказу «госдепа» целенаправленно разрушают образование. Массовое сознание склонно персона-

лизировать ответственность, связывая её с социальным поведением отдельных акторов, а не с институциональными правилами.

В действительности ситуация гораздо сложнее. Именно правила устанавливают рамки, которые детерминируют последствия, делая их неизбежными независимо от намерений персон, находящихся у власти. Объективно у неудач современной образовательной политики имеются вполне конкретные истоки — менеджеристское управление. Оно реализуется в практиках института высшего образования на протяжении последних пятнадцати лет. За это время менеджеризм из абсолютно инвазивного явления, шокирующего преподавателей своей чужеродностью, нашёл в их среде сторонников и даже приобрёл репутацию безальтернативной политики. Причиной тому стали цели, ради которых он вводился: обеспечить справедливое распределение ресурсов между университетами и их сотрудниками, стимулировать мотивацию труда профессорско-преподавательского состава (ППС), повысить культуру взаимоотношений между студентами и преподавателями, интенсифицировать труд педагогов и обучающихся, предоставить университетам право самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Перечисленные цели были достигнуты частично, однако социальные эффекты во многом оказались неожиданными и крайне негативными. Мы предполагаем, что они существенно перевешивают позитивные результаты менеджеризма, полностью обесценивая его достижения.

Цель статьи состоит в том, чтобы разработать типологию негативных эффектов, возникших вследствие применения менеджеристских инструментов, определить их масштаб, соотнести с ожидаемыми от реформ достижениями и оценить целесообразность продолжения преобразований.

**Анализ научной литературы.** По мере нарастания проблем в высшем образовании интерес к менеджеристской проблематике постепенно растёт. Учёные изучают разные её грани, в том числе социальные эффекты менеджеристского управления. Особого внимания заслуживают следующие аспекты:

- *подмена целей*, которая проявляется через вытеснение профессионального обучения, научных инноваций и воспитания обучающихся в пользу ориентации на прибыль [1];
- *снижение качества науки и образования*, выраженное в виде имитационных практик, увлечения формой в ущерб содержанию, игнорирования ценности образования [2];
- *неэффективный расход средств*, вызванный премированием за показатели без надлежащей проверки их качества и социальной полезности, а также распределением стимулирующих выплат в интересах бюрократии [3];
- *деформация профессиональной культуры преподавателей*, которая следует из обесценивания образовательной деятельности, массового распространения академического мошенничества [4], снижения субъектности академического сообщества [5];
- *нарушение принципа справедливости* в виде создания дискриминационных условий, когда высокостатусные вузы «конкурируют» с низкорейтинговыми университетами, лишая общество возможности получать социально значимых специалистов в нужном объёме [6];
- *снижение доверия между социальными акторами внутри института высшего образования*, что подтверждается разделением университетского этоса на две разные коллаборации: университет управленцев и университет преподавателей, находящихся в состоянии если не откровенной враждебности, то, по меньшей мере, нормативно-ценностного антагонизма [7].

Однако существующие исследования зачастую дают противоречивые интерпретации природы этих эффектов. В одних исследованиях их сводят к универсальным закономерностям глобального неоллиберализма, в других — к национальным институциональным особенностям, в третьих — к субъективным факторам управленческих решений. Отсутствие единой аналитической рамки, связывающей эти уровни в целостную картину, и обуславливает необходимость настоящего исследования.

Обзор литературы свидетельствует, что научным сообществом проделана большая работа по изучению последствий менеджеристских реформ. И тем не менее заявленная тема до конца не исчерпана. Прежде всего, это обусловлено не вполне корректным пониманием специфики российского варианта менеджеризма. В отечественной научной традиции он интерпретируется как неоллиберальная концепция управления, связанная с идеей сервисного государства, оказывающего услуги населению в тесном сотрудничестве с институтами гражданского общества. Подобные установки в российских управленческих практиках не укоренились. Менеджеризм лишь внешне соответствует западным стандартам управления и, следовательно, последствия от его реализации имеют иные проявления. Кроме того, все приведённые выше исследования касались отдельных аспектов, производных от более общего предмета изучения. В силу этого целый ряд нюансов проблематики остался неисследованным. В первую очередь это затрагивает деформацию управленческой этики университетской администрации, разрушение студенчества как социальной группы, кризис социо-гуманитарных наук и т.п. Отдельного внимания заслуживает отсутствие исследований, направленных на установление взаимосвязи между менеджеристским управлением и деформацией российской бюрократии. Игнорирование этого аспекта вызвано, как нам представляется, непониманием того, что в условиях неразвитого гражданского общества, роста патерналистских и этатистских тенденций в управлении государством менеджеризм в России неизбежно окажется встроенным в паттерны поведения и мышления бюрократии.

**Методология и методы.** В самом общем плане менеджеризм вполне допустимо свести к совокупности управленческих инструментов (KPI, эффективный контракт, рейтинги), нацеленных на повышение мотивации персонала. К этому главному смысловому ядру добавляется особый статус менеджеров, значимость которых, как ответственных за все управленческие процессы, была впервые обоснована П. Друкером [8]. С учётом дальнейших трансформаций понятия его исходный вариант было бы правильно обозначить как *корпоративный*. Цель корпоративного менеджеризма подчинена общему вектору всех коммерческих предприятий — максимизации прибыли.

Перенос с начала 80-х гг. XX в. менеджеристских идей на социальное управление поставил перед социологами новые теоретические задачи. Им следовало установить, является ли новая управленческая модель наследованием идей П. Друкера или это нечто принципиально новое. После нескольких лет дискуссий более-менее солидарно был легализован термин *государственный менеджеризм*. От корпоративного его отличало иное восприятие целей. Работа на прибыль декларировалась лишь как одна из задач, цель же заключалась в снижении нагрузки на государственный бюджет за счёт смещения тяжести расходов на

администрацию самих университетов. Была и ещё одна задача, которая, в силу своей специфичности, не афишировалась публично: снизить субъектность профессиональных сообществ как потенциальное препятствие для работы по новым правилам. Надежды на экономию связывались с оптимизацией не выполняющих показатели работников, сокращением государственной бюрократии (идея Д. Озборна и П. Пластрика о «дешёвом правительстве» [9]), ростом доходов самих университетов. Всё перечисленное становилось возможным при условии трансформации высшей школы в квазирынок коммерческих услуг. Органичным продолжением данной концепции стала предложенная примерно в это же время Г. Ицковичем теория так называемого предпринимательского университета [10].

В России сложился третий вид менеджизма — *бюрократический*, по ряду позиций отличающийся от европейского аналога. К числу общих черт относятся сформулированные выше цель, управленческие инструменты и политика по снижению субъектности академического сообщества. Расхождения выявились только в одном: стирании различий между эффективным менеджером и бюрократом. Это запустило процесс интеграции бюрократии во все социальные институты в качестве ведущего актора, а в глобальном плане — превращение учёных и преподавателей во временных наёмных работников, принятых для исполнения количественных показателей. Поскольку показатели оказались для российской бюрократии единственно понятными критериями эффективности высшего образования, то их исполнение прочно связалось с карьерным ростом и доходами.

Эмпирическая база формировалась на протяжении четырёх лет: с 2022 по 2025 гг. Она включает массовые опросы, глубинные интервью, анализ документов. Так, в массовом опросе по теме «Эффективность управления вузами в условиях менеджеристского управления» (2022) принимали участие 3006 студентов и 524 преподавателя из семнадцати университетов. В том же году по указанной теме было проведено 34 глубинных интервью (по два интервью с представителями администрации в каждом из семнадцати вузов). В 2023 г. в четырёх наиболее крупных вузах Ростовской области реализован экспертный опрос преподавателей по теме «Управление вузами на основе количественных показателей» (N=456). В 2024 г. в рамках государственного задания «Асимметрично развивающиеся территории перед традиционными и новыми вызовами» (номер госрегистрации: 122022700133-9) в девяти вузах юга России проведён массовый опрос по теме «Профессиональная культура преподавателей в условиях менеджеристского управления» (N=958). В 2025 г. выполнен анализ документов по теме «Нормативно-подушевое финансирование университетов». Подробное описание дизайна каждого из перечисленных исследований, методик сбора и обработки данных отражено в нескольких публикациях [4; 6; 11; 12; 13], содержащих также дополнительные массивы эмпирических данных и их анализ.

Главная трудность при структурировании эмпирического материала заключается в сложности систематизации всех негативных эффектов на единых типологических основаниях. Поэтому воспользуемся наиболее простым приёмом, соотнеся выявленные последствия с тремя основными акторами института высшего образования: преподавателями, учёными и эффективными менеджерами.

### **Негативные эффекты менеджеристского управления, воздействующие на профессиональную деятельность преподавателей.**

*Равнодушие руководства к образовательному процессу.* Вузовская администрация индифферентна к тому, какие знания, умения и навыки получают студенты в учебных аудиториях. Парадокс ситуации состоит в том, что университеты по-прежнему считаются образовательными организациями. Родители, отдающие своих детей на обучение, убеждены, что они приобретают профессию. Но основные помыслы, интересы и ресурсные затраты университетского менеджмента направлены на исполнение показателей по науке. Последние легко формализуются и более вариативны. В действующем Приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 28 августа 2023 г. № 824 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям подготовки...»<sup>1</sup> содержится лишь три показателя, формально относящихся к качеству обучения. Два из них — процент трудоустройства и среднее соотношение дохода выпускников и прожиточного минимума — искусственно доводятся вузами до нормативных требований, что нетрудно обнаружить по однотипным результатам на их официальных сайтах. Третий — среднегодовой процент сохранности контингента обучающихся — выступает прямым источником разрушения качества образования. Опираясь на этот показатель, администрация перешла к негласным рекомендациям не отчислять студентов<sup>2</sup>. Его исполнение — одна из главных причин потери преподавателями инструментов дисциплинарного воздействия на студентов. По замыслу реформаторов, вузы должны были начать честно конкурировать между собой за обучающихся. Такова исходная идея менеджеристской модели. Но в действительности никакой конкуренции нет. Есть адаптация к требованиям, которая проявляется в форме минимизации ресурсных затрат и подгонки показателей, где это только возможно, под отчётные стандарты. Адаптировавшись к правилам, руководство относится к обучающимся как к условной единице финансирования, все требования которой подлежат безусловному исполнению.

*Рост активизма и ликвидация образовательной среды для обучения талантов.* Высокие стандарты качества, свойственные университетскому образованию, держались на представлениях о том, что высшая школа приоритетно ориентирована на обучение талантливых студентов. За ними подтягивались обучающиеся среднего уровня. Неспособных к высоким интеллектуальным нагрузкам без сожалений отчисляли, чтобы исключить их негативное влияние на остальных и держать в тоне недостаточно мотивированных студентов среднего уровня. Тем, у кого были выдающиеся способности, уделяли повышенное внимание, создавали среду для их дальнейшего развития, обеспечивали индивидуальный подход. Менеджеризм эти педагогические установки изменил, что заметно на примере данных из табл. 1.

<sup>1</sup> Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 августа 2023 г. № 824 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по распределению контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407645570/> (дата обращения: 11.04.2026).

<sup>2</sup> Данная позиция безоговорочно подтверждена 22 из 34 экспертов (по глубинным интервью) [11].

Таблица 1

**Оценка предполагаемых изменений активности на практических занятиях  
в случае отмены балльно-рейтинговой системы (БРС)**  
(всероссийское исследование, 2022 г., N=3006, в %)

Заданные значения	Образовательный статус		
	Бакалавр (специалист)	Магистрант	Аспирант
Стал(а) отвечать намного чаще, т.к. снизилась бы активность тех, кто учится только ради баллов	27,1	19,5	18,4
Моя активность на практических занятиях не зависит от действующей БРС	35,5	51,6	68,4
Если снижение активности никак не отразится на сдаче экзамена или зачёта, то интенсивность моего участия в учебной работе существенно уменьшится	37,4	28,9	13,2

*Источник:* Данные авторского исследования, проведённого по репрезентативной всероссийской выборке в 2022 г. [11].

Рейтинги требуют одинакового ко всем отношения, независимо от способностей и желания учиться. Студентам для получения зачёта по учебному курсу или допуска к экзамену нужно заработать фиксированное количество баллов. Образование в этих условиях перестаёт быть инструментом профессионального обучения, а превращается в «гонку за показателями». Преподаватель вынужден распределять своё время равномерно между всеми, организуя семинарские занятия так, чтобы каждый смог выполнить задания, прописанные на семестр в учебных картах дисциплин. В итоге подавляющее большинство относится к образовательному процессу сугубо механически: преподаватели боятся жалоб от обучающихся, а студенты боятся получить недопуск к сессии из-за нехватки баллов.

Менеджеристское управление и вызванное им равнодушие к образовательному процессу порождают такой феномен, как бессмысленный активизм. У руководства в большой чести сотрудники, в целом бестолковые, но обладающие уникальным качеством изображать деловую активность во всём, что им поручат. Работа в аудиториях их мало интересует, так как она требует хотя бы минимальной сосредоточенности и предполагает обратную, нередко негативную рефлексию со стороны студентов. Поэтому они стараются концентрироваться на так называемых мероприятиях, околообразовательных «тусовках», кабинетах руководства. Количество таких «преподавателей» неуклонно растёт, а частота посещения ими учебных аудиторий падает. У них всегда всё хорошо, они не создают проблем руководству, студентам выставляют «нужные» оценки. Первоначально их рассматривали как неизбежное зло. Сейчас они преобладают в преподавательском корпусе и численно доминируют в учёных советах.

*Индифферентность студентов к образовательному процессу.* Следствием отмеченного состояния выступают менеджеристские представления о клиентоориентированности. Так называемая отмена нормативных положений об образовании как услуге — не более чем фикция. После декларативной подчистки Закона об образовании<sup>3</sup> в нём до сих пор остаётся более шестидесяти упомина-

<sup>3</sup> Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 25.04.2026) // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_146342/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/) (дата обращения: 11.04.2026).

ний слова «услуга». Но даже если бы этот термин полностью удалили из нормативных актов, ничего бы не изменилось: вузы продолжают конкурировать между собой за поступающих и обучающихся, воспринимая их как клиентов. Качество образования оценивается по количеству обучающихся. Напрашивается аналогия с коммерческим сектором, где охват широкой аудитории отождествляется с ростом продаж и прибыли. В высшем образовании это гарантии роста бюджетных мест по контрольным цифрам приёма (КЦП) и финансируемых государством ставок для ППС. Разумеется, не все преподаватели в полной мере осознают негативные эффекты от менеджеристской модели финансирования, но общие тенденции хорошо видны в табл. 2.

Таблица 2

**Отношение преподавателей к подшему финансированию студентов**  
(всероссийское исследование, 2023 г., N=524, в %)

Заданные значения	Результаты
Отрицательное, ведёт к негласному запрету отчислять тех студентов, кто не соответствует требованиям высшего учебного заведения	47,1
Положительное, это эффективный инструмент оптимального распределения финансовых ресурсов между вузами	6,7
Положительное, это эффективный инструмент конкуренции вузов за бюджетное финансирование	13,9
Затрудняюсь ответить	32,3

*Источник:* Данные авторского исследования, проведённого по репрезентативной всероссийской выборке в 2023 г. [11].

На уровне прокламаций всё выглядит блестяще: студентов не отчисляют, оценки высокие, трудоустройство по данным официальных сайтов вузов — от 78% до 97%. Однако образовательная среда разрушена, а в аудиториях царят безразличие и «бухучет» в виде сбора баллов. Это не просто вызов образовательной системе, а разрушение социальных смыслов, на которых прежде держался фундамент высшего образования.

**Негативные эффекты менеджеристского управления, воздействующие на профессиональную деятельность учёных.** Под учёными мы будем понимать занимающихся научной деятельностью представителей ППС.

*Ликвидация тематической специализации.* Обычным правилом для учёных во все времена была ориентация на тематическую специализацию. Менеджеристское управление стало серьёзной угрозой для этой модели поведения. Во-первых, узкая специализация обычно не способствует научной плодovitости, а именно росту публикационной активности — единственного, что эффективные менеджеры ждут от учёных. Конечно, можно упростить задачи и поставить публикации на поток. Но мы имеем в виду высокую науку, которая призвана создавать новое знание и социально полезные результаты. Однако такие достижения по заказу в больших количествах не появляются. Во-вторых, узкая специализация часто не совпадает с трендами, которые задаются властью как объекты первоочередного финансирования. Между тем наука рассматривается университетской администрацией, прежде всего, как источник заработка. Это стимулируется третьим и четвёртым показателями из Приказа Минобрнауки от 8 июля 2024 г. № 441 «Об утверждении показателей эффективности деятель-

ности...»<sup>4</sup>, которым установлены основания для начисления стимулирующих выплат ректорам. Поэтому учёные вынуждены постоянно менять свои научные предпочтения в связи с необходимостью выигрывать гранты.

В итоге профессиональная специализация уходит в прошлое. Учёные занимаются тем, что на данный момент лучше оплачивается. Это ведёт к снижению профессионализма. Научная работа становится поверхностной, формальной или, в худшем случае, имитационной. В проигрыше оказывается и государство. Ранее было известно, кто является специалистом по социологии молодёжи, гендерным процессам, среднему образованию, девиации и т.п. Гарантом получения достоверных и качественных результатов считалась научная репутация профильного специалиста, когда ему поручались исследования по заданной теме. Но в условиях перевода науки на проектные способы работы, конкуренцию и редметную разноплановость исчезли институциональные условия, при которых существовали гарантии достижения глубоких и подлинно инновационных разработок.

Таблица 3

**Оценка изменения профессиональной культуры ППС  
в условиях менеджеристского управления  
(исследование ППС юга России, 2024 г., N=958, в %)**

Заданные значения	Результаты			
	Доктор наук	Кандидат наук	Без учёной степени	Всего
Академическое сообщество стало более ответственным и дисциплинированным	4,8	12,1	25,9	16,2
Преподаватели и учёные повысили свои профессиональные качества	11,9	16,1	24,9	18,7
Преподаватели и учёные утратили свободу воли в принятии академических решений	52,4	55,6	42,5	50,8
Состояние профессиональных качеств учёных и преподавателей ухудшилось	51,2	33,7	21,1	30,9

*Источник:* Данные исследования, проведённого в рамках государственного задания «Асимметрично развивающиеся территории перед традиционными и новыми вызовами» (номер госрегистрации: 122022700133-9) в девяти вузах юга России [4; 13].

*Разрушение ценности науки.* По типологии М. Рокича [14] наука относится к терминальным ценностям. Последние отождествляются с целями, смыслами, принципами и имеют значимость сами по себе. Однако в менеджеристской идеологии наука — это всего лишь средство, то есть инструментальная ценность, призванная решать задачи, далёкие от обеспечения достоверности данных, валидности методов и репрезентативности результатов. По изначальному замыслу эффективные менеджеры должны были усиливать мотивацию, не вторгаясь в академическое пространство. Но в ходе реализации реформы произошло слияние понятий «эффективный менеджер» и «бюрократ». А чтобы процесс диффузии ускорился и приобрёл качественно иные формы, выполнение показате-

<sup>4</sup> Приказ Минобрнауки от 8 июля 2024 г. № 441 «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений» // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409395399/> (дата обращения: 17.03.2026).

лей увязалось с физическим выживанием университетов. Как следствие, сначала в административное пространство университета, а впоследствии и в среду учёных, массово начал проникать абсолютно чуждый элемент, ориентированный на деньги и карьеру, а не на достижение истины или хотя бы на формальное воспроизводство академических ценностей.

Менеджеризм способен полностью разрушить профессиональную культуру учёных. В этих словах не стоит усматривать избыточный ригоризм или даже резонёрство. Надо понимать, что единственной альтернативой профессиональной культуре может быть только культура потребительская. Вторая от первой отличается полным отсутствием терминальных ценностей. Труд по рыночным законам всё превращает в предмет купли-продажи с целью максимизации товарных потоков. Такая же участь уготована и научному творчеству. Его цели подчинены не поиску истины и честному труду во благо науки и общества, а выполнению КРІ. Именно это, и ничто другое, интересует министерских чиновников и вузовскую администрацию. Бюрократия преобразует количественный рост объектов [псевдо]научного творчества в стимулирующие выплаты и карьерный рост. В таких обстоятельствах наука как социальный институт просто растворяется в абсолютно экзогенных ей ценностях. От неё остаются лишь симулякры.

Данная эволюция не является побочным эффектом менеджеристского управления. Это его цель, которая достигается посредством систематического и сознательного разрушения качества как конвенционального эталона научного сообщества. Способность к конвенциональности исчезает вслед за потерей субъектности и умения действовать солидарно, а эталон, как отражение ценностей и представлений класса учёных, низводится до уровня, позволяющего тиражировать его под видом псевдонаучного знания, доступного любому дилетанту и откровенному невежде.

Вероятно, в разных университетах и структурных подразделениях объёмы ущерба, причинённого научному сообществу, отличаются. Они производны от индивидуальных особенностей отдельных руководителей, их готовности работать исключительно ради стимулирующих выплат и личной карьеры. Однако в целом везде тенденции обесценивания науки давно набрали критическую массу, что означает нарушение последовательной цепочки подготовки и замены научных кадров.

**Негативные эффекты менеджеристского управления, воздействующие на профессиональную деятельность университетской администрации.** Под университетской администрацией понимается высшее и среднее звено управления университетами. Это те, кто работают по эффективным контрактам — ректор, проректоры, руководители управлений, деканы, а также ближайший круг исполнителей их поручений.

*Возникновение «новой бюрократии».* Основная идея государственного менеджизма, реализуемого в западных университетах, состоит в переносе тяжести финансового бремени на администрацию университетов. Для этого она получает новые правила (стимулировать коммерциализацию и поощрять конкуренцию), и ей предписывается выполнять показатели. Если они выполняются, то часть расходов компенсируется государством в виде премиальных выплат. Вузы заплатили за эту реформу ростом бюрократического аппарата. Так, в США с 1990 по 2020 гг. среднее и высшее управленческое звено выросло в два раза [15].

В России проходят те же процессы, но с уже упоминаемой выше особенностью: прямо или опосредованно вузовская администрация стала частью государственной

бюрократии. Данный симбиоз привёл к совершенно непрогнозируемым результатам. Чиновники из Минобрнауки, уйдя из публичной власти как бы на аутсорсинг, освободились от интересов и обязанностей государства, а университетская бюрократия, отстранившись от обязательств перед академическим сообществом, стала реализовывать квазигосударственные интересы. И те, и другие, распределяя стимулирующие выплаты, нашли для себя очень удобную нишу, фактически превратившись во внеинституциональную группу без ясного социального статуса. В проигрыше остались государство и общество. Государство — из-за роста неконтролируемых расходов на стимулирующие выплаты, выведенные в тень; общество — по причине массового недополучения квалифицированных специалистов.

Эта эволюция обратила вузовскую администрацию в инвазивную для университета социальную группу. Она превратилась в чужеродную инстанцию, добивающуюся от ППС показателей любыми средствами, даже ценой разрушения смыслов образовательной и научной деятельности. Бюрократия определяет показатели, осуществляет контроль и сама же выплачивает себе премиальные за их выполнение. Сказанное означает, что вузовская бюрократия — это особый слой бюрократии, паразитирующий на академическом сообществе. Наука и образование от этого деградируют, но в отчётах неизменно демонстрируется улучшение всех объектов управления. Создаётся новая, параллельная реальность, в которой всё безупречно и идеально. Но если преподавателей и учёных предоставить самим себе, уволив весь управленческий корпус, то в одночасье вся картина видимого благополучия развалится. Общество увидит реальное и очень незавидное положение дел в высшем образовании.

Такая модель управления во всех смыслах устраивает сложившийся и постоянно растущий слой корпоративной бюрократии. С 2010 по 2020 гг. он вырос в российских вузах в два раза [16]. Для сравнения, количество преподавателей за данный период времени уменьшилось в полтора раза [17].

*Управление бюрократов без бюрократии.* Менеджеризм нанёс вред не только науке и образованию, но и тем управленческим нормам, которые слагаются в понятие «бюрократия». М. Вебер определил несколько её признаков: иерархичность, ответственность, соответствие квалификации занимаемой должности, действия по правилам [18]. Каждый из них в управленческих практиках менеджеризма получил деформации.

Легко просматривается разрушение корпоративной иерархии. В доменеджеристскую эпоху университетская администрация считалась частью академического пространства. Управленческое сообщество решало те же задачи, что и ППС. В настоящее время высшее звено управления приоритетно перешло на реализацию представительских функций. В результате нарушено единое управление. Все трудятся фактически сами по себе. Показательно, что преподаватели в разные департаменты пишут одни и те же отчёты, делая одинаковую работу по несколько раз.

Ответственность за производственные процессы в университете также отсутствует. Этому способствует политика невмешательства в действующие образовательные и научные практики. Но, на самом деле, ППС автономен от администрации лишь формально. С помощью таких инструментов, как кадровая политика, публичные осуждения, снятие с академических должностей, а главное, угрозы не продлить контракт на учёном совете, обеспечивается максимальная лояльность в принятии решений, которые требуются руководству для выполнения количественных показателей. От всего, что не связано с КРІ, администрация отстраняется: не разрешает возникающие конфликты, не подыскивает ресурсы,

не осуществляет стратегическое планирование. Вернулось старое феодальное правило «вассал моего вассала — не мой вассал». Ощущается острый дефицит мудрости, умения посмотреть с высоты управленческой пирамиды и принять разумное для всего университета решение.

Отдельно следует сказать о соответствии занимаемой должности. Это правило повсеместно нарушается. Диссертационные советы возглавляют менеджеры, а не учёные, деканами и ректорами становятся люди, совершенно далёкие от науки и ни разу не побывавшие в студенческой аудитории; на должности проректоров часто претендуют кандидаты, заинтересованные исключительно зарплатами в несколько сотен тысяч рублей. Они равнодушны к предмету управления, с лёгкостью переходят из одного учреждения в другое, не способны оценить масштабы наносимого ими вреда.

Итоги менеджеристских реформ для университетской администрации выразились в разрушении старого бюрократического управления, основанного на ответственности и компетентности, и создании управления бюрократов без бюрократии. Это такой сорт управленцев, которых можно охарактеризовать как безответственных, равнодушных, некомпетентных, но наделённых прерогативами принимать любые решения. Они сохранили в себе все пороки старой бюрократии, но получили бесконтрольную власть, которая используется преимущественно для реализации личных, а не деловых интересов. Всё это оказывается возможным именно потому, что управление по показателям не требует от менеджмента ничего, кроме составления отчётов. Те, кто ничего не умеет, — ничему не учится, а тот, кто что-то умел, за ненадобностью забывает. Образующаяся в структуре управленческих компетенций «*tabula rasa*» заполняется потребительскими ценностями и чиновничьей ментальностью.

**Заключение.** Во Введении к статье мы поставили цель определить масштаб негативных эффектов менеджеристского управления и соотнести их с ожидаемыми от преобразований достижениями. Поэтому соединим в Заключении результаты реформ и сделанные в основной части статьи выводы.

Задача наладить справедливое распределение ресурсов не решена. В ней имеются два аспекта: нормативно-подушевое финансирование (далее — НПФ) как фактор межвузовской конкуренции и оплата труда по результатам как фактор внутривузовской конкуренции. НПФ понуждает к соперничеству вузы с разным уровнем ресурсов. Следствие этого в низко-ресурсных университетах — массовые манипуляции с показателями и сознательное ухудшение эталона качества с целью наращивания количества. Внутривузовская конкуренция также не работает по честным правилам. Реальные доходы ППС выросли несущественно. Объёма грантовых средств объективно для этих целей недостаточно. Хозяйственные договоры для социо-гуманитарного профиля иницируются, в основном, органами государственной власти, и их зарплатный фонд для преподавателей настолько мал, что не окупает затраченного времени. Низко- и среднедоходные вузы богаче не стали, но для самосохранения, чтобы получить право на участие в конкурсе по НПФ, вынуждены имитировать успешность. Основная масса ППС по-прежнему остаётся одной из наиболее низкооплачиваемых категорий работников на рынке труда. В выигрыше оказалось лишь руководство и узкая прослойка лояльных к нему преподавателей.

Не выросла и мотивация ППС. Труд преподавателей по итогам реформ сильно формализован, лишён социального смысла, подчинён нелепым правилам,

вытесняется из расписания бесчисленным количеством мероприятий, помещён в среду студенческого равнодушия к учебной работе. У многих быстро наступают профессиональное выгорание и исчезает всякое желание трудиться в соответствии с требованиями профессиональной культуры.

Требования клиентоцентричности обязывают преподавателей повышать внутреннюю культуру общения с обучающимися. Оценить позитивные эффекты здесь крайне сложно, но они, очевидно, имеются. Отношение к студенту как к клиенту проявляется в том, что его уговаривают поступать, умоляют не бросать учиться, развлекают в процессе обучения. Наверное, такое положение не типично для высокорейтинговых специальностей и университетов. Но разве только они требуются обществу? Плата за подобную обходительность — превращение учёбы в нечто среднее между отдыхом и имитацией учебной работы.

Интенсивность труда обучающихся резко сократилась. Количество времени, которое студенты тратят на образование, заметно упало. Сама идея о некоей сознательности студентов, которые будут самостоятельно и с увлечением образовываться на внеаудиторных практиках, оказалась несостоятельной. Трудозатраты преподавателей, наоборот, заметно выросли. Требования к эффективности по действующим КРІ обязывают их выполнять весь спектр работ в сфере науки, образования и воспитания. Это разрушило привычный порядок функционального распределения обязанностей, которое ранее обеспечивало профессиональный подход к делу.

Определённо положительное можно сказать лишь о расширении финансовых ресурсов у современных вузов. В университетах проведены ремонтные работы, закуплено техническое оборудование, информационные программы и т.п. Но улучшения материально-технической базы можно было добиться иными путями. Менеджеристские правила, обязывающие зарабатывать, держат в напряжении весь штат ППС, давая формальный повод не продлевать контракт. Однако куда проще и разумнее перепоручить поиск денежных средств сотрудникам с предпринимательским стилем мышления. Очевидно, что это эффективнее, чем манипулировать персоналом, опираясь на искусственно созданные основания для увольнения.

Если ограничиваться простым взвешиванием «полезного» и «вредного», возникшего в результате менеджеристского управления, то, на наш взгляд, «вредное» без колебаний потянет за собой чашу весов вниз. Но проблема куда серьёзнее, чем количественный перевес негативных эффектов. Менеджеризм качественно трансформировал смысловое пространство высшей школы, лишив её самого главного, ради чего она существует. Речь идёт о социальной полезности. Вузы работают на самих себя, в отрыве от реализации функций, актуальных для социума. Они стали заложниками той многозадачности, которая настойчиво инициируется бюрократией в виде бесчисленных и многообразных показателей. Каждый сотрудник, независимо от обстоятельств и ресурсной обеспеченности, любыми способами должен произвести некий предписанный ему массив «полезностей»: защитить аспиранта, написать статью, получить учёную степень, выиграть грант. Как следствие возникла система взаимных контрактов: поддержать моего аспиранта, помочь «сделать» публикацию, поставить нужную оценку, посодействовать поступлению. Все внезапно оказались друг другу что-то должны. Пространство университета перешло в режим действия по правилам социального обмена, но в обход традиционных правил, обеспечивающих соблюдение стандартов качества. Поэтому хаотичные побуждения что-то делать по-прежнему не просто имитировать активность, а создавать вал научной и образовательной продукции, лишь внешне уподобленной тем понятиям, за которыми

раньше скрывались реальные смыслы: диссертация, статья, красный диплом, курсовая работа и т.п. В новых управленческих условиях от всего перечисленного остались символы, лишённые прежнего содержания.

Устранение перечисленных проблем может быть сделано только путём отказа от менеджеристского управления. Проблема не только в том, что выбраны неправильные метрики или завышенные показатели. Бесконечными совершенствованиями КРП и рейтинговых процедур ситуацию не исправить. Сама по себе идея вынудить государственные вузы конкурировать друг с другом за финансирование от государства в корне ошибочна. Образование не должно быть рынком услуг, где «сильные» вытесняют «слабых». Его следует выстраивать на началах разумной полезности. Поэтому власти следует определиться, какие университеты и образовательные направления приоритетны для общества, и перейти от финансирования «по результатам» к затратному методу на основе сметно-бюджетного финансирования. Очевидно, что это будет медицина, военное дело, педагогика, инженерные специальности, математика, государственное управление. Вероятно, это не полный список, но важен сам факт, что профессии, ориентированные на призвание, должны получать государственную поддержку, а непосредственно связанные с рынком — осваиваться как образовательная услуга за счёт полной денежной компенсации со стороны самого студента. Детализация данного предложения — многообещающая тема для отдельной статьи.

### **Библиографический список**

1. Романов Е. В. Публикационная активность российских университетов: от «академического капитализма» к «академическому социализму» // Вопросы экономики. 2023. № 2. С. 100–115. DOI [10.32609/0042-8736-2023-2-100-115](https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-2-100-115). EDN [RLVPWI](#).
2. Вольчик В. В. Восхождение метрик // Terra Economicus. 2018. Т. 16, № 4. С. 6–16. DOI [10.23683/2073-6606-2018-16-4-6-16](https://doi.org/10.23683/2073-6606-2018-16-4-6-16). EDN [YRPNVZ](#).
3. Курбатова М. В., Донова И. В. Эффективный контракт в высшем образовании: замыслы и результаты // Высшее образование в России. 2023. Т. 32, № 4. С. 23–41. DOI [10.31992/0869-3617-2023-32-4-23-41](https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-4-23-41). EDN [CQBNCH](#).
4. Ковалев В. В., Дятлов А. В. Профессиональная культура преподавателей в условиях менеджеристского управления (на примере вузов юга России) // Oriental Studies. 2024. Т. 17, № 4. С. 849–869. DOI [10.22162/2619-0990-2024-74-4-849-869](https://doi.org/10.22162/2619-0990-2024-74-4-849-869). EDN [TKARIN](#).
5. Абрамов Р. Н. Менеджеризация и трудовые порядки университетской жизни: российский и международный контексты // Социологический ежегодник 2015-2016 / Отв. ред. О. А. Симонова, М. А. Ядова. М.: ИНИОН РАН, 2016. С. 140–155. EDN [ZNYXFJ](#).
6. Дятлов А. В., Ковалёв В. В. Менеджеристские основы нормативно-подушевого финансирования высшего образования и его социальные эффекты // Вестник Института социологии. 2025. Т. 16, № 3. С. 203–228. DOI [10.19181/vis.2025.16.3.11](https://doi.org/10.19181/vis.2025.16.3.11). EDN [HBXJLF](#).
7. Бахитановский В. И. Ценностные ориентиры университетского администратора: концептуальное техзадание к этико-прикладному проекту // Вестник прикладной этики. 2015. № 47. С. 11–16. EDN [VOMRZZ](#).
8. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 416 с.
9. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов: Пять стратегий обновления государства. М.: Прогресс, 2001. 536 с.
10. Etzkowitz H. Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science // Minerva. 1983. Vol. 21, No. 2. P. 198–233. DOI [10.1007/bf01097964](https://doi.org/10.1007/bf01097964). EDN [XVXYFA](#).
11. Дятлов А. В., Ковалёв В. В. Эффективность управления высшим образованием России в практиках применения менеджеристских инструментов // Вестник Института социологии. 2023. Т. 14, № 2. С. 70–91. DOI [10.19181/vis.2023.14.2.3](https://doi.org/10.19181/vis.2023.14.2.3). EDN [RGIKSM](#).
12. Ковалёв В. В., Дятлов А. В. Субъектность академического сообщества в условиях менеджеристского управления // Наука. Культура. Общество. 2024. Т. 30, № 2. С. 37–51. DOI [10.19181/nko.2024.30.2.3](https://doi.org/10.19181/nko.2024.30.2.3). EDN [TDOEUA](#).

13. Ковалёв В. В., Дятлов А. В. Ресурсообеспеченность преподавателей российских университетов в условиях реализации менеджеристской политики // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2024. № 4. С. 196–217. DOI [10.22162/2587-6503-2024-4-32-196-217](https://doi.org/10.22162/2587-6503-2024-4-32-196-217). EDN GOVYBK.
14. Rokeach M. The nature of human values. New York : Free Press, 1973. 438 p.
15. Frye J. R., Fulton A. P. Mapping the growth and demographics of managerial and professional staff in higher education // New Directions for Higher Education. 2020. Vol. 2020. No. 189. P. 7–23. DOI [10.1002/he.20352](https://doi.org/10.1002/he.20352). EDN JEFQZI.
16. Акунеева Т. А., Платонова Д. П. Распутывая клубок бюрократии российских университетов: административные профили // Высшее образование в России. 2024. Т. 33, № 11. С. 56–72. DOI [10.31992/0869-3617-2024-33-11-56-72](https://doi.org/10.31992/0869-3617-2024-33-11-56-72). EDN IOSWC.
17. Ильина И. Ю. Возрастная динамика профессорско-преподавательского состава высшей школы: актуальные тенденции и оценка перспектив // Вестник НГУЭУ. 2022. № 3. С. 128–139. DOI [10.34020/2073-6495-2022-3-128-139](https://doi.org/10.34020/2073-6495-2022-3-128-139). EDN EVSOUB.
18. Вебер М. Хозяйство и общество : очерки понимающей социологии. Т. 1. Социология. М. : НИУ ВШЭ, 2016. 446 с. EDN XZYVED.

Поступила: 12.04.2026. Доработана: 04.06.2026. Принята: 08.06.2026.

#### **Сведения об авторе:**

**Ковалёв Виталий Владимирович**, доктор социологических наук, доцент, Южный федеральный университет, профессор. Ростов-на-Дону, Россия.

[vitkovalev@yandex.ru](mailto:vitkovalev@yandex.ru)

Author ID РИНЦ: 345032; ORCID: 0000-0002-8439-3117

**V. V. Kovalev<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Southern Federal University. Rostov-on-Don, Russia

## SOCIAL EFFECTS OF MANAGERIALISM IN RUSSIAN HIGHER EDUCATION

**Abstract.** The article analyzes the social effects of managerial management of higher education in Russia. The purpose of the study is to create a typology of negative effects caused by the use of managerial tools, determine their scale, compare them with the expected achievements of reforms, and assess the feasibility of continuing the transformations. The empirical base for the conclusions in this article was formed over a period of four years, from 2022 to 2025. This includes mass surveys, in-depth interviews, and document analysis. It is reflected in several author's publications, which provide a detailed description of the sample and the subject of the study. The typology is based on the principle of aligning the results of managerial management with the activities of three main actors in the institution of higher education: teachers, scientists, and effective managers. The negative effects on the professional activities of teachers include: the indifference of the management to the educational process, the growth of meaningless activism, and the elimination of the educational environment for training talents and geniuses. The negative effects on the professional activities of scientists include the disappearance of thematic specialization and the destruction of the value of science as a social institution for the accumulation of new knowledge. The negative effects on the professional activities of university administration lead to the emergence of a parasitic class in the academic community, which is a specific social stratum that has lost the characteristics of classical bureaucracy and acts solely to achieve its corporate interests, which are antagonistic to both society and the state. The article concludes that managerial reforms in higher education are ineffective.

**Keywords:** higher education, managerialism, managerial management, university bureaucracy, social effects

**For citation:** Kovalev V. V. Social effects of managerialism in Russian higher education. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):140–154. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.9>

## References

1. Romanov E. V. Publication activity of Russian universities: From “academic capitalism” to “academic socialism”. *Voprosy Ekonomiki*. 2023;(2):100–115. (In Russ.). DOI [10.32609/0042-8736-2023-2-100-115](https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-2-100-115).
2. Volchik V.V. The rise of metrics. *Terra Economicus*. 2018;16(4):6–16. (In Russ.). DOI [10.23683/2073-6606-2018-16-4-6-16](https://doi.org/10.23683/2073-6606-2018-16-4-6-16).
3. Kurbatova M. V., Donova I. V. Effective contract in higher education: intentions and outcomes. *Higher Education in Russia*. 2023;32(4):23–41. (In Russ.). DOI [10.31992/0869-3617-2023-32-4-23-41](https://doi.org/10.31992/0869-3617-2023-32-4-23-41).
4. Kovalev V. V., Dyatlov A. V. Professional culture of lecturers in the face of managerialism: the case of south Russian universities. *Oriental Studies*. 2024;17(4):849–869. (In Russ.). DOI [10.22162/2619-0990-2024-74-4-849-869](https://doi.org/10.22162/2619-0990-2024-74-4-849-869).
5. Abramov R. N. Managerial transformation and labor orders of university life: Russian and international contexts. In: O. A. Simonova, M. A. Yadova (eds.) *Sociological Yearbook 2015-2016*. Moscow: INION RAS; 2016. P. 140–155. (In Russ.).
6. Dyatlov A. V., Kovalev V. V. On the Social Effects of the Managerial Approach and Per-Capita Normative Financing of Higher Education. *Bulletin of the Institute of Sociology*. 2025;16(3):203–228. (In Russ.). DOI [10.19181/vis.2025.16.3.11](https://doi.org/10.19181/vis.2025.16.3.11).
7. Bakhtanovsky V. I. Value orientations of university administrator: conceptual design assignment to ethic applied project. *Semestrial papers of applied ethics*. 2015;(47):11–16. (In Russ.).
8. Drucker P. *The practice of management*. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber; 2015. (In Russ.).
9. Osborne D., Plastrik P. *Banishing Bureaucracy. The Five Strategies for Reinventing Government*. Moscow: Progress; 2001. (In Russ.).
10. Etzkowitz H. Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science. *Minerva*. 1983;21(2):198–233. DOI [10.1007/bf01097964](https://doi.org/10.1007/bf01097964).
11. Dyatlov A. V., Kovalev V. V. Efficiency of management of higher education in Russia in the practices of application of managerial tools. *Bulletin of the Institute of Sociology*. 2023;14(2):70–91. (In Russ.). DOI [10.19181/vis.2023.14.2.3](https://doi.org/10.19181/vis.2023.14.2.3).
12. Kovalev V. V., Dyatlov A. V. Subjectivity of the academic community in the conditions of managerialist management. *Science. Culture. Society*. 2024;30(2):37–51. (In Russ.). DOI [10.19181/nko.2024.30.2.3](https://doi.org/10.19181/nko.2024.30.2.3).
13. Kovalev V. V., Dyatlov A. V. Resource Availability of Russian University Teachers in the Context of the Implementation of Managerialism Policy. *Bulletin of the Kalmyk Scientific Centre of the RAS*. 2024;(4):196–217. (In Russ.). DOI [10.22162/2587-6503-2024-4-32-196-217](https://doi.org/10.22162/2587-6503-2024-4-32-196-217).
14. Rokeach M. *The nature of human values*. New York: Free Press; 1973.
15. Frye J. R., Fulton A. P. Mapping the growth and demographics of managerial and professional staff in higher education. *New Directions for Higher Education*. 2020;2020(189):7–23. DOI [10.1002/he.20352](https://doi.org/10.1002/he.20352).
16. Akuneeva T. A., Platonova D. P. Unravelling the Tangle of Bureaucracy at Russian Universities: Administrative Profiles. *Higher Education in Russia*. 2024;33(11):56–72. (In Russ.). DOI [10.31992/0869-3617-2024-33-11-56-72](https://doi.org/10.31992/0869-3617-2024-33-11-56-72).
17. Ilina I. Yu. Age dynamics of the teaching staff of the higher school: current trends and assessment of prospects. *Vestnik NSUEM*. 2022;(3):128–139. (In Russ.). DOI [10.34020/2073-6495-2022-3-128-139](https://doi.org/10.34020/2073-6495-2022-3-128-139).
18. Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*. Vol. 1. Soziologie. Moscow: HSE; 2016. (In Russ.).

Received: 12.04.2026. Corrected: 04.06.2026. Accepted: 08.06.2026.

### Author information:

**Vitaly V. Kovalev**, Doctor of Sociology, Associate Professor, Southern Federal University, Professor. Rostov-on-Don, Russia. [vitkovalev@yandex.ru](mailto:vitkovalev@yandex.ru)  
ORCID: [0000-0002-8439-3117](https://orcid.org/0000-0002-8439-3117)



Научная статья  
DOI [10.19181/nko.2026.32.2.10](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.10)  
EDN [RDUKED](#)  
УДК 323.23



**Е. В. Охотский<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> РАНХиГС. Москва, Россия

## ПОЛИТИКА ПЕРЕСТРОЙКИ И КРАХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО ФОРМАТА

**Аннотация.** В представленной статье даётся социологическое и политическое осмысление причин геополитической катастрофы конца XX века и исчезновения с карты мира Советского Союза — государства, своими историческими достижениями кардинально изменившего ход мировой истории. Аналитическая основа работы опирается на фактологический исторический материал, данные статистики, а также оценки и рассуждения, представленные в монографии член-корреспондента Российской академии наук Ж. Т. Тощенко и журналиста, лауреата Премии Правительства РФ в области средств массовой информации (2012), В. С. Кожемяко «Оборотни во власти. Они убили советскую страну» (2025), которая относится к патриотическому направлению современной российской научной общественно-политической мысли. Авторы издания настаивают, что тезис о фатальной предопределённости и неизбежности краха социалистической модели требует детального анализа, фундаментальных доказательств и научно обоснованных выводов. Главной целью своего исследования они определяют изучение влияния конкретных личностей и субъективного фактора в целом на трагический перелом в истории страны, а также выяснение роли правящей элиты в ликвидации советского государства. Развивая эти положения, автор статьи показывает, как кризис институциональной легитимности и девиантное поведение элитных групп, утративших государственно-политическую ответственность за суверенитет страны под влиянием неолиберальных иллюзий, подготовили социальную почву для демонтажа СССР. Подчёркивается, что неолиберальный формат реформирования оказался тупиковым, для будущего же России необходима социально выверенная система подготовки управленческих кадров и политических элит, ориентированная на государственный суверенитет, традиционные ценности и стратегическое созидательное партнёрство.

**Ключевые слова:** перестройка, распад СССР, правящая элита, неолиберализм, демократия, геополитическая катастрофа, девиантность элит, институциональный кризис, государственный суверенитет

**Для цитирования:** Охотский Е. В. Политика перестройки и крах демократических иллюзий неолиберального формата // Наука. Культура. Общество. 2026. Т. 32, № 2. С. 155–171. DOI [10.19181/nko.2026.32.2.10](https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.10). EDN [RDUKED](#).

**Введение.** Как справедливо отмечается в монографии Ж. Т. Тощенко и В. С. Кожемяко «Оборотни во власти. Они убили советскую страну» [1], никакой фундаментальной, всесторонне продуманной и научно обоснованной стратегии перестройки у партийно-советской элиты конца 1980-х годов не было. Очевидными были лишь отставание страны в овладении достижениями научно-технического прогресса, неэффективность экстенсивных форм экономического развития и несправедливость в соотношении социального положения правящей верхушки и основной массы населения. Наряду с этим существовали широко пропагандируемые целевые ориентиры: возврат к ленинским принципам строительства социализма, овладение ценностями свободы и демократии, внедрение принципов и овладение технологиями рыночного хозяйствования.

© Охотский Е. В., 2026

ния, борьба с пьянством и алкоголизмом, а также более активное продвижение в единое мировое пространство. Всё это дополнялось политическими иллюзиями, митинговыми социальными проектами и манипулированием общественным сознанием.

Не случайно многое из задуманного реализовать не удалось. Под лозунгами демократизации, гласности, ускорения и «сильной социальной политики» страна пошла по пути радикальной переоценки советских ценностей и убеждённости, что под руководством обновляющейся партии передовое и справедливое станет, наконец, реальной действительностью, а всё устаревшее, консервативное и вредное, а тем более токсично-разрушающее, останется в прошлом. Не получилось. Для миллионов простых граждан произошедшее обернулось потерей работы и социальных гарантий, а для страны — финансово-экономическим кризисом, расстрелом парламента и шоковой терапией, духовно-нравственной деградацией, многочисленными кровавыми разборками, а теперь ещё и военным столкновением на украинском направлении и предельно острым политико-дипломатическим противоборством с западным миром.

**Истоки и причины геополитической катастрофы.** Мало кто в атмосфере всеобщего перестроечного подъёма предполагал, что впереди нас ждёт не общество всеобщего благоденствия, не конструктивная конвергенция и не созидающий плюрализм, а ещё больший идеологический водораздел, неисчислимые политические, социальные и межнациональные катаклизмы. Страна в итоге оказалась в ситуации долговременной территориальной, производственно-экономической, социально-политической, культурной и духовно-нравственной дисфункциональности, в состоянии дезорганизованности и критического падения эффективности [2, с. 71], порчи, ломки и коррозии [3, с. 8]. Причём произошло всё это не стихийно, а по многим позициям вполне осознанно в рамках десятилетиями проводимой Западом враждебной политики, направленной на нанесение нашей стране полномасштабного стратегического поражения. Ни успехи СССР в холодной войне, ни сохранение социалистической системы, ни, тем более, развал мировой колониальной системы их никак не устраивали.

С нашей же стороны не замечалось даже очевидное, не хотелось верить, что Запад не желает видеть нас рядом с собой, что Западу «партнёры не нужны — им нужны вассалы, марионетки и новые источники ресурсов»<sup>1</sup>. К нашей государственности они всегда относились не как к суверенной цивилизации, а как к объекту либо прямой агрессии, либо снисходительных рекомендаций по поводу проведения внутренних либерально-демократических и внешних мнимо миротворческих реформ. Мы их интересовали лишь с точки зрения природных ресурсов, разрушения оборонного потенциала и нейтрализации нас как серьёзного идейно-политического конкурента. И своего добились, причём без видимого внешнего нажима.

Партийный аппарат, значительная часть правящей партийной, советской и хозяйствующей элиты не только не препятствовали этому, а часто, наоборот, провоцировали и стимулировали формирование радикально националистических настроений и антисоветских сепаратистских движений, своими руками превращая ещё недавно мощную Державу в «задний двор» так называемого

<sup>1</sup> Кичин В. Проект для России. Андрей Кончаловский — о русском сознании и новых фильмах // Российская газета. 19.08.2022. № 184(8832). С. 7. URL: <https://rg.ru/2022/08/18/proekt-dlia-rossii.html> (дата обращения: 25.03.2026).

цивилизованного мира. Для таких наша история, наша культура и наши традиции — что-то второсортное, не заслуживающее серьёзного внимания. Ради реализации своих либеральных и неолиберальных убеждений, ради удовлетворения карьерных амбиций они согласны были даже на политическую капитуляцию — чего не сделаешь ради демократии, свободной конкуренции и разрушения командно-административной системы. До сих пор не понимают, а скорее не хотят понять, что потеря страной экономической независимости и политического суверенитета равносильна, как сказал В. В. Путин на юбилейном собрании атомщиков в Сарове 22 августа 2025 г.<sup>2</sup>, её гибели. Точно так, как раньше не верили, что антисоветизм равен русофобии, и в итоге получили то, что получили: разрушение собственного государства и агрессивно угрожающее всему мировому сообществу западное демократическое политическое сообщество.

Запад внимательно следил за происходящим, анализировал, продумывал, планировал и в итоге своего добился — наступил момент, когда кризисные проявления на советском направлении приняли необратимый характер. Под красивыми демократическими вывесками осуществлялся поэтапный демонтаж социалистического мира. В авангарде всего этого оказались лидеры особого формата — демократически и социально ориентированные на слова, а на деле антисоветски и русофобски настроенные силы. Это были не консервативно ориентированные «партийные традиционалисты», выступающие за сохранение основ советской системы с целью её конструктивного обновления в рамках социалистической парадигмы, и не сторонники возврата к ленинским нормам партийной жизни и преодоления инерции застоя, а реформаторы-западники с их мечтами об интеграции СССР в мировое сообщество с соответствующими товарно-денежными свободами, плюрализмом и признанием приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми.

Именно такие блистали на трибунах протестных митингов, возглавляли шествия с призывами к декоммунизации и десоветизации, с требованиями уничтожить власть партноменклатуры. До сих пор не поняли, что их не просто привечали и поощряли, а умно переубеждали, переориентировали, провоцировали и подталкивали. И вовсе не случайно, что многие из наиболее активных представителей демократического крыла оказались особо востребованными: были избраны депутатами, заняли влиятельные политические посты и должности на государственной службе, вошли в состав различного рода советов и комитетов, стали руководителями фондов и программ, экспертами всевозможных политических форумов, радиопрограмм и телевизионных ток-шоу.

Рядом шагали «номенклатурные прагматики», для которых основными ценностями были личная успешность, власть, привилегии и, что самое важное, возможность конвертировать власть в собственность. Такие были «убеждёнными прорабами перестройки», правда, ровно до того момента, пока ощущали реальную выгоду для себя. На ведущих позициях оказалась команда, которая перестала быть служилой, утратила интерес к будущему своей страны и своего народа, превратилась, можно сказать, в некую самодостаточную корпорацию. И неважно, что ещё не так давно все они презентовали себя единомышленниками-ленинцами, были воспитанниками советской пионерии и комсомола, управляли делами от имени монополюбно правящей коммунистической партии

<sup>2</sup> Встреча с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли // Официальный сайт Президента России. 22.08.2025. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/77837> (дата обращения: 25.03.2026).

и в едином порыве строили передовое пролетарское государство развитого социализма. Но прошло совсем немного времени, и как только изменились условия и появились новые возможности, они тут же в одночасье стали сторонниками либерально-демократических общечеловеческих ценностей.

Тем не менее нельзя согласиться с утверждениями о том, что крах советского социалистического проекта — результирующая *сугубо субъективного фактора*, а тем более делать вывод, что «никакие объективные обстоятельства не вели к геополитической катастрофе» [1] и что решающую в ней роль сыграли люди, которые в силу своего положения и интересов сознательно сделали всё зависящее от них, чтобы советская страна прекратила своё существование. Якобы изначально Советский Союз был обречён на такой финал, поскольку его существование было авантюрой, задуманной большевиками, а проводимые политические, экономические и социальные преобразования не дали желаемого эффекта, и капиталистическая система оказалась более конкурентоспособной, чем социализм (подробнее см. [1, гл. 3, 6, 13, 14, 20, 21]).

Объективные причины развала СССР и социалистического блока были, они хорошо известны, и отрицать этот факт вряд ли разумно. Прежде всего это неповоротливая социалистическая плановая экономика, низкая производительность труда, раздражающий своей непритязательностью быт, бюрократическая инертность, жёстко централизованная система политического руководства и административного управления. Ничего кардинально не изменили ни идеологическое многообразие, ни отмена конституционной статьи о руководящей и направляющей роли коммунистической партии, ни гласность, а тем более «шоковая терапия» с переходом к идеализируемым многими рыночным регуляторам, ни легализация оппозиции и независимых СМИ. Сохранить социалистическую систему советского формата не удалось. Неолиберальный проект с нашей государственной спецификой, органически сочетающий в себе централизм, свободную конкуренцию, рационализм и гибкое государственное регулирование, реализовать не удалось.

Что касается фактора субъективного, то к причинам провала перестроечного проекта следует отнести прежде всего искреннюю веру людей в то, что Б. Н. Ельцин и его команда принесут больше пользы, чем М. С. Горбачёв с его рыхлой политикой гласности и ускоренного обновления. Тем более что никто до августа 1991 г. официально не отрицал ценности социализма с его народовластием, общенародной собственностью, мощной системой народного образования и здравоохранения, международной политикой разрядки и плодотворного сотрудничества. Тем не менее в какой-то момент куда более действенными оказались: а) культурное очарование западным образом жизни, желание стать европейцами; б) та колоссальная травма, которая была нанесена общественному сознанию в результате потери прежних ориентиров; в) идейное вырождение правящей верхушки, сосредоточение в её рядах немало числа «внутрипартийных диссидентов», которые, имея партийные билеты и занимая влиятельные посты, инициировали и поддерживали реформы, и тут же жёстко критиковали, «демократически обновляли» и разрушали их; г) утрата правящим классом мотивации к самостоятельному развитию, неверие в то, что коммунистический проект стратегически реален и способен обеспечить победу в борьбе с западной моделью мироустройства; д) бюрократическая неповоротливость правящего режима, невысокий уровень эффективности аппарата управления.

И самое главное — слабость М. С. Горбачёва как политического лидера с его искренней верой в возможность господства общечеловеческих ценностей. Но,

как показала жизнь, должной силой воли для радикального и научно-обоснованного манёвра не обладал и до уровня лидера крупномасштабного исторической созидающей значимости обновления не дотягивал. Поэтому маневрировал, поддавался на «честные уловки» западных партнёров и собственного окружения, не понимал, что, призывая к переменам, нельзя произвольно увлекаться, а тем более терять рычаги управления. В историю вошёл как олицетворение колоссального разрыва «между неотложными потребностями общественного развития и заложенным в советском обществе потенциалом» [1]. Верх взяло властолюбие, которое органически переплелось с честолюбием и славолубием, со страстным карьеризмом, стремлением создать видимость и амбициозным желанием властвовать [1, с. 18–19, 145].

И это несмотря на то, что рядом с лидером были высококвалифицированные специалисты и опытные функционеры, составлявшие, по сути, «интеллектуальный штаб перестройки»: философы-консультанты И. Т. Фролов и Н. Б. Бикенин; учёные-экономисты Л. И. Абалкин и Н. Я. Петраков; политологи Г. Х. Шахназаров, А. Е. Бовин и Ф. М. Бурлацкий; технократы-хозяйственники Н. И. Рыжков, Ю. Д. Маслюков, Г. В. Кулик, стремившиеся «навести порядок» в плановой системе и в итоге сделать её эффективнее; настоящие профессионалы-международники, заведующие международным отделом ЦК А. Ф. Добрынин и В. М. Фалин; директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) академик Е. М. Примаков; представители элиты силового блока — маршалы С. Л. Соколов и Д. Т. Язов, председатель КГБ В. А. Крючков. Но тон в политике всё-таки задавали не они, и не они определяли ход перестроечных событий. На экономическом направлении активнее были силы теневого спектра — будущая нарождающаяся олигархия. Они говорили много, убедительно и непременно в наступательном тоне, объясняли, призывали и обещали. Реально же больше критиковали и отменяли, не создавали, а разрушали. Прежде всего это касалось материально-производственного и военно-оборонного комплексов страны. Они активно переориентировали страну на потребление товаров зарубежного производства, провоцировали управленческую деструкцию. Результирующая не заставила себя долго ждать.

**Элита перестройки: лидеры политики разрушения, её технологи и вдохновители.** Правящая элита периода перестройки представляла собой многоуровневый, сложный и внутренне весьма противоречивый конгломерат групп (консерваторы, центристы, радикальное либеральное крыло), которые ставили разные цели, имели разные представления о будущем страны и её месте в мировом пространстве. Перестроечным проектом занимались различные по культуре, научно-мировоззренческим ориентациям и карьерным устремлениям люди. Тем не менее они легко находили общий язык, в нужный момент объединялись во всякого рода «межрегиональные группы», комитеты и «национальные фронты». Все вместе они продвигались по пути демократического обновления к социализму с «человеческим лицом», действовали под лозунгами «Больше социализма, больше демократии!», призывали к очищению от сталинизма, преодолению пережитков волонтаризма и негативных проявлений застоя.

В какой-то момент в авангарде процесса демократического обновления оказались предельно радикально настроенные «прорабы перестройки»: академик А. Д. Сахаров, прошедший уникальный жизненный путь от создателя советского термоядерного оружия до символа диссидентского движения и признанного

лидера демократической оппозиции в период перестройки; ведущий специалист Центрального экономико-математического института академик С. С. Шаталин, главные идеи которого — отказ от тотального государственного планирования и переход к «регулируемой рыночной экономике», которая должна была стать «третьим путём» между советским планом и западным капитализмом; лидер партии «Яблоко», экономист Г. А. Явлинский — один из авторов известной программы рыночной революции под названием «500 дней»; будущий мэр Москвы профессор-экономист Г. Х. Попов — создатель политического инструментария демонтажа советской «командно-административной системы»; лидер-юрист, один из самых активных участников демократического движения А. А. Собчак; несостоявшийся, но амбициозный философ Г. Э. Бурбулис с его радикализмом как главным методом управления и убеждённой необходимостью «решительного демонтажа советской системы»; лидер Московского народного фронта, ректор Историко-архивного института Ю. Н. Афанасьев, дважды стажировавшийся в Парижском университете Сорбонна.

Среди вдохновителей и наиболее активных практических проводников политики перестройки выделялся Э. А. Шеварнадзе — карьерно один из самых успешных советских государственных деятелей. Он не был отягощён ни учёными званиями, ни научными степенями, ни сколько-нибудь значимым опытом публичного управления. Со стажем одиннадцати лет комсомольской работы становится первым секретарём ЦК ЛКСМ Грузии. Затем — министром МВД Грузии. При Л. И. Брежневеве избирается первым секретарём ЦК КП Грузии, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Не имея никакого опыта ведения международных дел, тем не менее, по инициативе М. С. Горбачёва был утверждён в должности министра иностранных дел СССР. Главное — он подобоострастно исполнял «роль послушного и безотказного исполнителя воли» генерального секретаря [4, с. 464–465, 469–470]. В последующем стал одним из активных представителей «элиты развала страны». 20 августа 1991 г. он стоял рядом с Б. Н. Ельциным на балконе Белого дома, приветствовал многотысячную толпу «защитников демократии» и борцов за восстановление после поражения ГКЧП конституционного строя в стране.

Предельно доверчивого советского человека, воспитанного в духе «человек человеку товарищ и брат», было легко увлечь обещаниями свободы, невиданных ранее материальных благ, да ещё правом интегрироваться в мировое демократическое, социально благополучное сообщество. Советские люди с энтузиазмом приветствовали политику преодоления инертности и демократического обновления, в большинстве своём верили в успех. В массе своей им даже в голову не приходила мысль о возможности распада страны и исчезновения с карты мира СССР как единого мощного государства, как суверенного субъекта международного права, о неолиберальном демонтаже социалистического сообщества и переориентации многих бывших наших союзников на НАТО и Европейский Союз. С одобрением восприняли вывод войск из Афганистана, окончание холодной войны, улучшение отношений с Западом. По данным социологических опросов того периода, среди ведущих достижений первых перестроечных лет 51,4% опрошенных называли возможность без редактуры сверху формулировать своё мнение, 41,4% — свободно голосовать за своего кандидата, 35,6% — возможность, не боясь быть репрессированным, высказывать своё критическое мнение по всем острым проблемам общественной жизни. Обязанность «беззаветно служить» и «честно трудиться» также оставалась на ведущих пози-

циях (65,8% опрошенных), но при одном условии — улучшении условий и организации труда [5, с. 30–35, 42–45].

Подобный ход событий был не случаен. М. С. Горбачёв принял на вооружение идеи плюрализма, гласности и сотрудничества с оппозицией, считал всё это непременным атрибутом настоящей свободы и, будучи уверенным в своём авторитете и в прочности своих политических позиций, не препятствовал радикальным оппозиционно-критическим выступлениям в адрес КПСС и советской государственной системы. Хотелось верить в конструктивизм отказа от государственной идеологии, отмены административно-командной системы и перехода к свободным выборам, а также в созидающий потенциал новых политических институтов — многопартийности, Съезда народных депутатов, Президентского совета, института референдума.

В то же время в элитной среде ведущие позиции заняло иное — прежде всего ценности власти и личной в ней успешности, предпринимательской хватки и барского комфорта. То, что ещё вчера представлялось реальным достижением развитого социализма, отрицалось, обесценивалось и разрушалось. В полную силу заявил о себе конфликт интересов между реформаторами и консерваторами, между узким элитным авангардом перестроечной стратегии и гигантской армией служащих аппарата управления на всех уровнях властной пирамиды [6, с. 461]. В обществе, в свою очередь, всё чётче стали обозначаться настроения разочарованности, пессимизма и отчуждения.

Советская правящая элита перестроечного периода оказалась профессионально, идеологически и нравственно неспособной стратегически, последовательно и качественно решить ни один сколь-нибудь значимый вопрос запрограммированного демократического переустройства страны. Многие проблемы оказались за пределами управляемости. На ведущих позициях во власти оказались малоопытные, идеализирующие рыночные стандарты экономисты неолиберального формата, социологи-идеалисты и политологи-мечтатели. Значительная часть депутатских мандатов оказалась в руках писателей, актёров, спортсменов и начинающих бизнесменов.

Тон всё чаще задавала вчерашняя контрэлита, всё более активную роль играли банки-кредиторы, политические консультанты и журналисты, состоящие на содержании западных спецслужб. На ответственные должности, в том числе в силовых структурах, начали назначаться не специалисты с соответствующим опытом служебной деятельности, а «талантливые менеджеры». Место реальной политики заняла политическая демагогия в духе «ускорения» и борьбы с «механизмами торможения». Изменить такое положение не могли даже самые авторитетные проводники политики реализма и критически-объективного восприятия происходящих изменений.

Под ударами оппозиции, даже при условии, что в её рядах было немало действительно патриотически ориентированных коммунистов, партия теряла свои позиции. Дошло до того, что на Первый съезд народных депутатов РСФСР (16 мая — 22 июня 1990 г.) депутатами не были избраны 6 первых секретарей областных комитетов партии. Прослойка оппозиционеров-сторонников «Демократической России» на съезде достигла 30% от общего числа депутатов. Реальностью стала внутрипартийная фракционность. Во весь голос зазвучали призывы менять форму государственного правления, переходить к автономизации, заключать экономические соглашения между республиками, совместить полномочия президента страны как главы государства и председателя правительства.

Доминирующей в политической жизни страны постепенно становилась российская тема. Центр тяжести стал перемещаться из союзного центра в Россию, в результате чего 12 июня 1990 г. Первый съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР».

К концу восьмидесятых годов отрицательные оценки КПСС стали преобладать над положительными — баланс «минус 9,3%» [7]. Ещё недавно общепризнанные авторитеты теряли свои позиции, в обществе нарастала убежденность в неспособности властей реализовывать ими же провозглашённые цели. Таковую элиту трудно было квалифицировать «интеллектом и авангардом общества». Власть коммунистов на самом деле ведущей силой уже не была, а фактически «плелась в хвосте неподвластной ей эволюции»<sup>3</sup>. Черту всему этому в июле 1990 г. подвёл XXVIII съезд КПСС, на котором верх взяли анти-перестроечные тенденции. Съезд стал историческим поворотным пунктом в продвижении партии, а вслед за ней и государства, в направлении окончательного отказа от ценностей социалистической идентичности. Реальностью стала идейная эволюция элиты в логике перехода от социализма с «человеческим лицом» (1985–1987 гг.) к деидеологизации, «новому политическому мышлению» и стремлению к общечеловеческим ценностям (1988–1990 гг.) и, наконец, к краху социалистической идентичности и возврату к «настоящему порядку» (1990–1991 гг.).

Высшей точкой антисоветского движения стал состоявшийся 20-21 октября 1990 г. Учредительный съезд движения «Демократическая Россия». 6 ноября 1991 г. указом Б. Н. Ельцина на территории России была запрещена деятельность КПСС и всех её структурных подразделений. Стремительно падал и авторитет Верховного Совета СССР. По данным ВЦИОМ, одобрение его деятельности снизилось с 70% в 1989 г. до 20% осенью 1991 г. Особой результативностью не отличалась также антиельцинская оппозиция во главе с С. П. Горячевой, С. Н. Бабуриным и В. Б. Исаковым, которые, хорошо понимая суть происходящего, не верили в возможность конструктивного сотрудничества с недавними идейными и политическими противниками. Далее последовали резкое падение авторитета правящей элиты, окончательная утрата идеологически вдохновляющих ориентиров, кровавые межнациональные конфликты и примитивизация культурно-духовной жизни. Партия стремительно вытеснялась из политической жизни страны. В элите господствовали разлад и несогласованность, внутриэлитная конфликтность достигла критической отметки. Планируемое на 20 августа 1991 г. подписание нового Союзного Договора не состоялось, центральным событием стал так называемый августовский антигосударственный путч.

Восприятие происходящего со стороны общества было предельно тревожным — однозначно позитивная оценка перестройки как созидającego преобразования социалистического общества к концу существования советского государства ограничивалась считанными процентами. На вопрос социологов (по данным ВЦИОМ за март 1991 г.) «Если бы вы в 1985 г. знали, к чему приведут начавшиеся в стране перемены, вы бы их поддержали?», 38% опрошенных однозначно ответили «Нет», ещё 39% чётко определить своё отношение к политике перестройки затруднились<sup>4</sup>. В качестве позитивных достижений отмечались лишь гласность и возможность свободного выезда за рубеж. *Реальностью*

<sup>3</sup> Зиновьев А. А. Русская судьба: Исповедь отщепенца. Москва: Центрполиграф, 1999. 505 с.

<sup>4</sup> Социальный барометр // Московские новости. 1991, 24 марта. № 12. С. 7.

стало то, что многие вчерашние «жертвы коммунистического режима» стали ядром правящей элиты постсоветского формата. Это была элита наступающего неолиберализма, западничества и, что самое опасное, элита постепенного духовно-нравственного перерождения и безответственности. Многие из её последователей в настоящее время «обретаются за пределами Родины и снова ждут своего часа»<sup>5</sup>, доказывают, что «так жить нельзя», требуют больше свободы и демократии, просят ужесточить санкции, мечтают о поражении России в СВО и подсчитывают, сколько им перепадёт из средств всякого рода фондов демократии, институтов свободы и движений во имя мира и сотрудничества.

При этом ни слова правды не говорится об агрессивных замыслах НАТО и радикально русофобского коллективного Запада. Вроде бы не понимают, что крах советского социализма привёл не только к концу холодной войны, но и положил начало формированию нового, не менее противоречивого и стратегически трудно предсказуемого порядка эпохи однополярного мира. Постоянно ссылаются на возможность принятия резолюции ООН «Об одинаковой ответственности коммунизма и нацизма за развязывание Второй мировой войны», всё более энергично педалируют вопрос о правомерности статуса России как полноправного члена Совета Безопасности ООН. Параллельно провоцируют нарастающий поток фальсификаций, умышленных подтасовок и обвинений — не могут победить в прямом противоборстве, рассчитывают на победу посредством внутреннего идеологического, морального и коррупционного разложения. Похоже, хорошо усвоили наставление Отто фон Бисмарка, который говорил, что силой русских не победишь, а вот купить ложными ценностями легко.

Перед нами враг коварный, и это отнюдь не наивные инакомыслящие индивиды. Это весьма активные и хорошо организованные люди, дислоцирующиеся на различных уровнях социально-политической вертикали. Они хорошо знают, что и как необходимо делать, чтобы снизить эффективность антидеструктивного иммунитета общества. Они понимали и понимают, что главное в этом деле — трансформировать в собственных интересах базовые политико-ценностные и духовно-нравственные ориентиры людей, знают, что без таких ориентиров народ не в состоянии ни жить, ни плодотворно трудиться, ни защищаться<sup>6</sup>.

Именно такие задачи решали ведущий носитель либеральных убеждений и проводник коммунистической идеологии А. Н. Яковлев, президенты и руководители союзных республик Б. Н. Ельцин, Э. А. Шеварднадзе, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич, «прораб перестройки» Г. Х. Попов и организатор рыночно-демократических реформ Е. Т. Гайдар, политический авантюрист Б. А. Березовский и активный деятель комсомола М. Б. Ходорковский\*, теоретик «военно-патриотического воспитания» Д. А. Волкогонов, искусствовед Витаутас Ландсбергис и профессор психологии из Канады Вайра Вике-Фрейберга. Одновременно оракулствовали диссидент Н. И. Новодворская, профессор-экономист

<sup>5</sup> Кургинян С. Е. Эфир программы «Право знать» на канале «ТВ-Центр». Выпуск от 27 января 2024 г. URL: <https://www.tvc.ru/brands/1756/episode/84611> (дата обращения: 25.03.2026).

<sup>6</sup> Щипков А. В. Самоочищение. О чем говорил Владимир Путин? // Парламентская газета. 13.04.2022. URL: <https://www.pnp.ru/social/samoochishhenie-o-chem-govoril-vladimir-putin.html> (дата обращения: 25.03.2026).

\* Признан иноагентом в РФ.

Л. И. Пияшева, журналистка Б. А. Куркова и медиаменеджер Н. К. Сванидзе, писатель В. А. Коротич и великие комбинаторы плюрализма и либеральной экономики. Именно такие деятели получали влиятельные должности в государственном аппарате и СМИ, входили в состав многочисленных политических советов, фондов и комиссий, были лидерами народных фронтов и даже создавали свои партии. Они мыслили глобально, и практически все главные события в стране и мире не обходились без их публичного участия, без их анализа и выводов, без их оценок и рекомендаций. Не случайно их деятельность стала ключевым объектом политико-социологического анализа, что находит своё последовательное отражение и в рассматриваемой нами монографии [1].

К осени 1991 г. ведущие государственные посты заняли в недавнем прошлом слушатели соответствующих курсов в английских университетах и американских школах бизнеса. Германия до сих пор остаётся самой популярной страной среди граждан России для получения высшего образования. Канада по-прежнему ценится за лояльную иммиграционную политику и реальную возможность остаться работать за рубежом после учёбы. Набирает популярность также Китай как центр передовой научной мысли, современной инженерии, искусственного интеллекта и IT-технологий. В Государственной Думе первого созыва (1994–1996 гг.) активно действовало 10 партийных фракций. Ведущие позиции занимали фракции ЛДПР — 64 мандата (по федеральным спискам и одномандатным округам), «Выбор России» — 64, КПРФ — 42, «Аграрная партия России» — 37, партия «Яблоко» — 27, «Партия российского единства и согласия» — 22. Ухудшение социально-экономического положения в стране к моменту избрания Государственной Думы второго созыва (1996–2000 гг.) резко изменило расстановку политических сил. Доминирующее положение в союзном парламенте заняли коммунисты. О таких партиях, как «Женщины России», «Союз правых сил», «ПРЕС», «Союз 12 декабря», никто практически сегодня не вспоминает. Не говоря уже о депутатских группах типа «Либерально-демократический союз 12 декабря», «Новая региональная политика» или «Стабильность». Параллельно они разрабатывали оригинальные, как многим казалось, проекты реформ по «спасению России в режиме шоковой либеральной терапии».

К числу самых убеждённых либерал-перестроечников принадлежит А. Б. Чубайс (в 2022 г. эмигрировавший в Израиль) — в недавнем прошлом один из самых влиятельных высокопоставленных российских чиновников, один из ведущих, без преувеличения, проводников политики радикальных рыночных реформ в нашей стране. Всегда оказывался в нужное время в нужном месте, действовал напористо и высокомерно, в строгом соответствии с тем, как рекомендовали «рыночные фундаменталисты». На протяжении трёх десятилетий он оставался одной из самых влиятельных фигур в российской правящей элите. Традиционные для него характеристики: самый активный деятель в среде строителей российской рыночной экономики; вдохновитель и идеолог важнейших российских демократических реформ в духе многопартийности и «семибанкирщины»; эффективный менеджер, потрясавшее реформировавший российскую энергетику; руководитель, реализовавший с нуля проект «Роснано» по линии научно-технического обновления (правда, с многочисленными провалами и огромными злоупотреблениями). Сейчас презентует себя видным специалистом по советской и российской проблематике.

А. Б. Чубайс всегда умело пользовался политико-идеологической недалекостью, либерально-рыночной необразованностью и доверчивостью позднесоветской правящей номенклатуры. Западное и только западное в его представлениях было и остаётся образцом разумного общественного устройства. Россия же, наоборот, представлялась ему средоточием всего слабого и недостойного серьёзного внимания. Радикальные преобразования он проводил с предельным цинизмом и безразличием к их социальной цене. Сейчас открыто заявляет, что всегда находился в оппозиции к правящему режиму и лично к В. В. Путину, открыто выступил против СВО и в знак протеста покинул Россию. Более того, требует снятия с себя западных санкционных ограничений и добивается того, чтобы его считали убеждённым борцом с нынешним российским режимом.

**Можно ли заботиться о России, будучи на противоположном берегу?** Достаточно убедительно свою позицию по вопросам идеологических ориентаций и практической деятельности отечественных правящих элит излагает декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова В. Т. Третьяков. Наши перестроечные элиты, по его мнению, — прежде всего их инициаторы и лидеры — были буквально влюблены в Запад. Они не просто изучали Запад, не только общались со своими западными коллегами и обменивались мнениями, не просто пытались найти точки соприкосновения и общие интересы, но и всячески стремились «причислить себя к Западу».

Исходили из того, что наша страна «недоделана», представляет собой «полуазиатчину», которую нужно разрушить без всякого сожаления. Для некоторых из них своя страна казалась неким инородным телом, а вот Запад представлялся совершенно иным — пределом мечтаний, своего рода точкой отсчёта и стратегическим ориентиром, где, как им казалось, на деле реализуются «естественные права человека», где воплощаются в жизнь идеалы утилитаризма, эгалитаризма и универсализма с их идеологией «высшей ценности человеческой жизни», всеобщей защиты «индивидуального достоинства и равенства», а также общества равных политических, экономических и правовых возможностей, а значит, и общества, по формуле И. Бентама и Дж. С. Милля, «наибольшего счастья для наибольшего числа людей».

Сейчас мы понимаем, да и тогда очень многие понимали, насколько опасна позиция бездумного западничества и эклектического неолиберального подражательства, какие риски она содержит и чем всё это может закончиться для страны и для каждого её гражданина персонально. Фактом реальной жизни стали шоковая терапия, ваучерная приватизация государственной собственности, либерализация цен и внешней торговли, в политике — тотальное лицемерие, «вдохновляющая отчётность» и откровенное предательство. Итог неолиберального курса под названием «вашингтонский консенсус» известен: из 44 тыс. приватизированных предприятий лишь единицы были обновлены и модернизированы, 30 тыс. были обанкрочены, закрыты и разрушены. Производственный комплекс в своём развитии был отброшен на десятилетия назад: ВВП сократился наполовину, промышленное производство — на 50%, инвестиции в основной капитал — почти на 80%. Безработица достигла уровня 15%, инфляция превысила 20%. Исчезли многие производства в станкостроении, судостроении и авиастроении, сократилось освоение информационно-вычислительных технологий. Выпуск многих видов продукции упал

на 70–90%. С серьёзными трудностями столкнулись машиностроительная, химическая, фармацевтическая, текстильная и другие отрасли<sup>7</sup>.

К концу 1990-х годов Россия утратила статус промышленной сверхдержавы. Сложная наукоёмкая промышленность была заменена сырьевым сектором, производственный аппарат физически и морально устарел, остался без квалифицированных кадров и научной базы. Перед началом «перестройки» Советский Союз имел внешний государственный долг в объёме 23 млрд долларов, политика перестройки довела его до 100 млрд долл., а в годы радикальных рыночных реформ государственный долг только России вырос до 200 млрд в долларовом исчислении [1, с. 250–251]. *Декларируемой и столь желанной справедливости, демократии, рыночных преимуществ и плодотворного международного сотрудничества не получилось*. Зато ещё более ощутимыми стали последствия внешнего вмешательства, прежде всего транснационального монополистического капитала. Демократические трансформации не принесли желаемого результата, а вот показатели качества, эффективности и социальной ответственности резко упали.

Перестроечную элиту с полным основанием можно квалифицировать как элиту несбывшихся надежд, элиту, которая не снимала, а с нарастающим итогом лишь обостряла противоречия между благородными целями социалистического обновления, с одной стороны, и непрофессионализмом, безответственностью и негодными методами их реализации, с другой. Это была элита демократического идеализма и политической близорукости (по мнению В. В. Игрунова), элита виртуозов мимикрии и имитации (по мнению В. С. Кожемяко), элита свободы и демократии, но без должного порядка и ответственности (по мнению Ж. Т. Тощенко), элита глобализирующегося мира, которая из реальности уверенно дрейфовала в мир примитивного мифотворчества и самообмана (по мнению А. С. Панарина).

**«Победы» и «поражения» постперестроечной элиты неолиберальной модели.** Прочность пребывания в постперестроечном элитном правящем слое стала определяться несколько по-своему: не интеллектом, умом и не конкретными делами, а прежде всего публичным политическим позиционированием, умением эклектически сочетать «экономическое», «политическое» и «этическое», близостью к процессам разгосударствления. Надёжность статуса гарантировалась а) громкими заверениями о лояльности политическому режиму и демагогией; б) умением поддерживать неформальные отношения с влиятельными представителями власти и деловых кругов; в) прочностью связей с финансово и политически значимыми силами за пределами страны. О доминировании людей, получивших «наивысший индекс в области своей профессиональной деятельности» [8], о пассионарности как сочетании жертвенности, энергии, профессионализма и нравственности речь уже не шла. Пусть не везде и не во всём, но во многом, да ещё с нарастающим итогом проявляла себя «мораль успеха», т.е. мораль материального превосходства, элитарного высокомерия и статусно-властолюбия.

В стране реально правила не элита в её истинном понимании, а группы, к которым больше применимы такие понятия, как «клан», «каста» или «клика»

<sup>7</sup> Миркин Я. Почему экономика не растёт? // Аргументы и факты. 19.04.2017. № 16. URL: [https://aif.ru/money/opinion/pochemu\\_ekonomika\\_ne\\_rastyot](https://aif.ru/money/opinion/pochemu_ekonomika_ne_rastyot) (дата обращения: 25.03.2026).

[9, с. 123, 130] — неформальные объединения, ставящие перед собой задачу сначала установления контроля, а затем захвата государственной власти в целом. Борьба за власть — главный их атрибутивный признак. Сущность «новых элит» определялась не государственным, а корпоративно-групповым сознанием, не общественным интересом, а преимущественно личностно-частными предпочтениями, а то и вовсе установками зарубежных кураторов. Разве удивительно после этого, что в феврале 1995 г. сложившуюся в стране ситуацию 67% россиян оценивали как катастрофическую. В общественном сознании господствовало мнение, что правящая на тот момент элита и аппарат публичного управления были не в состоянии предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки [10, с. 193–194]. И это при условии, что страна формально якобы продвигалась в верном направлении.

Тем не менее чуда в части повышения уровня жизни, социальной стабильности, межнационального единства и государственной безопасности не произошло. Скорее наоборот, страна оказалась в ситуации системного кризиса. Фактом реальной жизни стало формирование нового класса — так называемого прекариата с его, с одной стороны, высоким интеллектуально-образовательным уровнем, а с другой — неустойчивостью мировоззренческих позиций, нестабильностью приоритетов, неспособностью работать в условиях плюрализма, а тем более подчинять свои устремления и амбиции государственному интересу. За свои стратегические просчёты лидеры демократических реформ возложили ответственность на других. Винили советскую власть, ленинскую национальную политику, правящую партию и номенклатуру, региональных лидеров, которые «не умели работать в условиях демократии» [11, с. 20].

Авторам и сторонникам подобного рода заключений, по всей видимости, неведомо, что обвал многих составляющих перестроечных и постперестроечных радикальных реформ в нашей стране был предопределён прежде всего тем, что задуманные реформы *противоречили базовым смыслам советского и в целом российского исторически реального общественного бытия*, подрывали основания нашей суверенной государственности. Жить под лозунгами общечеловеческих ценностей, поступать «не по лжи», отказаться от принципа «двойной морали» в радикально либеральной их трактовке не получалось, да и получиться не могло по определению. Получилось «общество травмы» [12], получили не инновационно-демократическое, а ориентированное вниз, социально и культурно деградирующее продвижение.

Благо, что вовремя остановились, наступил момент, когда «цветистое безумие» безбрежной неолиберальной свободы схлынуло и стало понятно, что нельзя слепо копировать, а тем более бездумно перенимать модные политико-идеологические парадигмы и чужие финансово-экономические схемы. На своём опыте убедились, что разрушение начинается не с экономики и даже не под ударами внешних санкций и военной агрессии, а прежде всего с «вольницы «пятой колонны», отмены базовых исторических ценностей, с разрушения культурных, духовных и моральных устоев общества.

Мы не на словах, а на деле начали понимать, что реформировать и рестраивать можно и нужно, но не вообще и в целом, а стратегически выверенно, на строго научных основаниях, в координатной системе реализма, научной диалектики и прогресса. И уж во всяком случае, это не должно быть итогом идеологии подчинения мировому гегемону. Успех гарантирован только тогда, когда серьёзно и ответственно относишься к своим действиям, когда умеешь определять правильные

приоритеты, способен действовать самостоятельно, слаженно и профессионально, готов не на словах, а реально противостоять внешним враждебным прояскам и внутренним групповым разрушающим практикам. Настоящее лидерство — это политическое мужество, способность действовать профессионально, демонстрируя хорошую выучку и подготовку, готовность отстаивать твёрдую нравственную позицию<sup>8</sup>.

**Заключение.** В политике и публичном управлении важен результат, причём результат не реакционно-разрушающий, а позитивный, социально значимый и созидающий. Коммунистическая элита в своё время вывела страну на передовые позиции в мире, обеспечила множество побед и свершений глобальной исторической значимости. Это факт, и не учитывать его невозможно. Поэтому называть элиту советских времён некомпетентной, честолюбивой и неэффективной не совсем справедливо. Но и она не справилась со своей исторической миссией. В какой-то момент она растеряла то, что определяло её лидерский потенциал — мобилизационный, идейно-мировоззренческий и организационно-созидающий, перестала по-настоящему чувствовать ответственность перед будущим, что неизбежно привело к кризису институциональной легитимности и размыванию границ допустимого в политике. Успех лишь за теми, кто не на словах и не в личных амбициях, а на деле способен к стратегическому видению, ориентирован на крупномасштабное партнёрство, готов принимать и проводить в жизнь ответственные решения.

Элита в позитивной трактовке этого понятия — это высокий социальный статус и профессионализм, интеллект и нравственное здоровье, прочность позиций, авторитет и воля к победе. Её сила — в реализации объединяющих общество ценностей и научно обоснованных задач стратегического значения. Главный критерий элитарности — понимание таких понятий, как государственный суверенитет и общественный интерес; патриотизм и другие традиционные для народа ценности; учёт того, что неолиберализм сегодня — это тупиковая идеология, которая даже на Западе постепенно вырождается в нечто противоречащее человеческой природе.

Стране нужна элита и лидеры, которые не мечтают о перестройках и неолиберальных радикальных реформах, а задают реальные смыслы, определяют здоровые общественные идеалы и формируют не идеалистические, а реально передовые модели социального развития. Именно за такими — будущее. Именно в таком духе воспитанные и таким образом ориентированные люди, подчёркивается в Президентском послании российскому парламенту 2024 г.<sup>9</sup>, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Без такой элиты, без такого, образно говоря, «конструкторского бюро» общество ничего перспективного создать не может. В лучшем случае оно будет копировать и по чужим лекалам строить сообщество «победившего потребителя» [13, с. 292]. В связи с этим всё более актуальной для нас становится задача повышения эффективности системы подготовки управленческих кадров

<sup>8</sup> Заявление Президента России для СМИ // Официальный сайт Президента России. 11.05.2025. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/76899> (дата обращения: 25.03.2026).

<sup>9</sup> Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента России. 29.02.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585> (дата обращения: 25.03.2026).

и гражданского социально ориентированного отбора политических элит. Перестроечный опыт подтвердил справедливость того, что успех лишь за теми, кто способен к стратегическому видению будущего, ориентирован на крупномасштабное конструктивное партнёрство, умело стимулирует действительно социально успешные проекты с государственным интересом в центре.

Российскую цивилизацию невозможно свести к какому-то среднемировому знаменателю, она может существовать только в своём особом духовном и культурном пространстве. Его идеологическое древо — идеалы патриотизма, гуманизма, духовного единства народа, ответственности за исторические судьбы страны; такие ценностные императивы, как демократические свободы, коллективизм, приверженность устоям традиционной семьи и традиционным религиям, признание принципов верховенства правовой законности и уважения к принципам международного права; такие интересы, как народный и государственный суверенитет, сильная социально ориентированная экономика, военно-оборонная мощь как гарант безопасности и территориальной целостности страны [14, с. 131]. Эти выводы в полной мере созвучны духу и ценностно-мировоззренческой концепции книги-размышления Ж. Т. Тощенко и В. С. Кожемяко, опирающейся на гражданско-принципиальную оценку деятельности конкретных политических деятелей эпохи перестройки.

Недопустимо также абстрагироваться от того, что в остро турбулентные периоды с особой силой проявляет себя внутриэлитная дифференциация, обостряется межэлитное и внутриэлитное противоборство. На авансцену политической борьбы выходят многие из тех, кто активничал в перестроечные девяностые, а сейчас открыто демонстрируют свою высокомерную враждебность по отношению к носителям нашего национального интереса. Судьба страны и народа их особо не волнует. Они понимают, что победить Россию посредством внешней агрессии невозможно, знают, что дестабилизировать и развалить её можно лишь организовав острый внутренний конфликт. Подобные деструктивные стратегии наглядно демонстрируют, как в условиях макроисторических сдвигов размываются границы допустимого, а кризис институциональной легитимности порождает новые формы элитной девиантности. Отсюда значимость для нас политической бдительности, мировоззренческой принципиальности, понимания важности идеологической и просветительно-воспитательной работы, особенно в молодёжной среде.

### **Библиографический список**

1. Тощенко Ж. Т., Кожемяко В. С. Обороти во власти. Они убили советскую страну. М. : Родина, 2025. 444 с. EDN [RXAEZY](#).
2. Соловьев А. И. Латентные структуры управления государством, или Игра теней на лике власти // Полис. Политические исследования. 2011. № 5. С. 70–98. EDN [OHRWPJ](#).
3. Пригожин А. И. Дезорганизация: Причины, виды, преодоление. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 400 с. EDN [QONKGL](#).
4. Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945–1991. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2000. 684 с. EDN [SXHXKX](#).
5. Перестройка экономического сознания и повышение его роли в ускорении социально-экономического развития / Сост. В. Э. Бойков. М. : АОН, 1987. 277 с.
6. Авторханов А. Г. Империя Кремля: сб. тр. М. : Дика-М, 2001. 476 с.
7. Экономическое сознание трудящихся (итоги сравнительного исследования 1986, 1988, 1989 гг.) : сб. / Сост. В. Э. Бойков. М. : АОН, 1989. 279 с.
8. Парето В. Компендиум по общей социологии. М. : ГУ ВШЭ, 2007. 511 с. EDN [QONUFH](#).

9. *Тощенко Ж. Т.* Элита? Клань? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социологические исследования. 1999. № 11. С. 123–133. EDN [RDVLGB](#).
10. *Горшков М. К.* Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики): В 2 т. Т. 1. М.: Новый хронограф, 2016. 416 с. EDN [WETWRZ](#).
11. *Горбачев М. С.* Понять перестройку. Финал «мира миров» // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19, № 6. С. 18–29. DOI [10.31278/1810-6439-2021-19-6-18-29](#). EDN [RVGGOJ](#).
12. *Тощенко Ж. Т.* Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: Весь мир, 2020. 352 с. EDN [QLXXDD](#).
13. *Никонов А. П.* История отможенных в контексте глобального потепления. М.: НЦ ЭНАС, 2007. 293 с. EDN [QKGJPN](#).
14. *Охотский Е. В.* Идеология государства и государственной службы: возможность, необходимость, реалии исторического выбора: научный доклад. М.: РАНХиГС, 2025. 176 с. EDN [FEINGS](#).

Поступила: 02.04.2026. Доработана: 30.04.2026. Принята: 11.05.2026.

#### *Сведения об авторе:*

**Охотский Евгений Васильевич**, доктор социологических наук, профессор, эксперт, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Москва, Россия. [e.ohotskii@mail.ru](mailto:e.ohotskii@mail.ru)  
Author ID РИНЦ: [402355](#)

**E. V. Okhotsky<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> RANEPА. Moscow, Russia

## THE POLITICS OF PERESTROIKA AND THE COLLAPSE OF THE NEO-LIBERAL DEMOCRATIC ILLUSIONS

**Abstract.** This article provides a sociological and political understanding of the causes of the geopolitical catastrophe at the end of the 20th century and the disappearance of the Soviet Union from the world map – a state that, through its historical achievements, radically changed the course of world history. The analytical basis of the work relies on factual historical material, statistical data, as well as assessments and reasoning presented in the monograph by Zh. T. Toshchenko, a corresponding member of the Russian Academy of Sciences, and V. S. Kozhemyako, a journalist and laureate of the Government of the Russian Federation Prize in the field of mass media (2012), “Werewolves in Power: They Killed the Soviet Country” (2025), which belongs to the patriotic direction of modern Russian scientific socio-political thought. The authors of the publication insist that the thesis about the fatal predetermination and inevitability of the collapse of the socialist model requires detailed analysis, fundamental evidence, and scientifically sound conclusions. They set the study of impact of specific individuals and the subjective factor as a whole on the tragic turning point in the country’s history, as well as the role of the ruling elite in the dissolution of the Soviet state, as the main objective of their research. Developing these arguments, the author of the article shows how the crisis of institutional legitimacy and the deviant behavior of elite groups, which lost state-political responsibility for the country’s sovereignty under the influence of neoliberal illusions, prepared the social ground for the dismantling of the USSR. It is emphasized that the neoliberal format of reforming turned out to be a dead end, and for the future of Russia, a socially balanced system of training of managerial staff and political elites is necessary, oriented towards state sovereignty, traditional values, and strategic constructive partnership.

**Keywords:** perestroika, collapse of the USSR, ruling elite, neoliberalism, democracy, geopolitical catastrophe, elite deviance, institutional crisis, state sovereignty

**For citation:** Okhotsky E. V. The politics of perestroika and the collapse of the neo-liberal democratic illusions. *Science. Culture. Society*. 2026;32(2):155–171. (In Russ.). <https://doi.org/10.19181/nko.2026.32.2.10>

### **References**

1. Toshchenko Zh. T., Kozhemyako V. S. Werewolves in Power. They killed the Soviet country. Moscow: Rodina; 2025. (In Russ.).
2. Solovyov A. I. Latent structures of the state rule, or the play of shadows upon the face of the authority. *Polis. Political Studies*. 2011;(5):70–98. (In Russ.).
3. Prigozhin A. I. Disorganization: Causes, Types, and Overcoming. Moscow: Alpina Business Books; 2007. (In Russ.).
4. Pikhoya R. G. The Soviet Union: A History of Power, 1945–1991. Novosibirsk: Sibirskij khronograf; 2000. (In Russ.).
5. Boykov V. E. (comp.) Reorganization of economic consciousness and increasing its role in accelerating socio-economic development. Moscow: AON; 1987. (In Russ.).
6. Avtorkhanov A. G. The Kremlin Empire: coll. of works. Moscow: Dika-M; 2001. (In Russ.).
7. Boykov V. E. (comp.) Economic Consciousness of Workers (Results of a Comparative Study Conducted in 1986, 1988, and 1989). Moscow: AON; 1989. (In Russ.).
8. Pareto V. Compendio di sociologia generale. Moscow: HSE; 2007. (In Russ.).
9. Toshchenko Zh. T. Elite? Clans? Castes? Clicks? What are the Names of Those Who Rule Us? *Sociological Studies*. 1999;(11):123–133. (In Russ.).
10. Gorshkov M. K. Russian Society as It Is (Experience of Sociological Diagnostics). In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Novyj khronograf; 2016. (In Russ.).
11. Gorbachev M. S. Perestroika and new thinking: a retrospective. *Russia in Global Affairs*. 2021;19(6):18–29. (In Russ.). DOI [10.31278/1810-6439-2021-19-6-18-29](https://doi.org/10.31278/1810-6439-2021-19-6-18-29).
12. Toshchenko Zh. T. Society of Trauma. Between Evolution and Revolution (Experience of Theoretical and Empirical Analyses). Moscow: Ves' Mir; 2020. (In Russ.).
13. Nikonov A. P. The History of Frostbitten People in the Context of Global Warming. Moscow: NTs ENAS; 2007. (In Russ.).
14. Okhotsky E. V. The Ideology of the State and Public Service: Possibility, Necessity, and Realities of Historical Choice: Analytical Report. Moscow: RANEPА; 2025. (In Russ.).

Received: 02.04.2026. Corrected: 30.04.2026. Accepted: 11.05.2026.

### **Author information:**

**Evgeny V. Okhotsky**, doctor of Sociology, professor, expert,  
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.  
Moscow, Russia. [e.ohotskii@mail.ru](mailto:e.ohotskii@mail.ru)

# НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО

сетевой научный журнал

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
ЭЛ № ФС 77 - 81252 от 30 июня 2021 г.

## **Соучредители:**

Федеральный научно-исследовательский социологический центр  
Российской академии наук  
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5

Общественная российская академия социальных наук  
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1

## **Главный редактор:**

Виктор Константинович Левашов

## **Ответственный секретарь:**

Оксана Валерьевна Гребняк

Журнал «Наука. Культура. Общество» включён в РИНЦ, перечень ВАК (К2),  
Белый список/ЕГПНИ (Уровень 3, 2025).

**ISSN 2713-0681**

Материалы журнала размещены в открытом доступе на сайте  
<https://www.journal-scs.ru>

Доступ к контенту журнала бесплатный.

Плата за публикацию с авторов не взимается.

Точка зрения авторов публикуемых материалов не обязательно отражает  
точку зрения редакции. При использовании материалов ссылка на журнал  
«Наука. Культура. Общество» обязательна.

2026. Том 32. № 2. Дата выхода в свет: 29.06.2026.

Адрес редакции: 119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, стр. 1  
Тел.: +7 499 530-27-32. E-mail: [nauka.kultura.obshchestvo@yandex.ru](mailto:nauka.kultura.obshchestvo@yandex.ru)